

ЛЕВ
ПРЫГУНОВ
ЧУДЕСА



Лев Прыгунов

Чудеса

«У Никитских ворот»

2017-2023

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6.44

Прыгунов Л. Г.

Чудеса / Л. Г. Прыгунов — «У Никитских ворот», 2017-2023

ISBN 978-5-00246-110-3

Перед вами книга народного артиста России, художника и поэта Льва Георгиевича Прыгунова. Мир его прозы богат и многообразен и является отражением насыщенной жизни всесторонне талантливого человека. В книгу вошли автобиографический роман «Чудеса», роман «Азиатское детство Ивана Ташкентского» и рассказ «Тёща».

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6.44

ISBN 978-5-00246-110-3

© Прыгунов Л. Г., 2017-2023
© У Никитских ворот, 2017-2023

Содержание

Предисловие	6
Чудеса	8
Азиатское детство Ивана Ташкентского	97
Тёща	144

Лев Прыгунов

Чудеса



© Прыгунов Л.Г., 2024

© Издательство «У Никитских ворот», 2024

Предисловие

«Чудеса». В этой изящно и со вкусом оформленной книжке помещены автобиографический роман «Чудеса» (впервые опубликован в журнале «Звезда», № 4, 2023), роман «Азиатское детство Ивана Ташкентского» (написан в 1972-м, впервые опубликован в журнале «Звезда», № 9, 2017) и рассказ «Тёща» (впервые опубликован в журнале «Звезда», № 4, 2019).

Достопочтенный автор Лев Георгиевич Прыгунов (далее Л. Г.) предельно искренен. Только во втором романе он примеряет на себя чужую личину (правда, весьма успешно взяв образ своего друга, музыканта, ксилофониста и ложечника). В остальном же это его собственная жизнь, собственная биография, собственные детство, юность, зрелость, но рассказанные с такой страстью, с такой пассионарностью, с таким напряжением гортани и голосовых связок, рассказанные, так сказать, «на разрыв аорты», что любая фантазия отдыхает под напором этих безумных приключений, страстей, падений и подъёмов.

В чём же лейтмотив жизненного пути, описанного Л. Г.? На мой взгляд, он заключается в глаголе «Бежать!». Бег этот в метафизическом смысле двойственен. С одной стороны – бег по жизни, по местам, обстоятельствам, женщинам, книгам, друзьям. Этот бег напоминает мне манеру великого в прошлом спортсмена-стайера Владимира Куца. Он на длинной дистанции то ускорялся, то притормаживал, изнуряя соперников таким рваным темпом. И Л. Г. перемещается от депрессии к душевному подъёму, от истории России к китайскому языку, от театра к кино, от поэзии к живописи, от отчаяния к надежде, от ненависти к прощению.

С другой стороны – это бегство ОТ. От окружающей действительности, от наглости, от издевательств киношных и других начальников, от блага и невозможности нормально жить и зарабатывать, от бессовестного обирания артистов с отъёмом честно заработанной валюты на зарубежных гастролях, от бездомности, от прописок, от абсолютного бесправия, от униженности, от грязных провинциальных сортиров, от столичных циников, приспособленцев, стукачей и провокаторов...

Словами автора: «...неустанно мотаюсь я по дозволенной мне нашими “великими человеколюбцами” территории в одну шестую часть света под трескучий аккомпанемент великих Паганини, Моцарта, Сарасате, Листа и проч., молясь каждый день, каждую ночь вот уже больше десяти лет о том мгновении, когда наконец-то я окажусь в любой точке земного шара “по ту сторону баррикад добра и зла”, где по меньшей мере я обрету душевный покой».

Спасение Л. Г. находит, по крайней мере в доперестроечной жизни, в дружбе с удивительно интересными людьми, такими как поэты Бродский, Уфлянд, Ерёмин, замечательно описанный им (жаль, что книга не вошла в этот сборник) Сергей Чудаков, художники Целков, Кубасов, в любовных приключениях.

В медитациях, в которых он убедительно описывает свои прошлые жизни, твёрдо веря в реинкарнацию. И самое интересное, что он встречает в жизни людей, которых он знал в самых разных ипостасях в тех, прошлых жизнях!

В реставрации старых икон, в сочинении стихов, которые он имел наглость писать, имея в приятелях таких поэтов, как Бродский и Рейн, в живописи, наконец, которая стала для него отдушиной и ещё одним средством самовыражения.

В увлечении мировоззрениями тибетских монахов, в любви к сыну, в занятиях румынским, английским, китайским и другими языками, в напряжённо-внимательном изучении мира и мировой культуры, от которой страна была отрезана для подавляющего большинства советских граждан железным занавесом.

В написании «в стол» без надежды на опубликование литературных произведений (одно из которых было выкрадено у него чекистами, что имело неприятные для автора последствия).

И от всего этого стремления убежать и невозможности побега – неврозы, болезни, бессонницы, отчаяние, едва ли не переходящее в суицид.

Но в финале – перестройка, которая открыла для него мир, возможность путешествовать, увидеть старых друзей – от Бродского до Романа Каплана, честно зарабатывать деньги, публиковать свои книги, выставлять и продавать свои картины, и, наконец, жена Ольга, давшая ему тот мир и покой, которого ему так не хватало.

Но если вернуться к стилистике текстов романов в этой книге, то я не могу не отметить, что занятия поэзией обеспечили ему прекрасный ритмический рисунок текста, а занятия живописью – глубокую и впечатляющую образность выписанных характеров.

А врождённое чувство юмора – великолепную ироничность в описании ситуаций.

Вот только один пример (из рассказа «Тёща»). Тяжело больная тёща лежит в постели и внимает новостям по радио.

«И когда в день открытия съезда она услышала несвязную речь нашего генсека, она вдруг сорвала с себя наушники, встала с кровати, вышла – страшная, полуголая, растрёпанная, безумная – в коридор и куда-то *пошла!* К ней бросились медсёстры, но она их оттолкнула и прохрипела свои последние слова в этой жизни: “Леонид Ильич мне сказал: “Встань и иди!”»

В общем, эта книга полна занимательных и чудесных историй, смешных ситуаций, философских рассуждений, ламентаций и панегириков, обличений и восхвалений, анекдотов и ужаса, и ещё – она удивительно правдива!

Я завидую тем, кто откроет её в первый раз!

Леонид Романков,

член Союза писателей Санкт-Петербурга

Чудеса

Автобиографический роман

Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса.
Альберт Эйнштейн

Самое великое чудо моей жизни – моя мама.

Нет никаких сомнений в том, что у каждого человека в жизни случались всякие **чудеса** или нечто, что он сам воспринимал как **Чудо**. Впрочем, какая разница! Даже само воображение, скрупулёзно рисуя и выделяя не существовавшие детали и тем самым обманывая своими картинками нашу память, является одним из самых многочисленных **Чудес!** Ведь, в сущности, все так называемые **чудеса** являются всего лишь торжеством трансцендентного, то есть чего-то тонкого, «надмирного», что принято называть Духом Святым, над грубым и материальным. В переводе на китайское мышление – торжество Божественной энергии «Шень» над примитивной физической энергией «Ли». И ещё из «китайского» – «Подобное притягивается подобным» – один из универсальных законов даосской философии.

Что касается моей собственной жизни, то тут я честно и открыто заявляю, что всё моё существование в этом мире от рождения и до секунды, когда я пишу эти строки (а это уже более 80 лет!), плотно набито, как рюкзак альпиниста, всевозможными необъяснимыми совпадениями, которые только и можно назвать **чудесами**.

Ну, во-первых, – само рождение. Мои родители хотели избавиться от меня-эмбриона в первые два месяца после моего зачатия. Я и был-то тогда всего лишь (по Дарвину) каким-то пучеглазым земноводным или ещё чёрт знает кем. Но в самый последний момент – буквально в больнице! – мои родители (прежде всего моя мама) передумали и решили смириться со вторым ребёнком – у меня тогда уже была двухлетняя сестра. Это событие, конечно, самое главное **чудо** в моей жизни – иначе никаких остальных **чудес** и в помине бы не было!

В это же **чудо** я включаю тот факт, что я родился в Алма-Ате, далеко от России, в абсолютно русскоговорящем городе, где жили в основном либо потомки семиреченских казаков, либо сосланные за сорок лет махрового большевизма лучшие люди России и их родственники. К примеру: в моём классе из сорока двух учеников был только один казах. Даже фамилию его помню – Каматаев. А бывшие москвичи и ленинградцы, чувствуя свою провинциальную ущербность, изо всех сил старались «успевать» за всеми столичными новостями, которыми неизбежно делились с окружающими.

За полтора месяца до начала войны, когда мне было ровно два года, родители уехали с моей сестрой на курорт, а меня оставили с няней, которая на мой вопрос «Где мама?» отвечала, что она ушла к тётке Рите. Поскольку я часто бывал с мамой у тётки Риты, я отлично знал начало пути, и я в два года босиком (май месяц), без трусов, в короткой рубашонке потопал к тётке Рите! Я до сих пор помню смутные кадры этой документальной ленты – надо было долго идти вдоль зоопарка, пересечь два оврага, затем пройти весь громадный Парк культуры и отдыха им. Горького (всё это не меньше трёх километров) и затем выйти на остановку трамвая. На остановке была толпа народа, я не знал, что мне дальше делать, и заревел в голос. В конце концов я оказался в отделении милиции парка и на весь день был заперт в маленькой душной комнатухе, набитой какими-то очень колючими мешками (это я запомнил больше всего!). А **чудо**, как я это понимаю, было не в том, что меня никто не украл, что я не утонул в большом арыке, через который надо было переползать по бревну, и т. д. и т. п., а в том, что я, двухлетний малыш, попёр, точно зная, куда мне надо!

* * *

Во время войны мы жили в Алма-Ате в маленьком домике, построенном моим отцом как временное жильё, – он собирался строить большой, настоящий дом, но война этому помешала. Мама работала в двух школах, и одна из них находилась примерно в километре от нашего домика. Школу и наш дом разделяло большое клеверное поле, и, когда мама задерживалась на всяких собраниях до самой ночи, я всегда сидел у окна и её «высматривал». Однажды ночью я, ожидая маму, слегка подвинул оконную занавеску, чтобы лучше видеть дорожку из школы, и занавеска попала прямо на огонь «коптилки». Занавеска мгновенно вспыхнула, и огонь перекинулся на штору, которая тоже загорелась. Мне было три года, сестре – пять. Я очень испугался, побежал в спальню и там залез под кровать. Сестра тоже испугалась, но схватила на кухне кружку и стала бегать и поливать водой из кружки угол комнаты, охваченный огнём. На наше счастье, каким-то *Чудом* мимо нашего дома (почти в полночь!) проходила мамина знакомая. Она вбежала в дом, схватила с кровати одеяло и успела сбить пламя, которое уже прихватило стену и потолок. А ведь стена дома, просушенная летней азиатской жарой, всего через каких-то пару минут вспыхнула бы как порох, и никакое одеяло не смогло бы остановить убийственное пламя!

Был в моей жизни ещё один пожар, который тоже *чудом* не закончился трагедией. Зимой в 1959 году, когда я учился на первом курсе театрального института в Ленинграде, меня пригласил мой друг художник Кид Кубасов, который учился на курсе Н.П. Акимова, поехать на зимние каникулы к себе на родину – на Кольский полуостров в город Мончегорск. К нам приехал наш третий друг, тоже художник, и уже в Мончегорске мы решили идти на лыжах (80 км!) в Волчью тундру на озеро Вайкес. Кид где-то раздобыл карту 1937 года (он утверждал, что с тех пор в этих местах не ступала нога человека), три пары лыж, ижевскую двустволку 16-го калибра, патронташ с патронами, «двойную» (сшитую из двух) палатку и железную печку с трубой. Словом, хорошо подготовившись (у нас ещё было шесть бутылок водки!), рано утром в кромешной тьме полярной ночи мы отправились в экспедицию. Прошли первые тридцать километров (весь день ветер дул нам в лицо), и я вдруг почувствовал невероятную и какую-то блаженную усталость. Мороз для этих мест был небольшой – градусов 20 ниже нуля, – я лёг в сугроб и заявил, что дальше не пойду, пока не выплюсь. Я никогда в жизни не чувствовал подобного счастья! Кид буквально пинками заставил меня встать и дал мне выпить «пару глотков» водки. Я одним залпом выпил половину бутылки и должен сказать, что вкуснее той водки я никогда ничего не пил. Как потом объяснил Кид, в тундре наступает так называемое сахарное голодание, люди теряют рассудок, засыпают и больше никогда не просыпаются. А он забыл взять с собой сахар. А в водке, как я понял на себе, сахар есть! На наше счастье, мы вскоре подошли к последнему жилью в тундре – барaku лесорубов, где нас очень радостно встретили здоровые и незамысловатые ребята (мы выставили две бутылки водки!). Весь следующий полярный день мы шли против ветра по озёрам и болотам Волчьей тундры и к ночи уже были на мрачном берегу озера Вайкес. Очень грамотно на большую подушку из еловых веток поставили палатку, нарубили дров, установили и растопили печь, и всё это происходило под фантастическими сполохами полярного сияния, и даже Кид признался, что за всю его жизнь на Севере он ничего подобного не видел – «аж страшно»! Мы залезли в нашу «двойную» палатку, и я сам закрывал её полог – одну палатку на деревянные пуговицы, а другую на завязки. Мы выпили втроём бутылку водки и мгновенно уснули. Первым «дежурил» Кид, и я проснулся как раз на вторую (свою) смену дежурства. Кид спать не хотел, мы с ним болтали, читали стихи, печка горела исправно, в палатке было душно и жарко, мы разделись до нижнего белья, и я не заметил, как уснул. Проснулся от удушья и яркого пламени прямо перед глазами. Вскочил и, рванувшись к входу в палатку, руками наткнулся на раскалённую печку – она перевернулась,

и, казалось, всё загорелось! Я подскочил к пологу палатки и одним рывком разорвал все пуговицы и застёжки! И это было **ЧУДО!** Как только я выскочил из палатки, она вспыхнула, как факел, – первым выпрыгнул, словно мячик, Кид, а уже второго художника мы спасли – просто стянули с него горящую палатку. Больше всех пострадал я – у меня были сожжены ресницы, брови и до самых корней все волосы на голове, ладони походили на два кровавых бифштекса, на лбу надулся гигантский волдырь, да ещё моё пальто, лежавшее рядом с печкой, сгорело ровно на треть. Мороз был уже за тридцать, пять часов утра, и у нас началась истерика, мы хохотали до слёз, потому что никак не получалось разжечь костёр, чтобы согреться и приготовить что-нибудь на завтрак. Пробовали оторвать кусок от оставшейся палатки, и... никто не смог! Друзья пытались повторить мой «подвиг» на той части полога, который не был разорван, – то же самое! В конце концов подожгли саму палатку, устроили кое-как костёр, попили чаю и пошли на лыжах домой. Нам невероятно повезло – ветер всё время дул в спину, и мы, ни разу не останавливаясь, не говоря друг другу ни слова, шли в Мончегорск ровно сутки. На следующий день в пять часов утра, еле передвигая ноги с лыжами, мы вошли в город.

* * *

Во время войны мы с моим соседом Шуриком Каковкиным, который был старше меня на год, весной, летом и осенью ходили в детский сад одни, без взрослых. Ему было пять лет, мне четыре. И однажды я сделал открытие, которое я тоже причисляю к *чудесам*. Мы переходили по шлюзу речку, и я каким-то образом соскользнул и полетел вниз! И я до сих пор помню, как на меня летело бетонное дно шлюза, и буквально в момент удара головой о дно я почувствовал на своей голове мамины руки, снимавшие с меня повязку. А как потом оказалось, я был без сознания двое суток! Когда я это осознал, я уже тогда понял, что СМЕРТИ нет!

У нас в доме была маленькая комната, в которую мамино начальство в военные годы просило «на время» приютить какую-нибудь семью, эвакуированную из центральных или западных областей России. И однажды, когда мне уже было пять с половиной лет, к нам подселили маму с дочкой, которую звали Ира. Мою сестру тоже звали Ира, но она была старше меня на два года, а «подселённой» Ире было чуть больше четырёх лет, и мы все звали её Ира-маленькая. И я её водил каждый весенне-летне-осенний день в наш детский сад. Дорога шла через всю Малую станицу – самый центр первого поселения отряда казаков, основавших город Верный, переименованный позже в Алма-Ату. И пыльная дорога шла между деревенскими домами, а прямо вдоль дороги были заросли лебеды, подорожника и крапивы, в которых паслись коровы и козы. И как-то ранним утром маленькая Ира подошла слишком близко к здоровенной корове, которой почему-то маленькая Ира не понравилась, и корова буквально ринулась на девочку. И тут я, чувствуя ответственность за её жизнь, как заправский тореадор, с криком бросился на это гигантское животное! И корова, поддев меня головой с большими и острыми рогами, перекинула меня через всё своё громадное туловище прямо в дорожную пыль! На моё счастье, я попал точно между её острыми рогами и каким-то *чудом* приземлился без особых потерь – ни переломов, ни открытых ран. Как ни странно, больше всего я до сих пор помню *сам полёт* – долгий и длинный! А потом – причитания хозяев этой коровы, их извинения и угощения нас чаем и конфетами! Самое удивительное было в том, что эта история в один день разошлась по всей округе и в этот же день дошла до моей мамы! А я впервые почувствовал себя «героем», осенённым бледными лучами славы нашей Малой станицы!

И ещё из того же детского сада. У нас в старшей группе были два сопливых придурка – братья Сокольские. Их мамаша была то ли сторожихой детсада, то ли уборщицей, и они, прекрасно понимая свою безнаказанность, буквально терроризировали всех детей, включая нас с Шуриком. И вот однажды, когда мы подходили к детскому саду, я придумал, как с ними справиться. «Давай скажем всем, что к нам прилетел наш Брат-Великан! – сказал я Шурику. – И

что мы в любой момент можем его позвать! Он прилетит и накажет каждого нашего обидчика! Ростом он выше тополя, а одной только ладошкой он может прихлопнуть два домика нашего детского сада!» Это заявление я произнёс уверенно и угрожающе в сторону сопливых придурков Сокольских, испугавшихся, кстати, больше всех. С этого момента «хозяевами» детского сада стали мы с Шуриком благодаря безграничной силе и власти нашего Непобедимого Брата-Великана, который, как дух святой, был с этого момента всегда с нами. Но самым удивительным было то, что мы с Шуриком *сами* поверили в нашего всемогущего Брата, и вера эта придала нам громадные силы! Не так ли примерно, когда человечество только-только вышло из яслей и проходило детсадовскую стадию, Моисей и Авраам с Аароном придумали своего Всемогущего Брата-Великана и посрамили всех тогдашних сопливых и доверчивых «филистимлян – Сокольских»? Увы, никто никогда не узнает этой величайшей Тайны! Так что это событие в нашей маленькой детской жизни стало очередным *Чудом!*

* * *

В годы войны мы жили страшно. Мама работала в двух школах, получая в каждой около 700 рублей в месяц. Чтобы понять ничтожность этой суммы: буханка чёрного хлеба на барахолке стоила 500–600 рублей. Нас, несмотря на нашу нищету, несколько раз грабили, и однажды утром мы увидели нашу маму – жгучую брюнетку – почти совсем седой. Ночью через подвал к нам залезли два вора, и мама, застывшая от ужаса, пролежала с закрытыми глазами около часа, моля Бога только о том, чтобы никто из нас не проснулся. Бандиты знали, что она не спит, и приняли её игру. Один из них, мерзко пошучивая, стоял над нами с топором в руках, пока второй шарил по комодам и вытаскивал на крыльцо жалкие пожитки: отцов костюм, хлебные карточки, старые пустые шкатулки, сломанные часы и прочую дребедень. Стоило мне или сестре открыть глаза и заорать от страха... Думаю, никому в голову не придёт сомневаться в том, что без **ЧУДА**, или какого-либо вмешательства из «тонкого мира» в ту нашу страшную ночную действительность, никак не обошлось. А годы войны до сих пор преследуют меня настолько яркими воспоминаниями, что каким-то образом из далёкого прошлого всплывают запахи – то запах дорожной пыли, раскалённой летним азиатским солнцем и прибитой грозой, то нежнейшие дуновения ночной прохлады, смешанные с запахом костра, на котором мама готовила для нас ужин. Привожу стихи, которые, как сказал поэт, помогли мне «снять тяжесть с плеч»:

Я детство прожил в нищете войны,
хотя наш город и не знал бомбёжки.
Все зимы – с осени и до весны —
давились мы гнилой картошкой.
Зато весной – какая благодать!
Крапива, лебеда, лучок-голубчик...
Колдует ночью у костра с кастрюлькой мать,
слезами заправляя жидкий супчик.
А голод борется во мне с голодным сном.
Сон победил, закапал летний дождик.
Вдали осёл перекликается с ослом,
сестра толкает в бок: не спи, художник!
Художнику три года. На ногах
в кровавых кракелюрах цыпки-клинопись —
«Испанский башмачок» – замечу на полях:
так началась любовь к испанской живописи.

Нас будят предрассветные гудки —
хрипят, свистят, гудят, трубят, меняются...
И жизнь у матери на страшном полпути.
А у меня лишь только начинается.

* * *

В самом конце войны у нас в Алма-Ате участились землетрясения, а мой отец, зная, что мы живём в сейсмически опасном районе, перед уходом на фронт купил большой дубовый стол на толстенных ногах специально для того, чтобы мы, когда будут начинаться землетрясения, все втроем под него залезали. Если бы потолок нашего домика обрушился, с нами ничего бы не случилось: крышка стола состояла из трёх очень тяжёлых и крепких дубовых плит, которые могли бы выдержать десять потолков, подобных нашему. Я запомнил три случая, когда мама запикивала нас с сестрой под этот стол, сама залезала к нам, и стол вместе с нами ходил ходуном. В последнее, особенно запомнившееся мне ночное землетрясение — самое сильное, которое мне удалось пережить, да ещё с каким-то неистовым ураганом, выворачивавшим деревья, — ровно через сто метров от нас небольшой домик, очень похожий на наш, провалился в разверзшуюся земную трещину. Через пару дней мы ходили смотреть на то, что от него осталось. Семью из четырёх человек вместе с домом раздавила эта самая трещина, и я тогда в ней увидел какое-то месиво из домашней утвари, комьев земли и камней. К нашему счастью, трещина проходила поперёк нашего квартала и уходила в огороды. Но если бы наш дом в неё попал, нас бы дубовый стол не спас. Одно слово — *чудо!*

В детстве я много и часто болел. Мама оставляла меня одного — другого выхода не было — и давала мне в кровать большую пачку цветных открыток из Третьяковской галереи, Русского музея или Лувра, которые я перебирал часами и знал их наизусть. И, возможно, от этого я всю свою жизнь очень хорошо относился и к одиночеству, и ко всем болезням, и я точно знаю, что и Лувр, и Третьяковка, и Русский музей инфицировали моё сознание РЕАЛИЗМОМ на всю жизнь! А болею я всегда с удивительным ощущением животного несчастья-счастья — лежу, напичканный лекарствами, голова раскалывается, жар, слабость, но почему-то появляется необыкновенно лёгкое дыхание, и я чувствую, как я полностью растворяюсь в самом себе! Если бы смерть была хоть чуточку похожа на такое бредовое, полублаженное страдание! В детстве, когда у меня была температура за сорок, я всегда пел! Щёки пылали, глаза вылезали из орбит, но ощущение болезненного счастья и желание петь были всегда. Это свойство я тоже отношу к неведомым мне *чудесам!*

Примерно в одиннадцать-двенадцать лет у меня появилась навязчивая идея: мне казалось, что я могу научиться силой взгляда двигать предметы! Сначала спички, мелкие бумажки и карандаши, потом шкафы и табуретки, а там, глядишь, и до гор недалеко! И я мог больше часа сидеть, уставясь глазами в спичку или круглый карандаш, и ждать этого крошечного, но так необходимого мне тогда *чуда!* Но, увы, так ничего не добился, и только во сне я был всемогущ: летал почти каждую ночь, снижая или набирая высоту по своему желанию, проходил сквозь стены и двигал предметы — от нашего дубового стола до соседского сарая. И уже в моей московской молодости, когда я иногда часами просиживал в третьем зале «Ленинки», я наткнулся на фразу Ницше, которая напомнила мои детские увлечения: «Надо научить *глаз заставлять приближаться к себе!*» То есть всё наоборот! И только одно это знание частично изменило мою жизнь.

Тренировал я его на всех, но чаще всего, естественно, на симпатичных девушках. Иногда весьма успешно.

* * *

9 мая 1945 года мне было шесть лет и шестнадцать дней. Накануне к нам пришли две мои двоюродные сестры – обе близкие подруги мамы и почти её одногодки (мама была в своей поповской семье последней – двенадцатой!). И они остались у нас ночевать. Мы жили на окраине города, и только у нас, поскольку мама была учительницей, было радио! Рано утром я проснулся от радостных криков, счастливых слёз, смеха... Меня вытащили из кровати (я эту картинку «сфотографировал» в памяти до мельчайших деталей на всю свою жизнь!), и мама попросила меня бежать ко всем нашим соседям и «оповещать» их о великом событии: **КОНЧИЛАСЬ ВОИНА!!!** Я побежал босиком в одной майке и трусиках к нашим самым близким соседям-татарам. «Тётя Банат! – закричал я во всё горло. – Война кончилась!», и тётя Банат заголосила, заохала, заахала и, схватив меня в охапку, потащила на «гульбище» второго этажа – только у татар были тогда такие дома. Там завела меня в комнатку, открыла сундук и стала пихать мне в майку деньги! Рубли, трёшки, пятёрки!.. И я тут же «прикинул», сколько же я сегодня заработаю и как порадую маму! Но татар, увы, по соседству больше не было, и, как я ни надрывался, ни один сосед не дал мне ни копейки! Но в любом случае это было моё первое публичное выступление, за которое по тем меркам я получил солидный гонорар! И конечно, я воспринимаю этот случай как одно из *чудес!*

* * *

А вот три эпизода, связанных одной темой, – один в детстве и два в зрелом возрасте. Мне было десять лет, когда я внезапно и страшно заболел. Я лежал дома почти в беспамятстве, мама была в ужасе от моей температуры – 41,2, и тут я вдруг увидел на нашем большом шкафу старичка-карлика ростом чуть меньше метра с небольшой седой бородкой и узкими глазами. Он как-то очень легко и бесшумно спрыгнул со шкафа прямо на мой больничный столик и стал чего-то бормотать и делать руками какие-то пассы. В это время зашёл отец, встречавший скорую помощь, и старик пропал. Отец поднял меня и посадил к себе на плечи – я прекрасно помню всё то, что я видел с громадной, как мне тогда казалось, высоты, и я с удовольствием и ясным сознанием ему сказал: «Папа, я сейчас умру», и я хорошо помню, что смерть была совсем рядом, где-то надо мной у самого потолка – стоило только протянуть руку. И я, кажется, так и сделал! Но в тот раз не достал. Меня отвезли в больницу, отец просидел всю ночь в коридоре перед моей палатой, а на следующий день я проснулся абсолютно здоровым. Никто ничего не мог понять, врачи меня продержали у себя две недели и в конце концов отпустили, поставив диагноз: «Отравление неизвестным ядом пищевого происхождения».

Сосед моего детства Шурик Каковкин после долгих мытарств сначала в Суворовском, потом в военном училище, а потом ещё и в армии приехал в Ленинград и поступил в Академию художеств на искусствоведческий факультет. А ещё через некоторое время стал учёным-востоковедом, а потом и доктором наук, и работал всю жизнь в Эрмитаже в отделе Востока. В 1971 году меня решили отправить с мосфильмовской делегацией в Будапешт, и когда Шурик об этом узнал, он дал мне номер телефона своего друга-коллеги – директора Будапештского музея Востока. Я ему позвонил из гостиницы, и мы встретились. После замечательной экскурсии по музею мы сидели в его кабинете и пили чудесное венгерское вино. Над его столом висела большая фотография конца XIX века, на которой на фоне старинных ворот буддийского монастыря в несколько рядов сидело человек сорок тибетских монахов в разных одеждах, судя по тону и покрою. Я уже тогда занимался йогой, китайской философией и особенно буддизмом, и меня эта фотография буквально притягивала к себе. Я не мог оторвать глаз от трёх центральных фигур, две из которых, обрамляющих главную, были одеты почему-то в контрастные

чёрно-белые одежды. Кроме того, на фоне седобородых и толстых монахов они казались тридцати-сорокалетними. Больше всего мне нравился монах, сидящий справа от самой центральной фигуры, то есть далай-ламы; мне показалось, что он мне кого-то напоминает. Я попросил у директора увеличительное стекло и стал рассматривать его внимательней. У меня было чувство, что он смотрит куда-то далеко внутрь меня. Я спросил у директора, почему самые молодые сидят в центре. Он засмеялся и сказал, что это самые старые. Я не помню, какого возраста был далай-лама, но обоим панчен-ламам, сидевшим справа и слева от него, было на то время, по словам директора, по девяносто лет. Я снова стал его разглядывать – мне казалось, что я видел где-то и когда-то его клинообразную седую бородку. И уже ночью в номере, когда я сидел в позе лотоса и бормотал: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», меня словно пронзило – это был мой старик-карлик, излечивший меня от неизвестной болезни, когда мне было десять лет!

Ещё через несколько лет я познакомился с удивительным человеком – Альбертом Леонгом, американским *китайцем*, заведующим *русской* (!) кафедрой в Орегонском университете (город Юджин), и он стал посылать мне самую редкую и лучшую литературу по восточной философии, йоге, буддизму и даосизму по мере моего продвижения. Я тогда страстно увлёкся Тибетом и тибетским тантризмом – Альберт Леонг снабдил меня уникальными практическими книгами, где объяснялся каждый шаг и каждое слово тибетского пути к «освобождению». Однажды в своей медитации я дошёл «до предела»: осознавая, что я сижу в позе лотоса, я летел с бешеной скоростью вертикально вверх, как ракета, сквозь гудящее пламя, рёв, визг, скрежет! И вдруг из темноты на меня стали вылезать тибетские демоны и чудовища – «стражи нирваны» – точно такие, какие нарисованы на стенах буддийских храмов и буддийских иконах-танках. И – это я тоже называю *чудом* – среди всех этих чудовищ, словно их вытесняя, появилось лицо Ульянова-Ленина! Я по-настоящему испугался и «повернул назад». До этой «точки» в моей медитации я доходил ещё два раза, и каждый раз среди демонов появлялся «наш родной Ильич»! И всё-таки наступил момент, когда я попробовал «прорваться» сквозь всех этих демонов, но гул, рёв, какая-то неведомая до этих пор вибрация, ещё большее пламя и ещё более страшные морды демонов, включая морду вождя Мордора – Ильича, снова меня испугали. И тут где-то вверху справа появился мой старик с седой бородёнкой и на русском языке пронзительно мне закричал: «ИДИ! ИДИ! ИДИ!» Я испугался его ещё больше и в третий раз «повернул назад», а он яростно плюнул в мою сторону и грязно выругался: «Тьфу!.. твою мать!» И ровно через неделю я получаю бандероль с книгой от Альберта Леонга, в которой описывается последняя тантрийская медитация – «выход в нирвану». Привожу её по памяти в переводе с английского: «Эту практику необходимо выполнять только в присутствии Учителя. Он встаёт с правой стороны от адепта, сидящего под ним в позе лотоса, и когда наступает самый решительный момент, Учитель кричит: “GO! GO! GO!!!”» Намного позже в одной из книг Альберта я нашёл объяснение и этому *чуду*. Учитель может являться ученику «из Пустоты», если они были тесно связаны каким-то образом в одной из прежних жизней. И у меня обо всём этом есть стихи:

Нирвана

Одноглазый посол и кротов, и летучих мышей —
ты не раз заходил уже в тени гробов, но был выгнан взашей:
видно, рано ещё, видно, главного ты не нашёл,
видно, раны не так глубоки, и гамбургский счёт не пришёл.
А твои лабиринты, твои закоулочки сумрачных нор,
как и мёртвые петли – слепые ночные – пустой разговор
одного полушария мозга с другим полушарием, как
с дураком иногда говорит ещё более глупый дурак.
Так давай, погребай себя заживо – но смелее, без страха! —

в мозговых катакомбах извилин слепящего мрака!
Падай камнем на дно! Может, дастся тебе этой ночью
или спозаранку
Величайшее Чудо: со всею Вселенной вдруг вывернуться
наизнанку!

* * *

А в том, что в какой-то из прежних жизней я был буддийским монахом, у меня нет никаких сомнений. В 1969 году я впервые оказался в Монголии, в которую с первых же дней влюбился раз и навсегда. И всё время хотел попасть в буддийский монастырь. И однажды попал. И как замороженный простоял там всю службу – около пяти часов! А уже в середине семидесятых годов, когда я погрузился в буддизм «с головой», я оказался на кинофестивале в столице Бурятии Улан-Удэ и всё время уговаривал организаторов фестиваля устроить нам экскурсию в бурятский дацан. Наконец они согласовали наш визит со всеми инстанциями, и мы (актёры, режиссёры и те, кому захотелось туда попасть) на большом автобусе приехали в главный монастырь Бурятии. Когда мы все «вываливали» из автобуса, я мельком увидел у ворот монастыря трёх, как мне показалось, нищих, с одним из которых я на сотую долю секунды встретился глазами, как говорится, только «чиркнул глазом». Мы пробыли в монастыре больше двух часов, и все мои попытки завязать знакомство с каким-нибудь монахом заканчивались полным провалом – думаю, что все были предупреждены, поскольку наш визит был согласован «по партийной линии». Но когда уже почти в полной темноте мы выходили из дацана, меня кто-то осторожно похлопал по плечу. Я обернулся и увидел того самого «нищего», с которым я переглянулся при выходе из автобуса.

Он мне молча показал на дверь маленькой сторожки прямо в воротах монастыря и пригласил зайти. Я зашёл, а он из подола вывалил на стол несколько предметов – три статуэтки Будды из позолоченной бронзы, две «Тары», два-три устрашающих демона, а также бронзовые чайничек, колокольчик и чашу для зёрен (необходимые для службы). Я сразу увидел, что некоторые вещи тибетского происхождения и явно XIX или даже XVIII века. Я спросил: «Сколько?» Он: «Всё пятьдесят рублей». Я: «А почему так дешево?» Он: «Так не моё же!» Я: «А почему вы подошли ко мне?» Он: «А к кому же ещё?» И в тот момент я вспомнил даосский закон «Подобное притягивается подобным» и подумал: «А не вернулись ли ко мне те “предметы культа”, которыми я, будучи в одной из прежних жизней тибетским монахом, пользовался во время многочасовых молений и медитаций?» Во всяком случае таким неожиданным для себя образом я оказался обладателем неплохой коллекции буддийской бронзы. Но у меня начались безумные ночи: мне стали являться всякие Ямантаки, «стражи нирваны» в устрашающих обликах и прочие ламаистские демоны. На моё счастье, как раз в это время жизнь свела меня с человеком, который несколько лет был моим учителем ушу и тайцзицюань. Он сказал, что, пока я не выну из этих статуэток бумажные ленты с заклинаниями, у меня будут продолжаться ночные кошмары и в конце концов я «попаду в тантрийский ад», то есть попросту сойду с ума. И на самом деле, в каждой статуэтке днище было запаяно оловянной пластиной, а под ней лежали свёрнутые узенькие полоски древней бумаги, на которых были написаны очень красивыми тибетскими буквами слова – сотни и тысячи слов. Я сдуру выкинул все эти бумажные ленты, но зато все ночные кошмары тут же прошли.

* * *

В конце 1947 года моего отца «направляют», а практически ссылают (вместе с семьёй) в павлодарскую полупустыню в ста километрах от границы с Китаем в село Ленинское и назначают директором школы-интерната для детей «врагов народа». В селе было десять-пятнадцать дворов, в которых жили и работали поволжские немцы, высланные сюда в самые первые дни войны. В интернате было около ста завшивленных, запущенных и больных туберкулёзом детей всех национальностей – тех же немцев, чеченцев, ингушей, украинцев и даже испанцев, китайцев и корейцев. Моя мама прекрасно понимала, что в нашей жизни случилось нечто страшное и почти безнадёжное. И тут произошло то, что я называю *чудо с минусом*: моя сестра заболевает туберкулёзом, и мы втроём – мама, сестра и я – возвращаемся в Алма-Ату, где нас с мамой пригревает у себя одна из моих тётушек, а сестра попадает в больницу. Мама сочиняет десятки писем, которые переписывает детским почерком сестра, и все эти письма отправляются нашим великим вождям – Сталину, Ворошилову, Калинин, Берии и т. д. И каким-то *чудом* отцу разрешают уехать из села Ленинское, и он едет к себе на родину – в вятские края, чтобы перевезти и нас туда. Но разруха, голод, холод и безнадёжное убожество российской послевоенной жизни заставляют его вернуться в Азию.

Я учился в Алма-Ате в мужской 33-й школе. В ней же и жил. После неудачной поездки в Россию моего отца направили в эту школу преподавать химию, ботанику и зоологию и на время (до полугода) поселили в крохотную комнату, где раньше хранились вёдра и швабры уборщиц. И каким-то образом (*чудом?*) я попал во второй «А», где классным руководителем была Мария Ивановна Гуданец – высокая красивая женщина, курившая папиросы прямо на уроках (впрочем, как и остальные курящие учителя – в те времена все оглядывались на Вождя всех народов, которого даже на парадных портретах изображали с трубкой в руке.) Мария Ивановна отбирала в свои классы не детей, а родителей: в нашем классе учились три генеральских сыночка, один сын дипломата, дети работников Совмина, директоров заводов и фабрик и т. д. и т. и. (Самое удивительное – в случае с нашим классом она оказалась права на все сто процентов: десятый «А» 33-й алма-атинской школы в 1956 году закончили десять (!) медалистов.)

Мой отец проработал в нашей школе чуть больше года. В 1949 году в июле он погиб в горах при загадочных обстоятельствах – ни одного свидетеля! Правда, он был убеждённым генетиком и никогда этого не скрывал, а в августе 1948 года в СССР началась большая чистка в советской биологической науке – с посадками и расстрелами. Гонение на генетиков! Которое готовилось, как мы поняли на своей шкуре, всего-то полтора года назад. И мы – мама, сестра и я – остались в этой крохотной комнатке ещё почти на восемь лет! И это тоже было *чудом*: восемь лет, пока нам не дали две комнаты в коммуналке на окраине города, я жил в десяти-двенадцати шагах от своего класса! (Два шага от моей двери до лестничного пролёта, три шага сама лестница, следующие два шага – дверь в учительский туалет и три-четыре шага до входа в мой класс!) И естественно, был героем – во-первых, меня знала вся школа, а во-вторых, не было дня, чтобы я не опаздывал на какой-нибудь урок, потому что на все перемены шёл к себе домой к своим птичкам! А после смерти отца у меня остались две двустволки: одна – английская 12-го калибра, а другая, детская, но тоже очень серьёзная – оба её ствола стреляли наганными патронами (калибр патрона 7,62 мм, а диаметр пули 7,8 мм), но один из стволов был гладким, специально высверленным (скорее всего, тем же мастером, который её делал) для стрельбы очень мелкой дробью по небольшим птицам, из которых отец делал невероятно «живые» чучела. Занятия в школе начинались в 2:30 дня, а так как до горных склонов от моей школы было очень близко, то я раз или два в неделю вставал в пять-шесть часов утра и успевал «сходить в горы» на ловлю птиц или по воскресеньям в компании друзей на охоту (осенью и зимой в горах было много дроздов и диких голубей). А к оружию в послевоенные годы у наших

«правоохранительных органов» было очень снисходительное отношения. Всего лишь один раз мою маленькую двустолку у меня отобрал молодой мент, но, на моё счастье, дочка начальника отдела милиции оказалась ученицей моей мамы, и я тогда первый раз в своей жизни столкнулся с наглым лжесвидетельством. Мент вытащил из кармана *боевые патроны для нагана* и заявил, что эти патроны он «изъял» у меня! К счастью, у меня были гильзы с высверленными донышками для больших охотничьих капсюлей, и мент-лжесвидетель был посрамлён!

* * *

Следующим *чудом* в моём детстве были мои способности почти ко всем видам спорта – я с успехом занимался в секции акробатики, меня уговаривали заняться боксом, гимнастикой; летом – баскетбол, зимой – коньки и хоккей, но! В одиннадцать лет мне отвратительно сделали операцию аппендицита, у меня начался перитонит, меня снова вскрыли, промыли, и я *чудом* остался жив. И! Ровно год я ходил с палочкой на всякие облечения и перевязки, и в это время я просто вынужден был читать! Причём читал запоем и всё подряд. А когда у меня затянулся последний свищ, мои ровесники обогнали меня в спорте настолько же, насколько я обогнал их в чтении, и спорт мне стал неинтересен. И это я тоже считаю *великим чудом* для всей моей будущей жизни! ГОСПОДЬ, или НЕЧТО, его заменяющее, остановил моё возможное продвижение на спортивной арене и полностью изменил *вектор* моего развития. Зато позже на всех вечерах и танцах, которые устраивали старшеклассники, я сначала был зрителем, а уже с седьмого класса – участником! Я быстро научился танцевать вальс и танго, а потом и фокстрот! Тут мне помогли фильмы, «взятые в качестве трофеев»! Раз десять я смотрел «Серенаду Солнечной долины», «Петер» с блистательной «мальчиковой» Франческой Гааль и по несколько раз массу всяких немецких, английских и американских фильмов. По субботам я старался более или менее «прилично» одеться, насколько мне позволяла мамина нищенская зарплата, и, когда до нашей комнаты доносилась музыка, выходил в коридор. Затем, пройдя родные двенадцать шагов, входил в зал, где уже крутились пары. Зал в нашей школе был придуман довольно остроумно: в трёх классах, находившихся на втором этаже, включая и мой, были тонкие, но плотные стены, которые при необходимости поднимались лебёдками, стоявшими на чердаке, прямо в полые и более толстые стены классов третьего этажа. А парты выносились в коридор и ставились друг на друга в два, а то и в три ряда. (До шестого класса в дни праздников и вечеров эти ряды парт в тёмном коридоре были самым притягательным местом игры для меня и ещё двух парнишек – детей уборщиц, которые тоже жили в нашей школе.) В зале я выбирал какую-нибудь хорошо танцующую девочку и приглашал на танец. Лучшее всего у меня получался вальс, и однажды я так разошёлся, что моя партнёрша споткнулась о свою собственную ногу, а я не сумел её удержать. Бедная девочка покатила по полу, все очень смеялись, а девочка горько плакала. Я переживал не меньше её.

Ещё с четвёртого класса наша Мария Ивановна начала ставить всякие спектакли. Главные роли всегда играли наши первые отличники (как правило, дети очень важных родителей!), а дальше уже шли середняки, в числе которых всегда был и я. И каждый раз, когда я смотрел на бездарную игру отличников, у меня всё внутри переворачивалось, поскольку я точно знал, что я бы сыграл лучше! И эта традиция была до седьмого и восьмого класса, пока наш класс не начал приглашать на вечера седьмой или восьмой «А» из женской школы № 19, которая находилась в четырёх кварталах от нашей. Вот тут даже учителя поняли, что отличники отличниками, но надо и «товар лицом» выдавать! И я стал играть главные, в основном комические роли. В восьмом «А» девятнадцатой женской школы было много симпатичных девочек, но самой ослепительной была Галя Велижанинова – громадные «пушистые» глаза, восхитительная, уже почти оформленная фигура и роскошная коса, которую она иногда закручивала на голове, а иногда просто оставляла висеть чуть не до пят. И все наши отличники вздрогнули!

Первым провожать её по окончании вечера вызвался «звезда» нашего класса Виталий Савельев, который с ней больше всех и танцевал. А жила она за Пугасовым мостом, на речке Малая Алматинка, и вверх по речке до её дома надо было ещё с километр идти в кромешной азиатской тьме по узенькой тропинке. На следующий день все узнали, что Савельева крепко побили какие-то хулиганы. После очередного вечера её провожал уже сын дипломата Вадик Макаров, но и его тоже побили. Зато появилась и информация: недалеко от дома Гали Велижаниновой жил шестнадцатилетний чеченец, который заявил, как пушкинский Онегин: «Она моя!», хотя сам он ни разу с ней не встречался и не говорил! У этого чеченца, которого звали Адам, уже была небольшая, но крепко сбита банда, а поскольку он жил в «моём» районе, то в нашей школе я о нём уже слышал. И наконец наступил вечер, когда ни один отличник не осмелился пригласить её на танец!

У меня в детстве было очень мало драк, я был словно заговорённый. Когда я учился в первом классе, а Шурик уже во втором, он мне пожаловался, что его кто-то в классе обижает. Я вызвался защитить Шурика. И когда у них закончились уроки, я встретил обидчика моего друга, вокруг которого стоял весь его класс, и, можно сказать, при всех вызвал его на дуэль! Дуэль началась прямо у входа в школу, и для меня самым большим потрясением оказалось то, что все вокруг почему-то болеют за моего противника! А не за МЕНЯ!!! И я точно знаю, что я проиграл моё сражение только поэтому! Да ещё мне разбили нос, а по кодексу школьных драк «дерутся до первой крови»! И я заревел только из-за несправедливости – во-первых, что все болели *не за меня*, а «за этого мерзавца», и, во-вторых, я точно знал, что сил побить его было у меня достаточно. Когда я, всхлипывая и утираясь, рассказывал всё это моему отцу, он сказал мне фразу, которая осталась у меня в голове на всю жизнь: «Сынок, если тебя и побьют, ничего в этом страшного нет».

И вот тогда, на вечере, вспомнив эти замечательные слова отца, я с удовольствием пригласил Галю Велижанинову на танго! Потом на вальс! Потом на фокстрот! И мы с ней всё время танцевали, и я пошёл её провожать по очень мне знакомой тропинке, по которой я ходил в горы на охоту или на ловлю птиц. Тьма была страшной – ни луны, ни звёзд. Пахло цветущей сиренью и прохладной сыростью от грохочущей в двух метрах от нас горной реки. Мы держали друг друга за руки, чтобы в темноте помочь оступившемуся... И тут я услышал в кустах какие-то шорохи – то справа, то слева, и сердце моё бешено забилося. Но я уже тогда был артистом! Я стал рассказывать ей какую-то весёлую историю, а она преувеличенно смеялась; я тоже смеялся, и когда мы вышли на более или менее освещённую площадку, нас окружили трое или четверо парней. Я мгновенно заметил, что двое из них курят. И я, не останавливаясь, обрадованно вскрикнул: «Здорово, ребята! Как хорошо, что вы здесь! Угостите папироской! Я живу в тридцать третьей школе на втором этаже и завтра же подарю вам коробку “Казбека”. Только обязательно приходите!» Они оторопело молчали, и как под гипнозом один из них протянул мне папиросу. А кто-то вышел из темноты и дал мне прикурить от самодельной зажигалки. И в её свете я увидел напряжённое лицо молодого чеченца. «Тебя зовут Адам? – спросил я его. – Ты нохч?» – «Да», – с достоинством и спокойно ответил Адам. Это был он. И, повернувшись к парням, добавил: «Этому можно». И они тут же растворились в темноте. А мы через пять минут были у Гали дома, и её мама угощала нас чаем и охала и ахала, когда дочка рассказывала ей, какой я бесстрашный. Мама настаивала на том, что обязательно пойдёт меня провожать, но я категорически отказался, потому что знал, что со мной в этот вечер ничего не случится. Мы с Галей влюбились друг в друга мгновенно, но! На следующий день пришли бумаги, по которым наша семья в кратчайший срок должна была переезжать в настоящие две комнаты в настоящей квартире с ванной, кухней и туалетом! Правда, с соседями и в противоположном конце города, но это было настолько невероятным счастьем, что моя влюблённость в Галю Велижанинову как-то незаметно, с хлопотами, отодвинулась на второй план. Ко всему прочему больше не было танцевальных вечеров, потом начались экзамены, потом переезд, новая школа и первый

год совместного обучения с девочками! Да ещё после мужской школы! А в новом классе три Лиды – одна лучше другой: Лида Стрыгина, Лида Парамонова и – Лида Шишкина, моя самая первая любовь! И когда, оказавшись после демонстрации Седьмого ноября в центре города, я увидел на противоположной стороне проспекта Калинина – нашего алма-атинского Бродвея – Галю Велижанинову, я ахнул! Красавица! Рысь! Снежная Барсиха! Только вместо хвоста у неё была роскошная коса, которой играл идущий прямо за ней высокий, красивый, модно одетый парень! Он подбрасывал её косу и тут же ловил. И снова подбрасывал. И снова ловил. И ещё подбрасывал, и ещё ловил! А она важно шла, словно не замечая своего ухажёра, и что-то сыто мурлыкала своей подруге.

* * *

После смерти отца я оказался почти беспризорным: мама около года была в больницах – то в одной, то в другой; сестра – в туберкулёзном санатории, а я жил у двух тётушек попеременно. Одна из них купила самый крутой по тем временам радиоприёмник «Балтика» – это было как «Мерседес» по сравнению с нашими «Москвичами». Я уже тогда стал увлекаться музыкой: у нас был патефон, и я коллекционировал полузапрещённые тогда пластинки Вадима Козина, Петра Лещенко, Изабеллы Юрьевой, Александра Вертинского и др. И однажды, ещё до тётушкиной «Балтики», я услышал настоящий джаз! На «рёбрах и черепах», то есть на самодельно сделанных пластинках из больших рентгеновских снимков грудной клетки, черепов, тазобедренных суставов и прочих органов неведомых мне пациентов! И я променял всю свою коллекцию Козина и Ко. на пачку «черепов и рёбер»! И часами слушал Эллу Фицджеральд, Луи Армстронга и Дюка Эллингтона до тех пор, пока они не превратились в настоящие ошмётки. А когда я ночевал у тётушки с «Балтикой», то ночами ловил джаз на этом фантастическом приёмнике. Тётушка даже выставила в коридор мой диванчик, чтобы я не мешал ей спать. И однажды (о, *чудо!*) я впервые услышал «Голос Америки»! И сквозь всякие завывания и хрипы я наслушался ТАКОГО, что мне стало СТРАШНО! Но страх был совсем не от того, ЧТО я услышал, а от того, что я мгновенно поверил во всё услышанное. И про Ленина, и про Сталина, и про Берию, и про все расстрелы, пытки, лагеря и т. д. и т. п. . . . После этого дня каждое событие, каждая статья в газете или каждое собрание в школе, а потом в институте проверялось (и поверялось!) мной по всяким «вражеским голосам». У меня хватило ума ни с кем это не обсуждать – здесь, возможно, проявились гены моего дедушки-священника, которого замучили пьяные чекисты в 1919 году в селе Красногорское Тобольской губернии, а также всех моих родственников, которые сбежали от преследований большевиков сначала в Ташкент, а потом в Алма-Ату. И я более всего благодарен Судьбе именно за этот подарок: через вой, свист и скрежет глушителей (очень, кстати, похожие на устрашающие звуки на пути к тибетскому освобождению и просветлению) – первый шаг к ПРОСВЕТЛЕНИЮ и ОСВОБОЖДЕНИЮ моего сознания от ленинско-сталинской подлой галиматый!

* * *

В 1948 году, как раз в то время, когда отец подыскивал нам новое местожительство в Вятской губернии, мы жили у другой моей тётушки. Её муж работал где-то бухгалтером и приходил всегда поздно ночью и тут же со словами «Поживу хоть немного!» ложился спать вместе с тётушкой на единственную кровать в большой (относительно) комнате. *Старшая* дочь вышла замуж за *младшего* лейтенанта НКВД, и они спали в маленькой комнатке. А мои две другие двоюродные сестры, моя мама и я спали на полу. Почти каждую ночь в три часа я должен был бегать «на переклички» в свою очередь – у меня на руке чернильным карандашом всегда был написан какой-нибудь четырёхзначный номер, «как в немецком концлагере», и я почти по спя-

щим телам моих сестёр пробирался к выходу. В 1948 году были чудовищные очереди за хлебом – иногда они доходили до двух рабочих дней! Если же «давали» муку, то очередь могла длиться до двух-трёх суток. Тогда всю очередь (а она, как правило, занимала полный квадрат четырёх кварталов, из которых состояли все районы центральной части Алма-Аты) разбивали на сотни, а потом каждую сотню – на десятки, и так получалось, что «дежурным» по своей десятке всегда был я. А днём почти все должны были выстаивать подобные очереди. И однажды, часа в три невероятно жаркого летнего дня, раздались какие-то крики, и я успел увидеть, как к молодому человеку, по всей вероятности студенту, державшему в руках убогий фотоаппарат «Любитель», кинулись какие-то свирепые дядьки и тётки, вырвали у него аппарат, стали его бить и орать на всю улицу: «Милиция! НКВД!» Тут же появились и те и другие, и беднягу, уже всего в крови, поволокли какие-то полувоенные люди! Потом вся очередь взахлёб хвасталась, что «поймали шпиона!». У меня вся эта история вызвала только рвотноподобные реакции, и это я тоже считаю небольшим, но важным *чудом* – ведь мне было тогда всего девять лет! А параноидальная «шпиономания» продолжалась чуть ли не до XX хрущёвского съезда. Когда я закончил девятый класс, я с большим трудом накопил деньги на фотоаппарат «Зоркий» – в два-три раза больше работал в яблочном совхозе «Горный гигант», примерно во столько же раз больше делал клеток для чижей и щеглов и был бесконечно счастлив! В самые жаркие дни я уходил в свой любимый Парк культуры, где был очаровательный пруд, правда, с не совсем «кристально чистой» водой, поскольку берега у пруда были глинистыми, но нас это нисколько не волновало. В одном месте берег выдвигался прямо в пруд довольно высоким четырёхметровым холмом, и там собирались самые отважные пловцы и прыгуны, среди которых был и я. Это было нечто! Однажды там появился элегантный мужчина с лучшим по тому времени аппаратом «Лейка» – у меня отвисла челюсть, когда я его увидел. Он это сразу заметил и стал со мной «наводить мосты». В те годы почти никто ничего не знал о гомосексуализме – дня за два до нашего знакомства ни один человек на нашей глиняной скале не обратил внимания на то, что модный мужик с фотоаппаратом уговорил одного мальчика позировать ему абсолютно голым: сказал, что он художник и пишет сейчас картину «На пляже»! Я тоже ничего об этом не знал, но интуитивно мне это совсем не понравилось. Он, вероятно, заметил, как жадно я смотрю на его фотоаппарат, но его порочная фантазия, скорее всего, его обманула, и он смело подсел ко мне и стал меня обрабатывать: предложил мне стать его «секретарём», назвал себя писателем, художником, фотографом журнала «Огонёк» и т. д. и т. п. «Мы поедем высоко в горы, там у меня есть комфортное бунгало, а за твою помощь в работе я буду платить тебе хорошую зарплату», – и назвал мне сумму, о которой я и мечтать не мог! А самое главное, он подарит мне «Лейку»! Я уже был готов закричать: «Я согласен!» – но он в некотором возбуждении, которое я тут же почувствовал, полез ко мне в трусы. В общем, каким-то «предопытным» чувством я понял, что мне от него и его фантастической «Лейки» надо бежать сломя голову, что я и сделал, придумав какие-то спешные и нелепые отговорки. Но тут происходит ещё одно странное совпадение – моя сестра оказалась в компании вполне симпатичных людей, часть из которых была махровыми идеалистами-комсомольцами. Главенствовал в этой компании Боря Уткин – старший брат моего соседа по парте Стасика Уткина (о Стасике будет рассказ позже), он был секретарём комсомольской организации нашей школы. И на следующий день я оказался в их доме и рассказал историю с «Лейкой». И – мгновенно, не сговариваясь, все вскрикнули: «Так он же шпион! Надо срочно принимать меры!» Эту историю я тоже считаю небольшим, но важным для моей дальнейшей судьбы *чудом*: всю мою юношескую жизнь я чувствовал себя мишенью педерастов – интеллигентных, изящных, знаменитых и богатых, а также примитивных, наглых, но всегда в чём-то для меня омерзительных; я всегда сравнивал их с кагэбистами – и у тех и у других вся их принадлежность «к особому кругу» была чётко написана на их физиономиях!

В тётушкином одноэтажном доме было несколько квартир, и вечерами дети всего нашего дома собирались во дворе и играли во всякие незамысловатые игры. Когда с триумфом прошёл американский фильм «Робин Гуд», «взятый в качестве трофеев», все мы понаделали луков из дубовых веток, стрел из сухого камыша, а наконечники – из консервных банок. Наконечники были очень острыми и эффектно впивались в любое дерево или доску. Однажды вечером, когда уже было темно, напрочь забыв «самый главный закон охотника – никогда не целиться в человека даже палкой», я понарошку прицелился из лука в своего соседа, но не удержал тетиву, и стрела, как нам всем показалось, впилась ему прямо в глаз! Он завопил как резаный, но, к счастью, стрела попала ему не в глаз, а в бровь! Ровно на три миллиметра над глазом! Скандал был чудовищный, но все только и говорили: «Всего в каких-то трёх миллиметрах!», «Если бы не три миллиметра, он бы его убил!» и так далее. Так начались мои настоящие *чудеса* с этими загадочными тремя миллиметрами.

Каждое лето я отправлялся на все летние каникулы к брату моей мамы в Тюменскую область на мамину родину. Мой дядюшка был талантливым и прирождённым доктором – он единственный избежал преследований чекистов, поскольку лечил не только уездное, но и всё губернское начальство со всеми их жёнами, любовницами и родственниками. А о том, что он был знаменитым врачом во всей Западной Сибири, я узнал, когда пацаном в 1952 году ехал в переполненном вагоне из Омска в Ялуторовск. Лёжа на третьей полке, я вдруг сквозь полудрёму услышал какие-то невероятные истории о каком-то волшебнике и маге, который лечит ВСЕ болезни ВСЕМ, кто к нему обращается, и который живёт в зерносовхозе «Коммунар», куда я тогда и направлялся! Я, конечно, не выдержал и гордо заявил, что это мой дядя и зовут его не Фролентий, а Флорентий Николаевич Ржевский, и что еду я сейчас именно к нему! После насмешек и издевательств, а потом строгих экзаменов мне поверили и до самого Ялуторовска меня кормили всякими вкусностями. У «дяди Флори», как я его звал, был просторный дом с удивительным громадным чердаком, похожим на заброшенный музей, где я сразу же обосновался, чтобы не беспокоить хозяев, – на крышу был отдельный ход, и я мог в любое время ночи возвращаться «домой» после деревенских романтических посиделок. Каждое лето мой дядя устраивал меня на «работу» – покос сена для больничных лошадей, где я верхом на лошади управлял волокушей, то есть подвозил скирды к громадному, как мне казалось, стогу сена, а в обеденные перерывы или вечерами мы (волокушники) носились на наших лошадях, как индейцы. Покосы для больницы выделялись довольно далеко, и я всегда сидел на облучке брички и управлял лошадью, чему, естественно, был несказанно счастлив. В одно лето больница купила великолепную молодую кобылу, и мы все (и особенно я) не могли на неё нарадоваться. Я всегда управлял «главной» бричкой, в которой сидел мой гениальный дядюшка, и в тот раз, о котором идёт речь, мы почему-то замешкались и выехали уже под вечер. Дорога была хорошо укатана и шла между уже темнеющими перелесками, кобыла бежала иноходью (что было большой редкостью), и, когда впереди показалась сплошная линия тёмного леса, через который шла дорога, наша кобыла этого леса испугалась и стала как вкопанная. А я, как заправский ямщик, стал цокать, нокать и в конце концов огрел её хорошенько кнутом. И тут случилось «нечто»: за сотую долю секунды я почувствовал Катастрофу, Большую Беду, возможно, СМЕРТЬ и, как на занятиях по акробатике, сделал мощное сальто назад. И в момент моего прыжка заднее, хорошо подкованное кобылье копыто с гигантской силой и скоростью ударило по самому кончику моего носа, сломав мне хрящ, но не задев кости. Я упал без сознания прямо на колени к лучшему доктору Западной Сибири, который мгновенно перевернул меня лицом вниз, иначе бы я захлебнулся собственной кровью. И целых две недели, прикладывая к моему пухлому и чёрному лицу компрессы, мой дядюшка каждый раз бормотал: «Три миллиметра... Всего три миллиметра!..»

Кто заставил меня прыгнуть? Если бы я не прыгнул, она бы попала мне в грудь... (СМЕРТЬ!) Или в шею... (СМЕРТЬ!) Или в лоб... (СМЕРТЬ!) Если бы во время моего

сальто она задела носовую кость... (Стопроцентная СМЕРТЬ!) Или верхнюю или нижнюю челюсть... (Всё одно – СМЕРТЬ!!!) А в это время Земля крутилась вокруг своей оси... Неслась вокруг Солнца... В кобыльей вселенной мгновенно родился взрыв гнева... В моей крохотной, ещё неокрепшей вселенной появился ВЗРЫВ СТРАХА, который и спас меня от смерти. Но откуда взялись эти ТРИ миллиметра?! КТО ИХ ОТМЕРИЛ? Думаю, что объяснить это можно только... *Великим Чудом!*

Но... Проходит каких-то шестьдесят лет, и история с тремя миллиметрами повторяется ещё раз! В 1988 году я купил половину старого здания сельской школы постройки 1904 года с намерением сделать из неё «загородную мастерскую». Мне достался один класс с двумя большими окнами и часть коридора. Между классом и коридором – громадная печь из белого кафеля, на которую можно только любоваться – для обогрева она требовала огромное количество дров. Кончилось всё тем, что я приобрёл замечательную печку – суперусовершенствованный чугунный вариант буржуйки военных лет – и вмонтировал сияющую трубу из нержавеющей стали в дымоход кафельной школьной печи. Высота моего класса – четыре метра, высота чугунной печки – около метра, а последнее кольцо трубы-нержавейки заходит в печь на высоте чуть больше трёх с половиной метров. Раз в год и трубу, и дымоход необходимо прочищать, и вот лет семь назад, приехав ночью поздней осенью в громадную, нетопленую кирпичную пещеру и затопив свою буржуйку, я вдруг оказался в холодном и полном густого дыма классе. Я забыл почистить дымоход и трубы перед отопительным сезоном! Не буду останавливаться на деталях, как я вываливал глубокой ночью на белый снег густую сажу из всех колен трубы, как, стоя на хлипкой стремянке, вытаскивал ковшом сажу из дымохода... Наконец, когда всё было вычищено, я стал монтировать трубы с самого верха. Внизу из печки выходила короткая стальная труба, намертво приваренная к корпусу печки, на которую и нанизывались все остальные звенья. И в момент, когда я пытался глубже вставить в дымоход самое верхнее коленце, моя стремянка выскользнула из-под моих ног, а я полетел с трёхметровой высоты вниз и попал нижней губой (к величайшему счастью, вскользь!) прямо на край стальной трубы! А вес у меня 85 кг! Удар по челюсти – даже вскользь! – и на несколько секунд потеря сознания! Развалившаяся пополам нижняя губа и, как я тогда думал, страшная потеря крови! В моей аптечке оказались пачки салфеток и бинтов, две склянки настойки прополиса, несколько пакетиков белого стрептоцида и пакет бактерицидных пластырей – и всё ушло только на то, чтобы остановить кровь. Но что-то, видно, произошло и с мозгами (небольшое сотрясение?): остановив кровь, я тупо снова полез наверх, установил все трубы, зажёл печь и только после этого поехал в травмпункт ближайшего райцентра, где мне в три часа ночи молодой доктор на удивление изящно зашил губу. А после расспросов о моей травме он сказал поразительные слова: «Вам невероятно повезло: если бы вы упали на вашу трубу всего на три миллиметра ближе, мы бы с вами сейчас не разговаривали – у вас были бы срезаны носовые кости, а это СМЕРТЬ!»

* * *

Наша славная мужская 33-я школа была одной из самых спортивных и одновременно самых бандитских школ в городе. «Главными» видами спорта были баскетбол и бокс. Ну и, конечно, после того, как открыли высоко в горах каток «Медведь», коньки! Один из наших десятиклассников (я даже помню его имя – Володя Мухамеджанов) играл за сборную баскетбольную команду СССР! А у меня перед глазами каждый день было баскетбольное поле во дворе моего дома-школы. И как только выдавалось свободное время, я играл в баскетбол как угорелый до самой темноты, и моя мама очень часто звала меня «домой» из окна второго этажа нашей школьной комнаты. На первом этаже у нас был громадный физкультурный зал, в котором почти каждый месяц проходили заседания судов (в основном над бандитами из нашей же школы). Весь седьмой класс со мной за одной партией сидел странный парень Стасик Уткин

– худой, бледный, всегда спавший на уроках, потому что ночами, как он говорил, работал в гараже Центрального парка. Его старший брат, как я уже сказал выше, был комсомольским секретарём нашей школы. Понимая, что Стасику приходится работать по ночам в гараже, я никогда не был против, если он списывал у меня всякие домашние задания. Он был очень стеснительный и молчаливый, и с ним никто не дружил. Когда я переехал в новую школу, я попал на какое-то время в юношескую баскетбольную команду алма-атинского «Динамо» и каждый свободный день (от птиц, охоты и занятий в школе) через весь город ездил на тренировки на стадион «Динамо». Руководила нашей баскетбольной группой алма-атинская знаменитость – гигант-чеченец Уайс Ахтаев, его рост, как нам говорили, был 2 метра 14 сантиметров! И вдруг – весь город буквально «встаёт на дыбы»! (Я узнал об этих страшных событиях как раз на стадионе «Динамо», где шли тренировки.) Открылась банда убийц, которыми руководил заведующий тем самым гаражом, в котором «работал», по его словам, Стасик Уткин! Они орудовали довольно долго, разъезжая по ночному городу на гаражной «полуторке», и успели убить и ограбить десятки жертв. Суд проходил в спортивном зале моей бывшей 33-й к тому времени уже не мужской школы, и Стасику за два жестоких убийства, которые совершил лично он, «по малолетству» дали десять лет колонии строгого режима. А в январе 1959-го, всего через четыре года после суда в 33-й школе, случилась наша «яркая» поездка на Кольский полуостров, и мы с Кидом Кубасовым стояли в дверях вагона, сплошь покрытого ледяными наростами и сосульками, на станции Оленегорск (для нас конечной) и ждали, когда под нами вдоль нашего поезда пройдёт нескончаемый, как нам казалось, этап заключённых – под свирепый лай немецких овчарок и хриплый мат вертухаев-охранников. И вдруг – я до сих пор считаю этот случай одним из *величайших чудес* моей жизни – прямо подо мной при сполухе полярного сияния один из эков поднял голову, и мы встретились глазами. Боже мой! Как редко в жизни я бывал так же взволнован, как в тот момент. Я буквально заорал: «Уткин!» И выпрыгнул из вагона прямо к нему в объятия. Мы оба заревели то ли от неожиданности, то ли от счастья – я уж не знаю. Но в это мгновение наступила звенящая тишина – даже собаки, по-моему, всё поняли. И – невероятная реакция командира охраны, молоденького лейтенанта. «СТОЯТЬ!» – заорал он натруженным голосом, и колонна остановилась. Казалось, лейтенант был ещё более счастлив, чем мы с Уткиным. «Вы что, родственники? – радостно улыбаясь, хрипел он. – Братья?» И Стасик Уткин сквозь слёзы выдавил: «Мы одноклассники...» И мы с ним снова блаженно заревели. Его слова услышали все – и охранники, и эки, словом, те, кто был в радиусе нашей встречи, и тут раздались аплодисменты, как в театре! Кид вынул фляжку с водкой, и мы вчетвером осушили её «за встречу за полярным кругом»! Бог знает где! – за тысячи километров от нашей парты в 33-й школе, стоявшей всего в двенадцати шагах от моей комнаты, где я прожил целых восемь лет! И снова: КТО нас свёл? Тютелька в тютельку, как говорится! Мы только в тамбуре простояли около получаса! Да и Уткин мог пройти в первых отрядах! Получается, что больше четырёх лет мы шли разными дорогами из нашей родной 33-й мужской, чтобы оказаться в Оленегорске в семь утра крошечной полярной ночи и при случайном сполухе полумёртвого зеленоватого света встретиться глазами! Примерно через пятьдесят лет мои воспоминания о путешествии на Кольский полуостров вылились вот в такие стихи:

Ловозеро¹ 1959
Полдневный жар в долине Дагестана...
 М.Ю. Лермонтов

Полдневный мрак в долине лопарей.
 Декабрь. Ловозеро. И вместо фонарей

¹ Посёлок на берегу озера на Кольском полуострове, где живут лопари и саами.

сверкает в небе буйное сиянье
и будит в каждом смутные желанья.
Сна нет ни у людей, ни у зверей,
и всякий рвётся из своих дверей.
Здесь сроки спорные: день за год, год за день.
От карликовой хвои летом тень
теряется в болотистых просторах,
а водка ценится, как соболь или порох.
И трудно предсказуема погода.
От преступлений здесь спасает лень, к
ак и любовь, поскольку тьма – полгода.
Love-озеро! Пельмени и уха.
Любовь в санях... Олени и меха.
Любовь в сених на дьявольском морозе
и споры пьяные о лермонтовской прозе.
Ночную ночью непрерывно бдение,
в шуршащих сполохах тревожно пробуждение.
Love. Озеро. Мороз. Двойная мгла.
Смерть скалится из каждого угла.

* * *

Мои занятия баскетболом тоже обернулись невероятной, смешной и очень показательной историей. В 1972 году в Алма-Ате проводился Всесоюзный кинофестиваль, и мой город принимал меня как героя, вплоть до громадной статьи в местной «Правде» и приглашения к «хозяину» – Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву. Однажды в полдень ко мне в гостинице подбегает восторженная молодая женщина и умоляет меня всего на полчаса приехать в «ту школу, которую вы окончили... Там сейчас проходит торжественное собрание, и вся школа ждёт вас. А главное – вас ждёт ваш лучший друг, с которым вы играли в баскетбол!». Я не помню ни одного человека, с которым я тогда играл в баскетбол, кроме уникального гиганта Уайса Ахтаева, замечательного спортсмена и очень доброго человека, который вёл наши тренировки. Но – родная школа есть родная школа, и я, естественно, тут же соглашаюсь ехать. Сажусь в машину, и она меня везёт... в противоположную сторону! Я осторожно спрашиваю: «А куда мы едем?» – «В вашу школу, а куда же!» – «Интересно, – говорю я, – она что, переехала?» Женщина весело смеётся: «Ну вы и шутник!» Мне становится интересно, чем кончится наша поездка. В конце концов меня привозят в какую-то школу «физкультурной направленности», где я никогда в жизни не был, и там меня торжественно подводят к стенду с моими многочисленными фотографиями и моей БИОГРАФИЕЙ!!! И в этот момент распахивается дверь актового зала, заполненного школьниками, из которой выскакивает какой-то сумасшедший (он же директор этой школы) и кричит во весь голос, чтобы все в зале его слышали: «Лёва, дорогой! Ты помнишь, как мы играли в баскетбол?! Расскажи, как ты не дал Арменаку Алачечану закинуть ни одного мяча!» Господи! Я не помню, чтобы я когда-то видел этого человека, не помню, чтобы я когда-нибудь играл с ним в баскетбол! А Арменак Алачечан – великий спортсмен – в 1956–1957 годах был студентом Алма-Атинского физкультурного института, и на институтских соревнованиях я на самом деле был в команде нашего пединститута. А поскольку у меня был стиль «прохода» и дриблинга, чем-то напоминающий стиль Алачечана, меня поставили его «опекать», из чего, естественно, ничего не вышло, и он «насовал» нам столько мячей, сколько никому из нас не снилось. И ведь вот что самое интересное! Меня – of all people! – всего через

каких-то семнадцать лет отсутствия в городе какой-то тщеславный урод превращает пусть в убогий, но МИФ!

Я был близким приятелем Всеволода Абдулова – ближайшего друга Владимира Высоцкого. Как он смешно рассказывал о «лучших друзьях Высоцкого», которые как грибы после дождя расплодились сразу после его смерти! Мой друг Михаил Ерёмин – уникальный поэт, которого выделял Иосиф Бродский, рассказывал мне, что на какой-то «европейской тусовке», посвящённой Бродскому, из ста пятидесяти человек, приехавших «на шабаш» (слова М. Ерёмина), было максимум человек десять, знавших его лично. И какова цена всей Российской Истории, которую во все века латали и перекраивали в угоду ВЛАСТЯМ подобные тщеславные уроды, занимавшие раньше и занимающие и сейчас всякие ответственные политические и идеологические посты! Сколько в нашей стране уничтожено уникальных документов не только во время пожаров, набегов татар и печенегов, войн, переворотов и смут, но ещё из зависти, убогого тщеславия и/или (больше всего!) из примитивного страха, что когда-нибудь кому-нибудь откроется «некрасивая» ИСТИНА!!!

* * *

Наш новый алма-атинский дом, куда мы переехали практически из центра, был последним во всей очень приблизительной «городской» полосе, примыкающей довольно близко к хребту Заилийского Алатау. Всего за каких-то восемь лет до нашего переезда в новый дом, на том самом месте, где он стоит и сейчас, мой отец на моих глазах убил влёт фантастической красоты фазана, из которого через день сделал прекрасное чучело. По тогдашним меркам расстояние от центра города, где находилась наша школа, до дома, куда мы переехали, было гигантским, и в этом районе охотники осенью и зимой успешно охотились на фазанов, кекликов (горных куропаток), перепёлок, а иногда и на лис. Большинство учеников моего отца всего за год их общения с ним стали биологами, а некоторые, включая моего ближайшего старшего друга Икара Бородихина, даже прославились. В новой школе моим соседом по парте стал мой сосед по месту жительства Марат Бикбулатов – всего в километре от нашего дома начинался удивительный алма-атинский Ботанический сад, в котором он жил, а отец моего нового друга работал в нём главным бухгалтером! Четыре чудесных года моей юношеской жизни благодаря Марату прошли в самом эпицентре «рая на земле» – иначе и не скажешь. Каждое утро мы встречались у моего дома и вместе шли в школу, а из школы тоже вместе шли по домам, а потом на весь оставшийся день я уходил в Ботанический сад. У меня дома тогда жило много певчих птиц, и мы с Маратом стали вместе ловить щеглов, чижей, чечёток и необыкновенно красиво «журчащих» жаворонков. Кончилось тем, что Марат стал биологом, а я уехал в Ленинград учиться «на артиста». И ко времени моего приезда в 1972 году в Алма-Ату на Всесоюзный кинофестиваль Икар Бородихин становится известным орнитологом, а Марат Бикбулатов – главным объездчиком кунаевского охотхозяйства. И они оба приглашают меня на пару дней в это самое охотничье угодье «хозяина» Казахстана Кунаева. Марат жил в уютном кирпичном домике, одна из комнат которого служила ему кабинетом. Там вместе со шкафами у стены стоял сейф для оружия, конфискованного им у браконьеров, а вторая небольшая комната была и его столовой, и его спальней с ещё двумя «гостевыми» диванами, где мы и расположились нашей чудесной компанией. Нам всем было о чём поговорить и что вспомнить! И вряд ли нам хватило бы для этого одной ночи!

После первой бутылки Марат стал вспоминать свои «схватки» с браконьерами и хвастать отобранным у них оружием. Должен сказать, что Марат при всей его природной доброте был совершенно бесстрашным человеком. И на самом деле – чего только не было в его арсенале! И карабины, и помповые ружья, и один «калашников», и даже немецкая двустолковая «Зауэр три кольца»! И с каждым из этих стволов были связаны истории – страшные, мерзкие, опас-

ные или смешные. Но мне больше всего понравился американский кольт, из которого я очень любил стрелять, когда снимался в советско-румынском фильме «Туннель». С нашим пиротехником мы были старые друзья, и в свободное время мы уходили недалеко в горы (съёмки проходили в Карпатах) и расстреливали десятки патронов. Кольт как машина убийства почти совершенен. Калибр – 0,45 дюйма (11,43 мм.) Вес достаточный, чтобы отдача не слишком беспокоила. Осечка исключена, если механизм исправен, а патроны «родные». Из наших больше всего напоминает ТТ, который и был почти скопирован с кольта (ТТ и «стечкин» – мои самые любимые наши pistols). Марат вынул из кольта обойму и дал его мне «поиграться». Моё знакомство со стрельбой началось, когда мне было семь лет, – с первого дня, когда папа вернулся с фронта. Он привёз себе английскую двустволку 12-го калибра, а специально для меня миниатюрную детскую, сделанную каким-то замечательным немецким мастером на заказ, тоже двустволку, стрелявшую наганными патронами. Купил он её в Кёнигсберге и там же один из стволов высверлил (возможно, у того же мастера), чтобы сделать его гладким для отстрела маленьких птиц, – мой отец был прекрасным таксидермистом, и именно из самых миниатюрных птичек он делал превосходные чучела, о чём я уже говорил. С первого момента, когда он вручил мне винтовку, он объявил мне главный закон охотника: никогда не целиться в человека даже палкой! Потому что любая палка раз в год СТРЕЛЯЕТ!!! Как ни странно, этот закон вошёл в мою плоть и кровь мгновенно и навсегда, правда, за исключением робин-гудовского лука!

И вот, выпивая, покуривая замечательные ленинградские сигареты «Ява» и восторженно делаясь воспоминаниями, я время от времени находил какой-нибудь небольшой предмет или муху на стене и щёлкал по ним, спуская курок кольта, и снова взводил курок и снова щёлкал, получая несказанное наслаждение. В углу Маратовой комнаты стояла тумбочка, а на ней графин с каким-то соком, и я, положив кольт на стол, сделал два шага и налил себе стакан. И, вернувшись на место, снова взял кольт, взвёл курок и приставил ствол к своему виску, говоря что-то смешное. И уже было хотел спустить курок, но, не отдавая себе отчёта, стал искать более подходящую цель. На диване, закрыв колени татарским в узорах одеялом, сидел Икар Бородин, и прямо на его коленной чашечке красовалась изящная розочка, в которую я очень аккуратно нацелился. И опять за десятую долю секунды до спуска я ослабил курок и на ковре под потолком увидел почти такой же цветочек. Лениво, но точно прицелился и мягко, как подобает, нажал... И тут раздался ВЗРЫВ! Какой-то нереальной силы, потому что комната была небольшим кирпичным, плотно сбитым кубом! Немая сцена. А за ковром посыпалась штукатурка и куски кирпичей. Когда я вставал за соком, Марат Бикбулатов привычно, как говорится, машинально, засунул лежавшую на столе обойму в ручку рядом лежавшего (непорядок!) кольта и так же машинально (вернее, профессионально) передёрнул затвор, послав патрон в ствол. А я, мудака, взяв (выпущенный из рук пять секунд назад) кольт, НЕ ПРОВЕРИЛ, есть ли в стволе патрон с ПУЛЕЙ калибра 0,45 дюйма (а по-русски – 11,43 мм!!!). Хорошо, если бы я нажал на курок в первый раз – я бы не успел ничего понять, так как моя башка разорвалась бы на кусочки. Но коленка Икара! Пуля шириной больше сантиметра оторвала бы ему ногу, и в два часа ночи, в глухомани, мы не смогли бы спасти ему жизнь! Каждый раз, когда я вспоминаю эту безумную ночь, у меня холодеют руки и сердце начинает биться с переборами. И конечно же, виноватым во всём этом был бы признан *наш бедный*, наш добрый и милый раздолбай МАРАТ!

* * *

Я окончил школу в 1956 году и сразу подал документы на естественный факультет в Казахский педагогический институт только потому что учиться там надо было четыре года, а не пять, как в университете, – мне хотелось как можно скорее включиться в настоящую работу! В тот день, когда были вывешены списки принятых, рядом с ними висело объявление: такого-

то числа (на следующий день) в семь утра все студенты должны явиться с вещами для отправки НА ЦЕЛИНУ! И мелким шрифтом: примерно на два месяца.

«Целина» требует особого рассказа, но в одном абзаце тоже можно кое-что сказать. Годы 1956-й и 1957-й были первыми и самыми урожайными, самыми фантастическими годами на всех просторах так называемой ЦЕЛИНЫ. Но именно эти годы были преступно провалены с точки зрения экономики и здравого смысла. Практически весь гигантский урожай был потерян, и я этому свидетель. Мы возили зерно в кузовах Газ-51 в город Степняк: там был единственный элеватор чуть не на весь Западный Казахстан – за триста километров от нашей казахской деревни прямо по степи. Дорог не было, так что мы довозили до элеватора одну десятую груза – свидетели этому были наши коленки и жопы, отбитые за несколько часов езды в полупустом кузове. То же самое было и в Павлодарской области в 1957 году. На громадную площадку свозили сотни тысяч тонн зерна, и оно стояло там целыми терриконами и «горело»: только кисть руки можно было засунуть в эту гигантскую гору – дальше и глубже уже можно было жарить яичницу. Зато пропаганда, коммунисты и комсомольцы захлёбывались от восторга! А наши каждые «два месяца» и в Кокчетавской, и в Павлодарской областях растягивались на полгода: всё это время мы строили дороги, бани, сараи, в которых потом сами жили; перелопачивали зерно, пытаясь спасти хоть какие-то крохи, заготавливали сено, тушили пожары – все они почему-то случались ночами, и это было страшно красиво: и страшно, и красиво! На целине был сухой закон, но однажды нам сказали, что в Щучинске стали продавать водку, и мы с приятелем уговорили шофёра туда съездить. Рядом со Щучинском есть знаменитое озеро Боровое – громадное, обрамлённое (именно как в раме) столетними соснами, и я после первой бутылки, выпитой в столовой на пару с приятелем, твёрдо решил в этом озере поплавать. Меня отговаривали и приятель, и наш шофёр, но я настоял на своём и один попёрся на озеро. К моменту, когда я подошёл к берегу, испортилась погода, поднялся ветер, пошёл дождь, но меня это не остановило, и я, раздевшись, прыгнул в воду. Я был счастлив – после трёх месяцев работы в жаркой степи я впервые оказался в прохладной, кристально чистой воде! И как-то незаметно заплыл довольно далеко от берега. И вдруг совершенно внезапно начался настоящий шторм! Я никогда не боялся волн, с раннего детства отлично плавал, но в эту минуту я чего-то не рассчитал и подряд два раза хлебнул воду полными лёгкими! Кое-как откашлялся и ещё раз захлебнулся! И тут началась паника – я точно понял, что я ТОНУ! И я на самом деле стал тонуть! И вдруг в мою башку каким-то образом влезла строчка из дурацкой песни, которую мы вечерами пели в палатах в пионерских лагерях, – я это помню так отчётливо потому, что она вернула мне адекватное сознание в тот критический момент: «Бьётся с неравною силой гордый красавец “Варяг”!» Но в моей голове почему-то мелькнуло «гордый красавец моряк»! И я весело спел про себя, имея в виду самого СЕБЯ: «Бьётся с неравною силой гордый красавец моряк!» Именно это меня тогда рассмешило и «вырвало» из панического безумия. Я всегда потом думал – какое счастье, что у меня есть чувство юмора! И тут каким-то **ЧУДОМ** я вспомнил инструкцию из журнала «Пионер», где говорилось, как лучше справляться с паникой, когда тонешь, и последовал пионерским советам. Это был единственный случай в моей жизни, когда мне помогли пионеры! Я, как мог, постарался вдохнуть воздух и, обняв руками колени, погрузился глубже в воду на возможно длительное время. И повторил это ещё пару раз. На самом деле полностью успокоился и в конце концов удачно доплыл до берега.

* * *

Весной 1957 года наш небольшой курс естественного факультета Казахского педагогического института дважды выезжал на «биологические практики». Первый раз в Малое Алма-Атинское ущелье, километра на два ниже посёлка Медео, а через десять дней в пустыню Муюн-Кум в Джамбульской области на границе с Узбекистаном. На нашем курсе было двадцать пять

студентов – пять парней и двадцать девиц. Старостой был прошедший армию «матёрый» старшина двадцати трёх лет. Он смотрел на нас, семнадцати-восемнадцатилетних, как на щенят, а мы на него как на генерала. Лагерь в первой экспедиции (пять больших палаток – четыре для девочек и одна для нас, «мужиков») он решил поставить в центре большого острова, образованного двумя руслами реки Алматинки, – довольно бурная горная река раздваивалась перед высокой скалистой платформой, поросшей осинами и тянь-шаньскими елями, а через двести метров ниже по течению снова сходилась. Место было безумно красивое, чистое и очень романтическое! Но именно в этом месте ущелье сужалось: с одной стороны (южной) над нами почти вертикально нависала гора, а берег с другой – северной – был тоже намного круче, чем в других местах ущелья. Каждый вечер у нас были небольшие пьянки, которые иногда затягивались часов до одиннадцати – на юге, да ещё в горах, в это время наступает кромешная тьма, но у нас всегда был запас свечей и убогие советские фонарики. Должен сказать, что в первую неделю в ущелье мы почти никого не видели – проехало всего несколько машин, и раза два мимо нас проезжал на коне казах-объездчик. С утра мы собирали растения для гербариев (ботаника) и всяких насекомых, улиток, червей, ящериц, жуков, бабочек и стрекоз (энтомология и зоология). Потом всё это описывали, зарисовывали, а потом обедали и отдыхали. На пятый или шестой день с утра был ливень, а потом весь день шёл мелкий дождь, и мы все сидели по палаткам. Вечером, как всегда, выпили бутылку водки и легли спать. И вдруг услышали лошадиный галоп и истошные крики: «Сель! Сель идёт!» Это был казах-объездчик. Он прискакал сверху и у нас было всего минут десять на то, чтобы собрать какие-то самые необходимые вещи, снять палатку для девочек и перетащить всё через три бревна, служившие нам мостом, на «пологий» берег. С момента появления объездчика мы слышали нарастающий гул, переходящий с каждой минутой, а потом и секундой в грохот. Наш отважный староста-старшина перетащил с острова последний тюк прямо за минуты полторы-две перед тем, как весь остров вместе с нашим лагерем на наших глазах накрыл чудовищный вал грязи, камней и скал высотой не меньше десяти метров! (Лагерь находился в самом узком месте всего Малого Алма-Атинского ущелья.) Да ещё он нёсся со скоростью сорок километров в час! И мы все с ужасом и восторгом смотрели на «нашу собственную гибель» с расстояния в пятьдесят метров! Ничего страшнее в своей жизни я пока не видел. Всю ночь мы провели в сильном возбуждении, – сидя вокруг костра, благодарили «АЛЛАХА, который прислал нам во спасение КАЗАХА», а утром наш староста-старшина повёл нас – «мужиков» – на разведку. Все деревья, стоявшие на нашем острове, включая громадные тянь-шаньские ели, были срезаны, точно бритвой. От лагеря, естественно, ничего не осталось – ни красоты, ни романтики – только горы камней, грязи, изувеченных брёвен и сломанных веток. Ниже по течению речки мы услышали какие-то живые звуки, похожие на плач ребёнка, и в расщелине скал увидели молодого барашка со сломанной ногой. Староста решил принести его в жертву Аллаху, а меня с товарищем послал в город за водкой и сообщить институтскому начальству, что все мы живы и здоровы. К вечеру «нас с водкой» встретили криками «ура!» и фантастическим шашлыком.

Через две недели после «горной практики» нас послали в Джамбульскую область на юг Казахстана в пустыню Муюн-Кум, и там тоже не обошлось без приключения. Я уже прекрасно знал, что такое пустыня летом, и очень хорошо подготовился – взял с собой высокие ботинки, шерстяные носки и зимнюю шапку, чем вызвал град насмешек у нашего «умудрённого опытом» старосты и всего курса, но в первый же день они все стали мне завидовать. Я ещё тогда удивлялся, что наших студентов и особенно студенток никто не подготовил к практике в пустыне. Летом песок нагревается до пятидесяти-шестидесяти градусов, и ходить в сандалиях или тапочках просто невозможно. К тому же по программе каждый студент был обязан наловить пару скорпионов, черепашек, разных других тварей и по меньшей мере одну змею. А в моих высоких ботинках змей ловить одно удовольствие! Да ещё меховая шапка «охлаждала» мою голову по принципу термоса. Да ещё я знал, как спастись летом в пустыне от жажды: надо

как можно меньше пить, а когда становится неважно, положить под язык кристаллик соли. И с моим «походным» опытом я стал ловить всякую живность нашим девочкам. Самая ядовитая змея в казахстанских пустынях – гюрза, или гремучая змея; гадюки тоже не подарок, но они не смертельны, к тому же к концу мая они наполовину теряют свою «ядовитость». Остальные змеи – ужи, полозы, степные удавчики – были для меня как ручные зверюшки. Очень опасны скорпионы и фаланги: одну нашу девочку укусил скорпион, и её пришлось срочно увозить в больницу ближайшего посёлка. Однажды я наткнулся на необычной расцветки полуметровую гадюку, привычным образом «отпнул» её моим высоким ботинком на чистое место и там, орудуя палкой-вилкой, так же привычно взял её за шею. И понёс показывать нашему лаборанту-герпетологу. Когда он увидел мою змейку, он сначала замер, а потом забормотал: «Так-так-так-так... Не дёргаться, ничего страшного... Я сейчас банку принесу...» И когда я засунул её в специальную банку с захлопывающейся изнутри крышкой, он лихорадочно засмеялся: «Поздравляю, ты поймал ЭФУ! Только непонятно, как она здесь оказалась!» Дело в том, что у нас эфы обитают только в Туркмении, Таджикистане и на юге Узбекистана. Мы же находились у северной границы с Узбекистаном, и у нашего лаборанта противоядия от укуса эфы не было. Человек, укушенный эфой, живёт максимум пятнадцать-двадцать минут, так что мы с лаборантом с удовольствием выпили за моё возможное второе рождение по полстакана почти горячей водки. Должен сказать, что очень тёплая водка пьётся легко и незаметно. Предлагаю вниманию читателей мой стих-воспоминание о моей азиатской юности, который называется «Возвращение с охоты»:

Ущелье – чёрный гроб, и только светлой пеной
 река грохочет, как гигантская гюрза.
 В могильной тьме глаза грозят изменой,
 и тянут плечи вниз двустволка и рюкзак.
 А небо – сколько звёзд! Вон Орион, вон Вега,
 Медведиц два ковша... Смотреть – сойдёшь с ума.
 Пока не рассвело, дойти бы до ночлега.
 Дорогу развезло, и близится зима.
 За целый день стрельбы – ни одного фазана,
 а силы нет азарта превозмочь.
 И, как всегда, вдруг падает неожиданно
 Тянь-шаньской осени убийственная ночь!

* * *

К тому времени, когда я решил бросить пединститут, я попал в суперэстетскую компанию провинциальных интеллектуалов, в которой на меня поначалу смотрели как на чудом заговорившую обезьяну. Потом такое происходило со мной всю мою жизнь, и меня это всегда забавляло и очень радовало, потому что время в таких случаях всегда было на моей стороне. А в алма-атинской компании я как губка впитывал все новые и неслыханные до той поры знания – поэзию Серебряного века, импрессионизм, симфоническую и джазовую музыку, архитектуру и все современные и модные направления в театре и кино. Я был тогда невежественным и нелепо самоуверенным идиотом, подражавшим (не очень переигрывая, слава богу!) героям Лермонтова и Бальзака. Правда, мама моя, учительница русского языка и литературы, «вбила» в меня почти абсолютную грамотность в рамках требований советской школы и классической русской литературы – она даже доверяла мне проверять тетрадки своих учениц-пятиклассниц и самому ставить оценки. Да ещё вольная жизнь охотника и птицелова, да ещё чистейший

горный воздух и круглый год яблоки без ограничения! Так что избыток энергии, жадность к знаниям, наглость и восприимчивость ко всему новому как-то держали меня первое время на плаву, а когда я стал заметно «прокалываться», я тут же эту компанию покинул и всё свободное время проводил в центральной библиотеке за чтением. И ещё я научился честно зарабатывать деньги – ещё до института стал работать в горах на яблоках, косил у брата в совхозе сено, фотографировал работяг на соседних стройках (два рубля за фото) и ещё продавал симпатичные клетки с парой щеглов или чижей – у меня на них всегда были клиенты. Полностью «стильно» одеваться у меня никогда не получалось – не хватало денег, но мне всё-таки удалось купить пару югославских туфель на очень толстой подошве, светлую польскую куртку на молнии и – мою самую большую гордость – серый китайский плащ «Дружба»! И вот в этих туфлях и в китайском плаще весной 1958 года я сел в поезд и поехал в Ленинград поступать в театральный институт! Ленинград я выбрал из-за архитектуры, Филармонии, где дирижировали два гения, Мравинский и Рахлин, и третьего этажа Эрмитажа, где висели сказочные импрессионисты! Денег на эту поездку я заработал целую кучу да ещё продал фотоаппарат «Зоркий» вместе с увеличителем. В Москве была остановка на четыре часа, я спустился в метро и решил ехать куда глаза глядят. И каким-то образом вышел у Большого театра. Погода сказочная, душа поёт! Я точно знаю, что я завоюю и Ленинград, и Москву! И самые красивые девушки двух столиц будут счастливы со мной познакомиться! А вот и они – шикарно одетые молодые девочки, два московских ангелочка, идут, взявшись за руки, и о чём-то весело щебечут! А на мне – китайский плащ! И я радостно подхожу к ним и, обаятельно улыбаясь, спрашиваю: «Не подскажете ли, милые девушки, как пройти к ЦУМу?!» Они обернулись, равнодушно меня оглядели, и одна из них ровно через две секунды бесстрастно сказала: «Пошёл ты!» И они спокойно пошли дальше.

Должен признаться, что этот случай я воспринимаю как одно из главнейших событий в моей жизни – не будь этого *чуда*, я, возможно, до конца жизни оставался бы самодовольным слепоглухонемым провинциальным мудаком! И как продолжение этого случая – через пятнадцать минут происходит второе, не менее важное событие для всей моей будущей жизни. Я в полубреду прошёл от Большого театра до улицы Горького, и когда через переход вышел прямо ко входу в кафе «Националь», меня охватило волнение, сердце забилося и в моей башке заворочались какие-то странные шары: я уже тогда подозревал и был почти убеждён, а уж сейчас-то и подавно – я узнал это место! И, зайдя в первый раз в «Националь», я за два часа успел «вспомнить» и увидеть какие-то странные тени, духи и ещё чёрт знает что из жизни прежней – я почувствовал, что я знаю здесь каждый уголок, каждую стенку и даже одну самую старую официантку (как мне позже сказали, эта милая старушка была любовницей Олеси!).

Оказавшись в Москве через два с половиной года, я немедленно поехал в центр, и все мои десять московских дней я просидел в «Национале», как потом с 1961 года по 1971-й (ровно десять лет!) не было практически недели, чтобы я там не пил отличный кофе (кувшинчик за 34 копейки на три-четыре чашки), армянский коньяк «три звёздочки» (1 рубль 20 копеек 100 грамм) и не ел невероятно вкусного судака, соус «польский» (1 рубль 37 копеек)! «Meet you at a corner!» – говорили мы друг другу каждый раз, когда прощались. («Националь» до сих пор стоит на углу бывшей улицы Горького и Моховой.) В «Национале» и официантки, и швейцары, и даже поварахи, как я случайно узнал, относились ко мне с какой-то особой симпатией. Однажды, оказавшись на мели, я на последний рубль купил грамм триста сосисок и, придя в «Националь», попросил официантку отнести их на кухню, чтобы мне их там поджарили. До этого дня я просидел у себя в подвале только на чае дня два, а одним из нерушимых законов для меня был очень простой: никогда не выходить «в город» без трёх рублей! И как же я был потрясён, когда из кухни «Националя» мне вынесли большое блюдо с сосисками и фантастическим гарниром, где был даже чернослив!

А друзей и подруг у меня за эти годы в «Национале» оказалось очень много, и в основном это были либо лучшие, либо самые яркие люди Москвы.

* * *

В 1958 году в самом начале моих занятий в Ленинградском театральном институте им. Островского (позже он был переименован в ЛГИТМиК) наш мастер Татьяна Григорьевна Сойникова сказала нам странные слова, которые почему-то сразу врезались в мою память: «Вы особенно не надейтесь, что вас ждёт Великий Театр! Ни Гончаров, ни Товстоногов, ни Плучек, ни Акимов к НАСТОЯЩЕМУ ТЕАТРУ никакого отношения не имеют. Правда, в Москве живёт один мальчик – его зовут Толя Эфрос. Вот на него надежда есть». Деканом нашего факультета был доцент Клитин – скучный, бездарный и совершенно несимпатичный человек. Говорили, что он фактический начальник первого отдела, чему я очень скоро поверил. На четвёртом курсе мы в институте были как «старики» в армии, а я к тому же только что снялся в главной роли на киностудии «Мосфильм». Однажды в институтской столовой я сидел за одним столом с молодой секретаршей декана и спросил её, почему Клитин против того, чтобы я работал в одном из двух ленинградских театров, куда меня уже брали, а направляет меня в театр города Якутска! Она хитро хихикнула и сказала: «А у вас грешки!» Оказалось, что в моём деле есть моя характеристика, посланная первым отделом Казахского пединститута в ответ на запрос декана Клитина, когда я был принят на актёрский факультет. В ней говорится о моей «политической неблагонадёжности». (На занятиях по истории ВКП(б), когда мы изучали «Апрельские тезисы» Ленина, где одним из главных тезисов был «Превратить мировую войну в войну гражданскую», я спросил преподавателя: «Значит, получается, лучше убивать не австрийков и немцев, а своих русских?» – чем вызвал искренний гнев педагога.) И тут же вспомнил, что мы зимой в 1959 году на два дня задержались в Мончегорске, а мама Кида, которая работала в поликлинике нянечкой, дала мне справку, что я «болел», но через журнал эту справку не провела. Клитин не поленился и послал запрос в поликлинику, и нам с мамой Кида влетело! Клитин потребовал исключить меня из института, но Татьяна Григорьевна меня отстояла. На моё счастье, за месяц до окончания института меня утвердили на главную роль в мой второй фильм на «Мосфильме». Я не попал ни в один ленинградский театр и остался без диплома, потому что отказался ехать в Якутск. Но в Москве я время от времени вспоминал слова моего мастера, сказанные осенью в 1958 году. С того дня проходит четыре года, и в коридоре «Мосфильма» я сталкиваюсь с режиссёром Олегом Ефремовым. Он говорит мне, что ему понравилась моя роль в кино и что он хочет, чтобы я работал у него в «Современнике». Бог мой! Я и мечтать не мог о «Современнике» – самом лучшем тогда театре! «Только, понимаешь, у нас грёбаная демократия, и надо показываться всей труппе. Но я тебе дам отличных партнёров, и всё будет в порядке!» И он «дал» мне в партнёры свою жену Аллу Покровскую и Геннадия Фролова – на самом деле прекрасных актёров «Современника»! Директором театра был Лёлик – Олег – Табаков, и, как мне рассказывал мой тогдашний хороший приятель Боря Ардов (сам актёр этого театра), Лёлик сделал всё возможное, чтобы в театр я не попал. Я это почувствовал ещё до показа и на всякий случай встретился с режиссёром Гончаровым, который сразу же обещал дать мне главную роль в новом спектакле. А Лёлик мне сказал слово в слово: «Старик, ты понимаешь, ты не нашей школы! Но вчера я говорил о тебе с Толей Эфросом, и он без всякого показа берёт тебя в театр! Позвони ему!» Я встретился с Анатолием Васильевичем и, разговаривая с ним, всё время вспоминал слова Татьяны Григорьевны Сойниковой! На следующий день я уже вводился на одну из главных ролей в его спектакле «В поисках радости» Центрального детского театра. А директором театра был всемогущий Шах-Азизов, после запроса которого Клитин мгновенно выслал в театр мой диплом. Я проработал в группе Эфроса всего лишь полтора года, но буду до последней секунды ему благодарен за то, что после него я не

смог работать ни с одним другим режиссёром и ни в одном другом театре, и только благодаря ему я стал свободным человеком ещё и от театра! И я расцениваю всю эту историю тоже как **ВЕЛИКОЕ ЧУДО!**

* * *

После второго курса театрального института я попал в «концертную бригаду» и с ней поехал в двухмесячное «турне» по Камчатке. Эту кампанию организовал ЦК комсомола под громким девизом: «Студенты творческих вузов Москвы и Ленинграда – труженикам Камчатки!» Девять суток мы ехали в общем вагоне до Владивостока, и там я подружился со студентом Ленинградской консерватории – тоже членом нашей бригады. Он был фанатом «купания» – на каждой станции выскакивал из вагона и бросался под струю холодной воды, лившуюся из толстого крана (из таких кранов, как я узнал позже, наливали воду в котлы паровозов, тогда ещё повсюду ходивших). Когда мы наконец прибыли на место и нас посадили на военный катер, на котором мы «прошли» всё восточное побережье Камчатки, у нас образовалась группа любителей купания в Тихом океане из трёх человек: Виктор (мой товарищ), я и девушка-скрипачка тоже из Ленинградской консерватории. В те годы (это было лето 1959-го) на Камчатке никто никогда не купался (нам так говорили), к тому же начался сезон штормов. И когда мы бросались в гигантскую «нарождающуюся» волну, на берегу всегда стояли зеваки из аборигенов или солдат-пограничников и пялились на нас, ожидая, возможно, каких-нибудь трагических последствий. Океанский шестибалльный шторм был страшным и одновременно добрым. Надо было только успеть спокойно «войти» в громадную, буквально падающую на берег волну, после чего уже на той стороне ты попадал в огромную, ласковую чашу из зелёно-синей прозрачной воды, а через пять-семь секунд уже смотрел на мир с двадцатиметровой высоты, точно с Памирского пика, чтобы ещё через такое же время снова оказаться на дне большого изумрудного колодца. Плавая в океане, мы всегда как-то «разбредались» довольно далеко друг от друга, а если мы оказывались на «пиках» одновременно, то восторженно перекрикивались. Однажды, заплыв довольно далеко и продолжая перекрикиваться с Виктором и скрипачкой, я вдруг всем своим нутром почувствовал животный страх, который исходил из-за спины. Я резко обернулся и застыл от ужаса – всего в метре от меня без всякого движения (как бы стоял в воде) лысый, голый, усатый старик с большой головой, глядевший на меня своими круглыми, немигающими и, как мне моментально показалось, злобными глазами! УТОПЛЕННИК!.. НЕТ – ПРИШЕЛЕЦ!!! И я понял, что он меня сейчас убьёт! Это было настолько невероятно и страшно, что у меня перехватило дыхание (наконец-то я понял на себе, что это значит!) и я «поплыл», теряя сознание. И только на самой грани перехода «туда», словно цепляясь за спасительную верёвочку, я сообразил, что это мог быть тюлень или морж! Я с трудом вернулся к жизни и, еле удерживаясь на плаву, стал рассматривать «старика», который, сфокусировавшись у меня в глазах, на самом деле оказался очень крупным тюленем. Думаю, что он тоже чувствовал себя не очень комфортно и смотрел на меня как на инопланетянина. Я как мог дружелюбно извинился перед ним за то, что нарушил его пространство, так же вежливо сказал, что совсем не хотел его обидеть и готов немедленно покинуть его территорию. В это время гигантская волна опустила нас на самое дно чаши, и я продолжал говорить ему комплименты – какой он добрый и красивый! И мне показалось, что он меня понял. Но самое главное – страх прошёл у обоих, и я стал потихоньку от него отплывать. И когда мы снова оказались на «пике», он ушёл в глубину, а я постарался как можно быстрее приплыть к берегу. Но то, что я был на грани перехода *туда*, для меня абсолютно очевидно, так что эту замечательную встречу в Тихом океане я также отношу к **чудесам**.

Но и все наши двухмесячные гастролы были наполнены маленькими и большими **чудесами**. Маленькие, к примеру, почти каждый день. Нам платили «северные» суточные – 50 руб-

лей в день (это было до реформы 1961 года). Мы скооперировались с Виктором, и наши 100 рублей суточных были общими. Бутылка питьевого девяностошестиградусного спирта стоила 65 рублей. Полкило самой свежей красной икры – 15 рублей. Полкило фантастических крабов – 12 рублей. На остальные покупались два батона и пачка сливочного масла. Если нас не поили офицеры или рыбаки после концертов, мы именно таким образом распоряжались своими суточными. Самое удивительное – с такой калорийной закуской мы умудрялись быть «адекватнее» всех наших других коллег и некоторых зрителей. А через месяц нас пересадили в «кукурузник» с двумя лётчиками, которые НИ РАЗУ за двадцать дней наших совместных полётов не были трезвыми! И тут уже случилось настоящее *Большое Чудо*. У нас был концерт в самом северном посёлке Камчатки Каменское. После концерта мы должны были лететь в другой район, и нас на речной косе, заменявшей лётную полосу, ждал самолёт. Но до этой косы нам надо было плыть на катере около часа. И как-то так получилось, что мы опоздали минут на двадцать. Нас встретил второй пилот и злорадно заявил: «Так как вы опоздали, то Вася (первый пилот) полетел за сигаретами в Усть-Камчатск (400 км от Каменского!), и вам придётся подождать часа три или четыре». Я к тому времени уже успел побывать во многих местах – и в Западной Сибири, и в Казахстане, и на Алтае, но я НИКОГДА В ЖИЗНИ не видел такого количества ненасытных комаров-кровопийц, как на этой прибрежной лётной полосе! Мы окружили себя кострами (нас было одиннадцать человек «артистов» и один комсомольский начальник) и честно просидели в этом аду больше четырёх часов. Второй пилот Петя пытался дозвониться до ближайших лётных полос, подобных нашей, но Васю никто не видел и не слышал, и нам пришлось вызывать катер и ждать его прихода ещё около часа. К вечеру следующего дня к нам в школу, где мы расположились в классе, пришёл пьяный Петя с парой бутылок спирта и заявил, что надо помянуть Василия. «У нас пропавший самолёт ищут один день»². Мы в Каменском пробыли в ожидании нового самолёта несколько дней, и вдруг к нам всё в тот же класс врывается пьяный Петя с новой парой бутылок и радостно сообщает, что Вася жив! Он, как Маресьев, дополз до реки, каким-то образом оседлал бревно, и его где-то выловили то ли рыбаки, то ли охотники. «У него масло отказало!» – объяснил Петя. Как потом оказалось, масло у «кукурузника» отказало через двадцать минут полёта над тайгой, и Васин «кукурузник», зацепившись колёсами за деревья, перевернулся, раскололся пополам и рухнул между деревьев. Но, на Васино счастье, ничего не загорелось, и он на самом деле сломал ногу, но пришёл в себя и дня два по памяти добирался до реки. А что было бы с нами со всеми, если бы мы не опоздали на двадцать минут! Четырнадцать человек с лётчиками плюс десятка полтора чемоданов! Даже представить страшно.

* * *

После третьего курса театрального института меня пригласили на «Мосфильм» сниматься в главной роли в фильме «Увольнение на берег». Это тоже было для меня *чудом*, правда, подготовленным репетициями – каждодневными и невероятно насыщенными. Но именно это событие стало оптимальным на всю мою последующую жизнь – работа и существование в кино оказались самыми свободными сферами в советской действительности. У меня с раннего детства было врождённое отвращение к любому коллективу – будь то школа, пионерский лагерь или театр. В школах и лагерях меня спасал баскетбол и всякие самодеятельные спектакли, в кино «коллектив» формировался максимум на полгода, да к тому же никакой грызни из-за ролей в кино не бывает – там все роли уже распределены. В 1962 году

² Это оказалось правдой – все оставшиеся дни на Камчатке мы всех об этом спрашивали, и за исключением разного рода начальства (пока оно не напивалось!) мы получали утвердительные ответы. И каждый второй всегда добавлял: «У нас на Камчатке советской власти нету!»

я познакомился с уникальным человеком – Сергеем Чудаковым, о котором я написал большую книгу «Сергей Иванович Чудаков и др.». А через него я вошёл в фантастический круг людей, ставших моими лучшими друзьями на всю жизнь, – это поэты и литераторы Михаил Ерёмин, Леонид Виноградов, Владимир Уфлянд, Лёша Лифшиц (Лев Лосев), Олег Григорьев, Евгений Рейн, Иосиф Бродский и ещё несколько замечательных «подпольных» художников Москвы и Ленинграда шестидесятых и семидесятых годов, в числе которых были Олег Целков, Михаил Кулаков, Анатолий Брусиловский, Анатолий Зверев, Саша Харитонов, Эдик Штейнберг и даже «патриарх» московского андеграунда Михаил Матвеевич Шварцман! Здесь полностью воплотился один из главных законов философии Древнего Китая: «Подобное притягивается подобным», и поэтому встречу с Сергеем Чудаковым я считаю одним из самых блистательных **ЧУДЕС** в моей жизни! Но одним из самых удивительных подарков Судьбы оказались мои вполне дружеские отношения с Иосифом Бродским. В 1965 году вся наша ленинградская компания встретила Иосифа у ленинградского Дома книги сразу после его приезда из деревни Корейская, куда он был сослан за «тунеядство» в 1963 году. К тому времени я знал наизусть почти все его стихи, ходившие в списках, и очень нервничал, какие у нас с ним сложатся отношения. «Мудрый Лёня Виноградов» перед самой встречей меня успокоил: «Не волнуйся, вы станете друзьями». Напротив Дома книги прямо через канал Грибоедова был ресторан «Нева», куда мы все и пошли. Деньги тогда были только у Лифшица и у меня, и мы постарались устроить роскошный обед. И на самом деле, со временем у нас с Иосифом как-то незаметно установилась традиция – как только я прибывал на «Красной стреле» в Ленинград, я тут же ему звонил. И он всегда говорил одну из двух фраз: «Лёвке, вали к нам, мы ставим кофе» или «Лёвке, мы тебя принять не можем, мы работаем», но чаще всего звал. Нас связывало несколько «тем» – мы оба усиленно учили английский язык, оба очень любили американские фильмы, «взятые в качестве трофеев», и самые грязные русские частушки, которых я знал намного больше, чем он. Ну и последние московские анекдоты. Я его обожал, и это ему, конечно, нравилось. Каждый раз я привозил ему какую-нибудь американскую книжку – их в Москве было намного больше, чем в Ленинграде. Когда я приходил, Иосиф с гордостью поил меня своим кофе, который он варил великолепно, мы курили, он давал мне читать новые стихи, и я отлично помню, как однажды, а по хронологии стихов можно даже назвать дату: утро 23 мая 1967 года, он дал мне прочитать стихи со словами: «Ты читаешь их первый! Я закончил их только вчера». Это было «Послание к стихам» с эпиграфом из Кантемира. А когда годом раньше или позже я выразил своё восхищение его стихами «Пришёл сон из семи сёл», который в сборнике был назван «Песней», он написал его мне своим чудовищным почерком. И ещё у нас была очень смешная и увлекательная игра: через сколько рукопожатий мы «знакомы» с теми или иными великими людьми. И оказалось, что со многими! Я был приятелем Виктора Суходрева, гениального кремлёвского синхрониста-переводчика и дипломата, – и, следовательно, через два-три рукопожатия мы «знали» и Хрущёва, и Джона Кеннеди, и Брежнева, и Косыгина, и прочих деятелей из нашего *полит*-бюро, а также всех тех, с которыми они беседовали! А уж через Хрущёва! Там и английская королева, и Сталин, и все маршалы и проч.! И как-то мы порадовались: через Хрущёва и Молотова мы «знакомы» с Риббентропом, а затем и с самим Гитлером! Мы хохотали до слёз! А Иосиф со своей стороны убивал меня своим фантастическим знанием Истории и Литературы – через какие-то рукопожатия, причём совершенно незначительные по количеству, он добирался до Бальзака, Байрона, Монтеня, Леонардо да Винчи, королей Франции и, естественно, до Пушкина! И с его знанием истории и знаменитых личностей он доходил до Древней Греции и Рима! Короче, мир оказался до неприличия крохотным – до любого Гения рукой подать! И так уж вышло, что только благодаря мне он написал блистательную поэму «Прощайте, мадмуазель Вероника», посвящённую удивительной женщине Веронике Шильц, бывшей тогда подругой моей возлюбленной французки Кристин. И однажды, узнав, что на моём дне рождения 23 апреля 1967 года будет

Иосиф Бродский, стихи которого она боготворила, Вероника очень захотела с ним познакомиться, и они с Кристин накрыли мой стол несусветными яствами из недоступной для нас с Виноградовым советской «Берёзки»! Вероника весь вечер не сводила глаз с Иосифа, Иосиф, кажется, мгновенно в неё влюбился, забыв на время свою возлюбленную М. Б., и, монотонно «распевая» свои стихи, вошёл в состояние бодхисатвы, а уж когда он запел «Лили Марлен» в собственном переводе, все, включая самого Иосифа, заревели в три ручья. Через три дня Иосиф или вывез, или пригласил Веронику в Ленинград, но она ему, как говорили в моём детстве пятиклассники, «не дала». Но зато появилась гениальная поэма «Прощайте, мадмуазель Вероника», и я счастлив, что к этой поэме имею самое прямое отношение. Вот небольшой кусочек из моего опуса «Сергей Иванович Чудаков и др.», относящийся к тому времени, когда через семнадцать лет я оказался в Америке и два дня и две ночи провёл в двухэтажном домике Иосифа в South Headly: «...И конечно, вспоминали мой день рождения, на котором я познакомил его (вернее, свёл, как сводня) с Вероникой Шильц, вспоминали Чудакова, его стихи, которые, к моему удивлению, хорошо знал Иосиф, и ещё о том, что Иосиф никогда не поедет в Россию, и я был полностью с ним согласен – в нашей стране власть и чиновники, точно стервятники, ждут момента, когда они смогут “снять пенки” славы и почёта с человека, которого сами же и травил. Меня больше всего до сих пор приводит в состояние неукротимой ненависти тот факт, что ни отцу, ни матери Иосифа ни разу не позволили приехать к нему в Штаты, хотя он несколько раз обращался с этой просьбой в Сов. посольство, а Иосифу НЕ РАЗРЕШИЛИ ПРИЕХАТЬ НА ПОХОРОНЫ НИ МАТЕРИ, НИ ОТЦА! И почему до сих пор не открыты эти – с точки зрения нашей новоправославной идеологии и “демократической и правовой конституции” – позорные документы с подписями и печатями?! А памятники ему – *мёртвому* – ставят!!!» И тогда же я написал стишок, который останется актуальным до тех пор, пока Россией будут править легионы паразитов:

Поле надо пахать,
ровнять, беронить,
а ещё удобрять.
А Человека травить,
убивать, хоронить...
...И потом прославлять.

* * *

А в кино – тоже *сплошные чудеса!* В Алма-Ате в Парке культуры был летний кинотеатр «Родина» – высокое здание с крышей (в отличие от других, открытых летних кинотеатров; не знаю, существует ли он до сих пор). У меня, как и у всех детей, была страсть к кинематографу: если я хотя бы один день не видел какой-нибудь фильм, для меня этот день был потерянным. Но где взять столько денег? Вокруг «Родины» стояли деревянные колонны, на которых держалась крыша. Колонны были крестообразно оббиты планками, по которым, как по лестнице, самые смелые из нас лезли вверх и через дыру в стене пролезали внутрь зала, в котором вместо потолка были протянуты балки. На этих-то балках, лёжа на животах, мы смотрели сверху вниз на экран. Летом, в жару, крыша сильно нагревалась, и, если фильм был не очень интересным, дети от духоты и жары иногда засыпали и сваливались на головы сидящих зрителей. Как ни странно, никаких трагедий с переломанными шеями или ногами ни разу не было. Правда, после каждого падения дыру под крышей заделывали, но потом она появлялась снова. Я помню несколько фильмов, которые я смотрел таким образом: «Подвиг разведчика», «Овод» с Олегом Стриженовым, раза два «Бродягу», три-четыре раза «Тарзана», «Серенаду Солнеч-

ной долины», «Петер», «Утраченные иллюзии» режиссёра Джузеппе Де Сантиса (настоящее название «Дайте мужа Анне Дзакео»), «Касабланку» и ещё много других фильмов, «взятых в качестве трофеев», а когда чуть подрос и лазить на крышу стало «неудобно», я стал подрабатывать в предгорном совхозе «на яблоках», так что деньги на кино появились. Но почему-то именно летом и именно в «Родине» я смотрел уже как нормальный зритель по три-четыре раза мои любимые тогда фильмы: «Утраченные иллюзии», «Судьбу солдата в Америке», «Серенаду Солнечной долины», «Маленькую маму» и много-много фильмов, которых я не помню, но все они мне тогда очень нравились. И какое у меня было потрясение, когда я посмотрел фильм Калатозова «Летят журавли» с Татьяной Самойловой! Но настоящие *чудеса* начались лет на десять-пятнадцать позже: я в трёх фильмах снимался вместе с Павлом Петровичем Кадочниковым, который играл главную роль в «Подвиге разведчика» (после войны мы этот фильм знали наизусть!), и мы с ним стали хорошими товарищами. А у режиссёра «Овода» Александра Михайловича Файнциммера я снимался в двух фильмах, где играл главные роли. Но самым большим *чудом* было то, что в 1963 году в фильме Джузеппе Де Сантиса «Они шли на восток» я снялся в одной из главных ролей! И в истории с этим фильмом происходит невероятное количество немыслимых случайностей и откровенных *ЧУДЕС*, как будто специально для того, чтобы именно я играл эту роль!

В 1962 году киностудия «Мосфильм» вместе с итальянской студией «Галатея» начинает снимать первый совместный фильм с капиталистической страной под названием «Они шли на восток» (итальянский вариант назывался «Italian! brava gente»). Всю зиму 1962 года они работали над второй, зимней серией, а летом 1963 года приступили к летней, которую снимали под Полтавой. На одну из главных ролей – итальянского солдата Лориса Баццоки – хотели пригласить знаменитого американского актёра Энтони Перкинса, но он запросил за эту роль миллион долларов – сумму в те времена громадную и для «Галатеи», и для «Мосфильма». Тогда американская сторона (частично принимавшая участие в финансировании фильма) посылает в Полтаву именно на эту роль молодого актёра Питера Фалька и подписывает с ним контракт на 150 тысяч долларов, но скрывает от режиссёра факт, что один глаз у этого актёра стеклянный! А в это самое время у меня происходят свои, весьма драматические события. Весной 1963 года у меня закончилась временная ленинградская прописка. Жить в Москве без какой бы то ни было прописки тогда было просто невозможно, и в это время мне предлагают главную роль в чудовищно бездарном фильме на Казахской киностудии в Алма-Ате, на моей родине. И как меня ни воротило от этой роли, я согласился, поскольку другого выхода у меня не было. Мало того, что я смог бы прописаться у себя дома и ещё заработал бы по тем нашим меркам вполне приличные деньги, но я бы ещё жил у себя дома с мамой и сестрой! В мою «бригаду» (а я должен был играть роль бригадира строительной бригады) включают Владимира Высоцкого – моего хорошего тогда товарища, у которого тоже произошла большая неприятность – его отчислили из Театра имени Пушкина. И мы прилетаем в Алма-Ату. И вот тут пошли *чудеса*. За два месяца моей жизни у себя дома у нас на картине было всего три съёмочных дня! Два режиссёра, снимавшие фильм, оказались непрофессиональными до неприличия, и наш фильм закрывают! Я получаю на самом деле какие-то сносные деньги и с алма-атинской пропиской прилетаю в пустую летнюю Москву. Делать мне нечего, и я решаю полететь в Тбилиси к своему другу Мише Николадзе, с которым мы около года снимали комнату в деревенском посёлке прямо у выхода из метро «ВДНХ». Это сейчас представить невозможно, но у нашей хозяйки были тогда и свиньи, и курицы. А раза три к нам в гости приезжали Мишины друзья из Тбилиси – красавцы-грузины, и каждый из них был или князь, или аж царской крови! И все мне говорили: «Приезжай в Тбилиси, мы тебя встретим по-царски!» А я про себя усмехался и думал: «Ну конечно, у вас все князья и цари!»

Я послал Мише из Москвы телеграмму и тут же получил ответ: «Мы тебя ждём!» Каково же было моё удивление, когда оказалось, что трое из них живут в двух- или трёхэтажных особ-

няках на улице Руставели в самом центре Тбилиси и на самом деле являются отпрысками князей! А к дому молодого архитектора Важи Орбеладзе раз в две недели подъезжала арба, запряжённая быками, и привозила им баранов, чачу, вино, овощи и фрукты из «его родовой деревни»! И у нашей небольшой, но «крепкой» компании началась грандиозная пьянка! Я ночевал по очереди у каждого из моих новых грузинских друзей. В двухэтажном доме художника Амира Какабадзе (сына великого грузинского художника Давида Какабадзе) мы, в стельку пьяные, расстилали на полу роскошные холсты Пиросмани (у него в коллекции было не меньше десяти его картин!) и чуть не облизывали их! Но самая фантастическая ночь у меня была в доме Важи Орбеладзе, где меня положили в каком-то громадном зале, и я, проснувшись от дикой жажды, горько пожалел, что не спросил, где у них кухня или туалет, чтобы напиться из крана. Но, повернув голову, увидел – о *чудо!* Рядом на столике стояла запотевшая бутылка боржоми, явно только что кем-то поставленная! Я был готов выпить её залпом, но, зная, что проснусь ещё раз, оставил одну треть. Когда я проснулся часа через два, я был несказанно счастлив, что оставил себе немного воды. Повернулся и ахнул! На столике стояла новая холодная, запотевшая бутылка боржоми! Грузинские женщины, которых мы ни разу не видели во время наших застолий, точно знали, «когда у мужчин наступает жажда»!

Один из Мишиных друзей предложил мне поехать с ним на съёмки в Сухуми на целый месяц – «мы тебя оформим на триста рублей, а ты будешь только плавать в море и загорать». Я, конечно, с радостью согласился. Наше пьянство продолжалось две недели, но однажды ночью я проснулся в каком-то странном беспокойстве и понял, что мне надо немедленно бежать из Тбилиси! Оделся, написал извинительную записку и в это же утро улетел в Москву. В первый же день в Москве я сразу пошёл в кафе «Националь» и там, сидя за столиком, вдруг услышал громкий голос: «Прыгунов здесь?» В дверях стоял ассистент режиссёра киностудии «Мосфильм», мой хороший знакомый. Как оказалось, они меня ищут второй день, а этот мой приятель, с которым мы работали на двух картинах, знал, что я могу быть только в «Национале», если нахожусь в Москве.

Как раз когда я прилетел в Тбилиси, в Полтаве разразился скандал – Де Сантис наотрез отказался снимать молодого американского актёра Питера Фалька (один его глаз был *очень заметно* стеклянный), потому что роль Баццоки была как бы автобиографической, и Де Сантис хотел снимать её в основном на крупных планах. К тому времени почти весь материал без этой роли уже был снят, и группа – сто человек с советской стороны и пятьдесят с итальянской – встала на неопределённое время. Они перебрали всех возможных и европейских, и американских актёров, которые могли бы играть эту роль, но все, подходящие на неё, были плотно заняты. И тут кто-то подсунул Де Сантису фотографии нескольких советских актёров, и там каким-то *чудом* оказалась моя фото-графил, которая его заинтересовала. Он приехал в Москву и сразу посмотрел мои первые два фильма – «Увольнение на берег» и «Утренние поезда». И знаменитый итальянский режиссёр немедленно захотел меня увидеть! И это случилось как раз накануне моего решения сбежать от моих грузинских друзей! Но самое смешное было в том, что Де Сантис, когда меня нашёл мой приятель, в это самое время сидел у себя в номере в гостинице «Москва» – прямо по диагонали от кафе «Националь», так что мы через пять минут были у него в номере. И Пепе, как все его тогда звали, почти буквально начал меня возбуждённо обнюхивать и ощупывать. Наконец он меня поздравил, и было решено – завтра я сажусь в поезд и еду в Полтаву. Мой договор на эту роль (два с половиной месяца напряжённых съёмок практически без единого перерыва) был всего лишь в два раза больше, чем мне обещал мой новый грузинский товарищ за месяц роскошного безделья на море, – 680 рублей! А позже мне сказали «осведомлённые люди», что отдел ЦК по культуре получил за меня сто с лишним тысяч долларов! Возможно, это преувеличение, но однажды в Доме кино я сидел в компании Славы Ростроповича (он всегда требовал, чтобы его звали Слава), и, по его словам, за каждый концерт в Европе или в Штатах он и его знаменитые коллеги-музыканты получают

250–300 долларов, а посольство (читай КГБ) получало от 20 до 30 тысяч всё тех же долларов! *Чудеса*, да и только!

В этом же фильме в зимней серии снималась удивительная Татьяна Самойлова в небольшой трагической роли, и на премьере фильма она подошла ко мне и попросила меня дать ей автограф! А всего каких-нибудь шесть лет назад я сидел в убогом кинотеатре «Родина» и обливался слезами, глядя на гениальную Самойлову, как обливался слезами в 1955 году, глядя на Сильвану Пампанини – самую прекрасную женщину в мире – в фильме Джузеппе Де Сантиса «Утраченные грёзы»! Ну разве это не *чудеса*?!

* * *

Вскоре после съёмок у Де Сантиса я въехал в свой самый первый подвал – бывшую кухню XIX (!) века во дворах улицы Чернышевского. И в это время у меня появилась необыкновенная по всем статьям любовница по имени Женя. Она – типичная страстная «библейская» еврейка. Её муж – капитан КГБ. А она сама, судя по их взаимоотношениям, была по званию не меньше майора, по крайней мере в сознании её мужа, а возможно, и в самой этой «конторе». Должен признаться, что и я, и её муж её побаивались: при всех её качествах – искренней влюблённости, фантастическому искусству любви, уму, невиданной щедрости, находчивости, наглости, нежности и т. д. – у неё была абсолютная непредсказуемость поступков и действий! Однажды в конце лета 1963 года в час ночи она привела ко мне... Валерия Быковского (!) – третьего космонавта, практически только что слетавшего в космос и «слетевшего» в мой подвал с первых страниц всех советских газет точно таким, каким он там был на гигантских фотографиях – в большой фуражке, в форме, с орденами и проч. Он сказал, что его любимый фильм «Увольнение на берег», а я его любимый актёр! Я ему ответил, что он мой самый любимый космонавт, а водку можно купить только на Курском вокзале через швейцара или у таксистов. И мы с ним пошли по самой середине пустого Садового кольца на вокзал, и за всю дорогу нас не обогнала ни одна машина! Ошалевший швейцар тут же принёс нам две бутылки водки и привёл за собой кучу людей – милиционеров, продавщиц и просто зевак. Мы втроём пили до самого утра. А когда мы расставались, Женя сказала, что в следующий раз она приведёт ко мне Никиту Хрущёва! Женя приходила и уходила, когда хотела, и мы каким-то образом даже дотянули до зимы! Я тогда работал в Детском театре, каждый день надо было приходить туда к десяти тридцати, а у меня в подвале происходило бог знает что! Я не высыпался, на репетициях клевал носом, и однажды ночью, в лютый мороз, я только попытался не открыть ей дверь и стал уговаривать её оставить меня в покое хотя бы на одну ночь! Через три минуты в моё окно влетел здоровенный кирпич, пробивший обе рамы! И в моём подвале наступил арктический холод. Пришлось Женю впустить, и мы заткнули разбитое окно двумя подушками.

В эти годы – 1963–1964 – в самом центре Москвы абсолютно безнаказанно «гуляла» так называемая банда Ракитина. Их было человек десять. Говорили, что отец Ракитина был первым секретарём Молдавии и другом Хрущёва, и этих разговоров было достаточно, чтобы и милиция, и КГБ смотрели на них сквозь пальцы. Сам Ракитин был мастер спорта по боксу, да и все они вместе мастерски ввергали своими драками в полное оцепенение и ужас целые залы кафе и ресторанов – причём в любое время дня и ночи. У них был один туркменский ковёр, который они «продавали» приезжим азиатам по несколько раз в день за 700–800 рублей. Заво-дили жертву в подворотню, отдавали ему ковёр, брали деньги, и Ракитин тут же нокаутировал несчастного узбека или таджика. Денег раkitинцы не жалели, все официанты их обожали и как могли их отмазывали. Сразу после Нового 1964 года я подрабатывал в Лужниках на ёлках, где изображал Тома Сойера, а вечерами в Детском театре играл роль Геннадия в розовско-эфросовском спектакле «В поисках радости». Насколько я себя помню, у меня с детства была способность чувствовать любую возможную агрессию, даже скрытую, если она была направлена

на меня. И как раз в субботу, накануне моего дневного новогоднего выступления в Лужниках и вечернего спектакля в Детском театре, Женя организовала ужин в ресторане «Бега», и с нами были ещё две знакомые мне пары. В самый разгар вечера открывается дверь, и в ресторан вваливается вся ракитинская команда с роскошными центровыми девицами. Кто-то из бандитов взглянул в нашу сторону, и я почувствовал неладное. «Сейчас нас будут бить», – сказал я. «Пусть попробуют!» – сказала Женя, а все ракитинцы вместе со своим вожаком уселись за длинный стол совсем недалеко от нас. И через пять минут в нас полетели рюмки, блюда и отборный мат!

К тому же одна из наших дам оказалась истеричкой и стала выкрикивать угрозы и оскорбления в их сторону что им как раз очень было нужно, чтобы начать классическую ресторанный драку. У меня была только одна мысль: постараться ни в коем случае не попасть под чей-либо удар, и особенно под удар Ракитина. Официанты действовали чётко и профессионально – взявшись за руки, они окружили нас кольцом и старались никого в него не впускать. Двух парней с нашего стола ракитинцы успели быстро побить в кровь, а я, думая о двух завтрашних выступлениях, довольно лихо уворачивался от ударов, нырял под столики, перепрыгивал через стулья, и только когда я почти прорвался к выходу, меня крепко под жопу пнул ногой красавец-армянин Марчелло – «человек со шрамом», второй после Ракитина «босс» в банде. И я, вылетев из зала, благополучно скатился по лестнице вниз, как я это прекрасно делал в институте на занятиях по сценическому движению у Ивана Эдмундовича Коха. Женя тут же кому-то позволила из телефонной будки и сказала нам, что машина за ними уже едет. Мы стояли растрёпанные и перевозбуждённые на тротуаре Беговой улицы и с нетерпением ждали приезда воинов Щита и Меча – наших доблестных гэбистов. И вдруг совершенно неожиданно нас окружила вся банда, и Ракитин, увидев меня, злорадно заорал: «А-а, сучонок!» (или что-то в этом роде), а я, вспомнив свои завтрашние выступления на публике, подхватил полы своей канадской куртки и пустился наутёк. И, к моему ужасу, за мной побежал Ракитин! И тут я вдруг почувствовал такую вспышку гнева и ненависти и к наглому Ракитину, и к самому себе за жалкую трусость, что вспомнил замечательный трюк из своего послевоенного детства – когда за тобой гонятся, надо довести скорость преследования и близость преследующего до предела, а потом резко упасть ему под ноги. А дальше всё просто: успеть своему противнику, не ожидавшему такого поворота, нанести пару хороших ударов ногой, чтобы благополучно испариться. Я почти так и сделал. Ракитин мог ждать чего угодно, но только не этого. На моё счастье, я увидел, что за Ракитиным бегут ещё двое, и, просто вскочив на ноги, убежал, оставив Ракитина лежать на тротуаре. Когда я вернулся на Беговую, я увидел такую картину: в машину уже посадили всю банду, а в коляске мотоцикла сидел Ракитин в наручниках. Я не удержался и прокричал вслед отъезжающему мотоциклу тоже что-то вроде злорадного ракитинского «сучонка», о чём вскоре пожалел.

Дня через два-три Женя пригласила меня в ресторан «Прага». «Можешь не волноваться, – сказала она. – Им дадут по меньшей мере пятнадцать суток. Да и “Прага” – не ИХ ресторан». И мы пошли с Женей в «Прагу». Когда мы поднялись на второй этаж и вошли в главный зал, мне стало дурно: справа была эстрада с небольшим оркестром, а прямо перед нами стоял длинный стол, на котором лицом к нам сидели девицы, а спиной – вся ракитинская банда! Одна из девиц мгновенно нас узнала, и всё, что произошло дальше, походило на кадры голливудского фильма из «ревуших двадцатых»! Все мужики медленно повернулись, затем без всякой команды встали из-за стола и так же медленно, подойдя вплотную ко мне, взяли меня под локотки и повели по залу. «Только не здесь!» – закричали официанты, и вся толпа повернула по лестнице на третий «технический» этаж. Женя пыталась что-то лепетать, угрожать, просить, но её никто не слушал. А я тупо шёл на ватных ногах, прекрасно понимая, что сейчас они отделают меня по высшему разряду, и только одна мысль торчала в голове – как спасти лицо?! И вот, когда меня поставили спиной к стене, как приговорённого к расстрелу, случи-

лось очередное, но очень тогда необходимое мне *чудо*. «Постой-постой! – закричал “человек со шрамом” Марчелло. – Это ТЫ снимался в “Утренних поездах”?» – «Я!» – радостно выдохнул я. Тут Марчелло стал хвалить меня, сказал, что он два раза смотрел фильм и что достаточно дать ему (мне) по шее, но лицо не портить! Что, на моё счастье, и было тут же сделано.

Но дальше – сплошные *чудеса*! Куда бы я (или мы с Женей) ни заходили, мы всегда натыкались на «ракитинских»! А с красавцем Марчелло даже стали приятелями: он рассказал мне, что несколько раз пытался поступить в театральный институт, но... «меня не брали... из-за шрама». А однажды ближе к весне, когда поздно вечером мы сидели в кафе «Артистик», в дверях появился небритый, в галошах на босые ноги и явно в чужом пальто сам Виктор Ракитин! Как голодный ястреб, оглядел кафе, увидел меня и жестом позвал к себе. «Дай десять рублей на такси! Я сбежал из милиции!» И распахнул пальто – он был абсолютно голый. Слава богу, у меня была десятка. Он взял деньги и исчез. Но дальше! В каком бы кафе или ресторане мы ни встречались, Ракитин всегда посылал на мой стол бутылку вина или даже коньяка! Последний раз я видел его и всю его банду в кафе гостиницы «Москва», и ко мне за стол подсаживались то Марчелло, то Ракитин, то ещё кто-нибудь, и я понял из их рассказов, что на следующий день их всех забирают! И грозит им по совокупности от семи до десяти лет колонии строгого режима! А жизнь самого Ракитина закончилась трагически – его года через два просто застрелили в лагере, оформив это убийство как «попытку к бегству». Лет через десять я встретил Марчелло, который бросился ко мне, как к лучшему другу. Из его рассказов я понял, что Ракитин был до последней секунды «неуправляемый» – нокаутировал всякого, кто ему был не по нраву. Марчелло я больше никогда не видел и ничего о нём не слышал. А с Женей мы расстались как-то само собой. Я выехал из своего «кузнечного» подвала, много снимался, ездил по стране и как-то встретил Женю на киностудии «Мосфильм», куда она устроилась ассистенткой по реквизиту! (По заданию «конторы»?!) Она разговаривала со мной застенчиво и смущённо, и это было невероятно трогательно! Я тогда спросил её: «А помнишь, как ты обещала привести ко мне Никиту Хрущёва?» Она засмеялась и... заплакала, улыбаясь. Вот такой я её запомнил навсегда. Больше я её никогда не видел. Но всегда с нежностью вспоминал её острый ум и необузданный нрав.

* * *

После съёмок у Де Сантиса я попал в *чёрный список*. Я понял это не сразу. Меня вдруг перестали приглашать на пробы. Позже оказалось, что мою карточку просто изъяли из картотеки актёрского отдела! Всё это было последствием скандала во время съёмок, когда безостановочно снимали одного меня, а я не всегда успевал «вовремя» подойти к котлу, из которого кормили советскую группу в обеденный перерыв. В августе под Полтавой жара днём доходила до сорока двух градусов в тени. Снимали на солнце. На мне была тяжёлая шерстяная солдатская форма, а на лицо наклеена так называемая небритость – толстый слой коротко настриженных чьих-то волос, которые впивались в кожу лица и от которых через десять минут тебя начинало трясти. Одно это – страшная мука. Но всё вместе!.. Вокруг «нашего» котла под брезентовым тентом стояли какие-то чудовищные столы, сбитые из старых досок, а вокруг столов на вкопанных в землю колах кое-как держались прибитые к ним дощечки – вот на них-то мы все сидели. Недалеко от тента стоял большой чистенький вагон, в котором обедала итальянская группа, и всех итальянцев обслуживали явно отобранные красотки в коротеньких юбочках. Я почти всегда приходил к котлу последним и простаивал в очереди минут двадцать. ГДЕ были ассистенты режиссёра?! Администраторы?! Второй режиссёр?! От одного воспоминания об этом хамском отношении администрации к своим актёрам во мне до сих пор кипит ярость, которую я тогда не сдержал, к своему счастью-несчастью. Началось ещё в поезде – главный гэбист картины прочитал мне целую лекцию, как мне надо себя вести. И самое главное – я не

должен был подходить к ним ближе чем на три шага!.. «Но ведь я играю роль итальянца!» – «Это не имеет никакого значения!» В это безумие сейчас трудно поверить, но, увы, всё было именно так. Я долго не мог понять – почему хвастливый и тщеславный Советский Союз, ТАК заботящийся, как сейчас говорят, о своём image'e, с таким наплевательством относился к полному бесправию советских актёров по сравнению с иностранными! Да ещё не стеснясь, в открытую! И какое рабское подобоострастие было у всех наших ко всем итальянцам! Всю зиму они снимали вторую, зимнюю серию, которая оказалась невероятно тяжёлой и для советских, и для итальянцев, и, совершенно естественно, трудности сплотили обе группы. Но! Это был первый совместный фильм коммунистов и капиталистов! Можно себе представить, какой был «подготовительный период» у наших славных гэбистов! Большая часть (а я думаю, процентов восемьдесят с нашей стороны) были завербованы, что они продемонстрировали с первых съёмочных дней. Со мной вдруг все захотели дружить, и каждый из них предупреждал, что вот «с этим» или «с тем» ни в коем случае нельзя быть откровенным! Я уверен, что почти за два года совместной работы некоторых итальянцев наши «профессионалы» успели обработать и завербовать, и всё это ещё более скрепило дружбу представителей «разных миров». К тому же некоторых итальянцев – человек восемь-десять вместе с Де Сантисом – наша «проверенная» администрация по выходным дням вывозила из Полтавы в окрестные деревни, где они скупали иконы, и поздно вечером, почти ночью, они возвращались, нагруженные мешками, чемоданами и свёртками, в гостиницу. А когда съёмки закончились и группа вернулась в Москву, мы с Чудаковым водили Де Сантиса по мастерским наших московских друзей-художников, где он на моих глазах, безбожно торгуясь, покупал в основном дешёвые иконы. И в Италии у коммуниста Де Сантиса несколько лет был небольшой магазин русских и украинских икон – мне это известно достоверно. Думаю, что покупать и вывозить иконы разрешали как раз тем, кто был завербован. А на иконы им нужны были советские деньги, и они продавали пиджаки и рубашки, свитера и всё остальное членам группы. Так что обращать внимание на проблемы какого-то молодого и неизвестного актёра им не очень-то хотелось. Но я всё же успел часть своего «гигантского» гонорара потратить на отличные итальянские шмотки! А что касается «нашей стороны», то и чиновники, и вся студийная администрация относились к своим актёрам как к сброду, как к крепостным, да сюда ещё примешивались разного рода скрытые комплексы – от зависти до ненависти. Однажды в особенно жаркий день я, как обычно, подошёл к котлу последним и, получив оловянную миску баланды, стал искать место за каким-нибудь столом. И кто-то из «наших», показывая на кол, торчащий у стола, крикнул: «Садись сюда!» Все заржали, а я растерянно оглянулся и увидел, что изо всех окон «итальянского» вагона на меня смотрят итальянцы, показывая на меня пальцами, и тоже ржут, как в цирке! У меня потемнело в глазах от ярости, и... меня понесло! Я швырнул на землю миску и стал кричать в истерике, как я их всех ненавижу и что я думаю о советской власти, о КГБ, о стукачах и подлых коммунистах! Меня пытались остановить, повалили на землю, я с кем-то даже подрался, а в конце концов, отряхнувшись, внаглую зашёл по ступенькам в «итальянский» вагон и, стоя в дверях, торжественно объявил, что «с этого дня я буду обедать только здесь». Должен признаться, что всю свою жизнь я буду благодарен Судьбе за это великое **ЧУДО**, за этот мой безнадёжный, но очень драгоценный для своей души и всего моего будущего поступок, который я совершил на глазах четырёх-пяти десятков самых что ни на есть проверенных трусливых рабов: я перешёл за флажки! И конечно же, мне этого никто из «конторы» не простил. *И не простит никогда!*

* * *

Инженер, отдавший мне «в аренду» «кузнечный» подвал, абсолютно непригодный для жилья и который я за два года облагородил, как бы случайно зашёл ко мне, а на следующий день послал в мой подвал мента с какой-то чиновницей, и меня попросили его срочно освободить.

Через полгода, после отчаянных мытарств, я снял мой самый любимый подвал в Фурманном переулке, про который я даже написал стих:

Вспоминаю подвал на Фурманном...
О, блаженные те года!
С лёгким сердцем, пустым карманом,
а в окне – чьи-то ноги всегда.
Покосившаяся колокольня,
улиц шум, пьяный говор дворов,
во дворе, как в каменоломне:
эхо смеха и бранных слов.
Двор мой пуст. Душный день отработал,
а в подвале моём, как в гробу:
сумрак, тишь и одна лишь забота —
как проклятую эту судьбу
переделать, стереть до дырки,
а ещё б – улететь, как дым!
(Говорят, сбежать из Бутырки
удалось лишь двоим-троим...)
Дни мои шелестят, как листочки
из блокнотика-черновика.
Я давно уж дошёл до точки,
до последней наверняка.
Может, так и остаться в подвале?
В общем, разницы никакой:
там – до гроба карабкаться к славе,
здесь – уже тишина и покой.

2011

Новый подвал был меньше первого, но теплее и суше, хотя походил скорее на склеп. Как-то я познакомился с очень симпатичной молодой американкой, мы много гуляли, два вечера ужинали в «Национале», и я даже нашёл кинотеатр, в котором показывали мой итальянский фильм. И фильм, и моя роль в нём, и моё *«положение в обществе»* произвели на неё такое невероятное впечатление, что она с радостью согласилась поздно вечером пойти ко мне. Когда она по каменным ступенькам спустилась в мой подвал, она решила, что это какая-то шутка, похожая на кадры из «Сладкой жизни». А когда она осознала мою безнадёжную советскую реальность, она села на ступеньку и горько, абсолютно искренне заплакала. Потом объяснила, что очень боится начать нашу *«Love affair»*, потому что предчувствует много страданий, которые её ждут впереди. И я проводил её до такси. А месяца через два я получил на один из моих запасных адресов записку с просьбой позвонить по такому-то телефону. И в конце концов мне передали пакет, в котором были две пары роскошных новых «настоящих» американских джинсов (одна пара белых, а другая синих), в карманах которых были фотографии её двухэтажной виллы с бассейном, снятые с разных ракурсов, и ещё пакет американских газет с рецензиями на фильм Де Сантиса, в которых фильм ругали, а меня хвалили, и строчки обо мне (Lev Prygunov – apparently Russian) были подчёркнуты красным карандашом! Всё это по тем временам было фантастическим **Чудом!**

Но дальше – как же дальше-то без **чудес?!** Меня точно кто-то проверял на вшивость, а потом, убедившись, что я не сломался, тут же подбрасывал мне, как голодному псу, какой-

нибудь кусок – то скудный, лишь бы я не сдох, то пожирней, чтобы я набрался сил. Иногда я почти реально чувствовал над собой невидимую и неведомую ДЛАНЬ! Мне казалось, что меня оберегают мои прапрадед, прадед и дед – священники по маме – протоиерей Николай (дед), священник Иван (прадед) и безымянный священник (прапрадед) – как и моя мама – все Ржевские. (Прапрадед откуда-то то ли из Воронежа, то ли из Орла.) И вот об этом мой стишок:

Там, наверху, а может быть, внизу,
поскольку мы не знаем ориентиров,
меня, как драгоценную лозу,
оберегает стайка серафимов.
Чего не скажешь о земных путях,
где легионы бесов козлоногих
устраивают пляски на костях
живых или уже убитых многих.
Так по ночам, как будто в бурю, в шторм,
ещё во сне шепча слова молитвы,
под яростное громыханье штор
я просыпаюсь в самом сердце битвы.
Но шторы неподвижны. Слышен писк,
визг, верещание смердящих тварей,
точно прибитых крысоловкой крыс,
или стенанье жертв ночных аварий.
Очнулся. Тишина. Глаза открыл...
Свет кажется сквозь шторы бледно-алым.
Меня десятки шестикратных крыл
овеивают мирным опахалом!

Осенью 1964 года я был «неожиданно» приглашён на съёмки в фильме «Дети Дон Кихота» – на одну из главных ролей. Оказалось, они начали снимать в этой роли другого актёра, но он не понравился нашему киноначальству, и тогда скрепя сердце они «позволили» снимать в этой роли неугодного им актёра из чёрного списка. Их рассуждения можно понять – сценарий был средний, и они не рассчитывали, что этот фильм на долгие годы станет популярным. И когда съёмки закончились, происходит полное повторение точно такой же истории. Мы с моим другом Леонидом Виноградовым часто ходили по коридорам «Мосфильма», и я время от времени заглядывал в киногруппы, находившиеся «в подготовительном периоде», и спрашивал, работает ли у них какой-нибудь мифический ассистент оператора. Иногда мне тут же предлагали устроить фотопробу на какую-нибудь роль – а большего мне не надо было – за каждую платили рублей восемь-десять. И однажды на меня в коридоре буквально прыгает какой-то смешной молодой человек, представляется режиссёром белорусской киностудии и говорит, что несколько дней не может меня найти. Оказывается, он закончил съёмки «отличной комедии», но министр кинематографии забраковал исполнителя главной роли, и кто-то из редакторов сказал, что если он «уговорит сниматься в этой роли Прыгунова, то фильм запустят снова». Я, слава богу, сообразил, что сейчас ответ давать рано, и мы договорились, что я на днях, как только прочитаю сценарий, пошлю ему на студию телеграмму, «потому что у меня есть кое-какие предложения». Сценарий оказался почти таким же бездарным, какой был на «Казахфильме», но выхода у меня не было. На следующий день я послал на имя режиссёра телеграмму, в которой выставил несколько требований, совершенно наглых для «крепостного советского артиста» с точки зрения чиновников Госкино. Минская студия собиралась переснять меня за двадцать съёмочных дней, хотя у прежнего исполнителя их было тридцать. Я

потребовал, чтобы мой договор тоже был на тридцать съёмочных дней. Самое наглое требование было о повышении моей ставки – у меня на итальянской картине была ставка 16 рублей 50 копеек за съёмочный день. А здесь я заявил, что буду сниматься только по ставке 20 рублей! И, наконец, мой друг и помощник Виноградов – профессиональный сценарист и «отличный актёр», и ему надо придумать (или он сам придумает) небольшой эпизод на 500 рублей. Иначе у меня... И в этот же вечер на мой главный адрес «Москва, К-9. До востребования» пришла телеграмма: «Все ваши условия приняты срочно выезжайте Минск».

И мы выехали.

Самое главное чудо, произошедшее в Минске, я описал в своей книге «Сергей Иванович Чудаков и др.» и поэтому просто перенёшу его в эти свои «Чудеса».

У Виноградова были две яркие способности – смешить и раздражать. Смешил он немногих, но очень эффектно и виртуозно, а раздражал почти всех просто фактом своего существования – особенно своей мелочностью и формальной дотошностью (он окончил в Ленинграде юридический факультет). Мы приехали в Минск, поселились в роскошном люксе, ходили завтракать и ужинать в первоклассный ресторан гостиницы, и на третий-четвёртый день нас возненавидели все: метрдотель ресторана, официанты, директорша гостиницы, все менты, стукачи, охранники и дежурные на этажах. И всё из-за Лёни. У нас никогда в жизни не было так много денег, из которых мы все истратили за месяц! И при этом мы не пьянствовали, не устраивали загулов и оргий, не собирали большие компании, но и ни в чём себе не отказывали. Только Лёня каждый раз проверял каждый счёт, как ревизор ОБХСС, каждый раз находил факт обчёта, каждый раз вызывал метрдотеля, и каждый раз всё заканчивалось бурным скандалом. Лёня был принципиален. Но всеобщая ненависть перешла прежде всего на меня, потому что все понимали, что из нас двоих главный – я. Однажды, примерно через неделю нашего проживания в гостинице «Минск», мы подошли к дежурной по этажу, я взял ключ и кожей почувствовал неладное: около дежурной стояли метрдотель ресторана, замдиректора гостиницы и ещё какие-то странные, напряжённые люди. Лёне это тоже показалось подозрительным, и на этот раз его интуиция нас спасла. Дежурная сразу по-хамски стала спрашивать, куда из номера подевалась накидушка – так у них называлась кружевная тряпка, которой накрывали подушки. Я вспыхнул от её хамства, что-то ей ответил и в это время почувствовал, что Виноградов берёт у меня ключ от номера. Внимание всех присутствующих было приковано только ко мне, и Виноградов совсем незаметно зашёл за угол коридора, где находился наш номер. Я увидел на тупых и напряжённых мордах (иначе не назовёшь) сговор – все очень плохо играли плохо приготовленные роли, причём тут же откуда-то появился милиционер и заявил: «Надо бы проверить, куда подевалась накидушка». Я обомлел, стал заикаться, и в этот момент тихо, как чёрт или ангел, явился Виноградов и сунул мне в руку ключ. Лицо его сияло заметным только мне одному радостным торжеством. «Что значит – проверить? – спросил я. – Вы что, собираетесь меня обыскивать? У вас есть ордер?» – «Нет, мы просто зайдём в ваш номер с понятиями». – «А кто понятие?» – «Вот – мы!» – хором ответили сразу пять человек, которые раньше стояли как посторонние. Метрдотель – отъевшаяся, плотная баба – злорадно и победоносно глядела на нас с Лёней. Мы переглянулись, и Лёня мне подмигнул. «Что ж, пошли», – сказал я, и вся шобла побежала впереди нас, точно зная расположение нашего номера. Когда я открыл дверь, все кинулись к нашим кроватям и остановились как вкопанные: на обеих наших подушках красовались убогие провинциальные накидушки. Немая сцена. Как в «Ревизоре». И все были как дети – что за фокус? И никто не знал, что теперь говорить. А всё было до омерзения просто. Если бы не Виноградов, который мгновенно всё понял, открыл мой чемодан и где-то в глубине нашёл эту вшивую накидушку, они раздули бы своё примитивное лжесвидетельство в уголовное дело, и неизвестно, чем бы всё это могло закончиться. А мы с Лёней с первого дня жизни в Минске интуитивно, точно предчувствуя эту историю, стали называть белорусов «партизанами».

Но сейчас, оглядываясь на это давнее происшествие, я понимаю, какое было для меня **ЧУДО** – удивительная сообразительность Виноградова! С каким злорадством накинулись бы на меня и в Минске, и в Москве – со всякими статьями да фельетонами, и отмыться мне бы не удалось никогда. Хорошо ещё, что в те далёкие времена не было «моды» подбрасывать наркотики!

* * *

А самое оглушительное **чудо с минусом** в моей «подвальной» жизни произошло в день моего отъезда на озвучивание минской картины. Мы с Виноградовым наконец-то нашли отличную комнату на Новой Басманной улице, и я решил перевезти туда свои пожитки из подвала перед самым отъездом в Минск. Я упаковал американские джинсы, которые ещё ни разу не надевал, уникальный «штатский» костюм, а также все самые классные вещи, купленные у итальянцев, в большой чемодан, а сам в какой-то убогой майке, драных джинсах и тапочках пошёл ловить такси. Минут через пятнадцать я подъехал ко входу в мой подвал, спустился вниз и... обомлел. Ни чемодана, ни канадской куртки, ни моего портрета, написанного Мишей Кулаковым, в комнате не было! В соседней комнате – у хозяйки Любки-алкоголички – шла очередная пьянка, а когда я ворвался к ней, но ещё ничего не успел сказать, она заголосила: «Я ничего не знаю! Я ничего не брала!! Я в комнату не заходи-и-ила!!!» И т. д. Я уговорил таксиста подвезти меня к милиции, какой-то мент поехал со мной в подвал, но, увидев пьяную Любку, махнул рукой: «Сами разбирайтесь!» К моему удивлению, билет на поезд и мой паспорт лежали на тумбочке нетронутыми. Так в 27 лет я остался абсолютно без всего! Целый чемодан самых модных, самых лучших вещей! Две пары настоящих ни разу не надёванных американских джинсов! Уникальный «штатский» тёмно-синий костюм! Фантастическая канадская куртка на меху с капюшоном! И сколько всякой мелочи – носков, маек, трусов, рубашек! И всё – фирменное! Да-а... По тем временам это было **чудо с громадным минусом!** Но когда мы с Виноградовым наскребли к вечеру плохонькие брючки, туфли не по размеру и какую-то куртку и он пошёл меня провожать на Белорусский вокзал, я забыл о своих потерях и стал рассказывать ему какую-то смешную историю. Он вдруг остановился и, внимательно на меня посмотрев, сказал: «Ты сумасшедший или притворяешься?»

* * *

Когда Эфрос ушёл из Центрального детского театра, меня один довольно странный молодой человек, назвавшийся режиссёром, стал уговаривать перейти в Театр имени Станиславского, главным режиссёром которого был Борис Александрович Львов-Анохин. Я ничего о нём не знал, но странный молодой человек сказал, что Б. А. намерен дать мне все главные роли молодых героев! И я ему сдуру поверил. Без Эфроса работать в Детском театре было абсолютно бессмысленно, и я перешёл в Театр имени Станиславского. Позже оказалось, что Львов-Анохин был даже не «голубым», а ярко-«синим», переходящим в «фиолетовые»! И ещё оказалось, что он по уши в меня влюбился и, разговаривая со мной, всегда краснел, потел и заикался. Театр был омерзительным, как большинство наших театров: «власть» в театре была у небольшой кучки бездарных и наглых артистов, и даже великолепного актёра Евгения Урбанского они всячески гнобили. Меня артисты встретили почти в штыки, и единственным моим товарищем стал Урбанский. Когда вышел фильм «Они шли на восток», на меня стали смотреть немножко по-другому, а наша бездарная «верхушка» лопалась от зависти. И вдруг – бомба! В театр из отдела культуры ЦК КПСС приходит телеграмма с просьбой отпустить меня на съёмки фильма «Тристан и Изольда» в Италию и Югославию на четыре месяца, где я должен играть роль Тристана! И наша «верхушка» резко меняет ко мне отношение и начинает меня всяче-

ски обхаживать. Секретарём парткома театра был Евгений Леонов, но он почему-то отказался давать мне необходимую для выезда характеристику. И когда Женя Урбанский (заместитель парторга) привёл меня в райком партии на собеседование, мне всё стало ясно. За столом сидело человек восемь каких-то серых стариков и старушек, и на их лицах была уже готовая маска злобы и неприязни ко мне. Главный старик начал читать мою биографию: «Родился в Алма-Ате, учился в Ленинграде, живёте в Москве, а *теперь в Италию собрались?*» И я понял, что КГБ уже всё за всех решил! И мы с Урбанским пошли в ресторан ВТО и выпили бутылку водки. «Верхушка», узнав, что я уже никуда не поеду, стала мне мстить за своё «унижение», но зато остальные актёры ко мне подобрали. А Львов-Анохин, окончательно поняв мою железную и неколебимую гетеросексуальную ориентацию, ко мне охладел и стал давать мне какие-то ничтожные роли. И я ушёл из этого театра. (К моему великому счастью!)

А *чудеса* на «Мосфильме» продолжались. Как-то я столкнулся в коридоре первого корпуса (там всегда были кабинеты «важных» фильмов совместного производства) с плотным, забавным мужиком, говорившим с иностранным акцентом. Он ткнул меня в грудь: «Ты Прыгунов?» – «Да», – говорю я. «Ты алкоголик?» – «Нет». – «Ты психический больной?» – «Да нет вроде». – «Ты наркоман?» – «Да нет же!» – «Я румынский режиссёр Франчиск Мунтяну, снимаю совместный фильм “Туннель”. Ты сейчас где-то в отъезде?» – «Да нет, НЕТ!» – мне уже стал надоедать этот разговор. «Ты будешь у меня сниматься?» – «Я-то буду, только они мне не дадут. Я невыездной». – «Пошли со мной!» И он меня повёл совсем недалеко в большую комнату, где находился весь «штаб» картины. В комнате было довольно много народу – как потом оказалось, все главные лица группы. Мунтяну выставил меня перед собой и торжественно объявил: «Вот Прыгунов. Он не алкоголик, не наркоман, не психический, сейчас свободен, и он будет играть роль Гриши». В комнате стояла полная тишина, и я видел, как на меня смотрели работники группы – одни с нескрываемой симпатией, а другие во главе с директором с такой же нескрываемой злобой. Как выяснилось позже, на следующий день в так называемой Зарубежной редакции Франчиску Мунтяну заявили, что Прыгунов ни при каких обстоятельствах сниматься у него не будет. На что тот в свою очередь заявил, что, как автор сценария и как режиссёр, он продлевает на два месяца подготовительный период, пока не найдёт такого же достойного исполнителя, как Прыгунов.

А всё было просто – в Румынии к власти пришёл Чаушеску, и наше *полип*-бюро из кожи лезло, чтобы как можно быстрее начать наводить всякие мосты, и им казалось, что КИНО – самый лучший из всех мостов. И Мунтяну прекрасно этой ситуацией пользовался. К тому же он видел меня в фильме Де Сантиса, где я ему очень понравился. Так я попал в «Туннель» и через пару недель ехал в поезде в Бухарест в одном купе с директором – махровым гэбистом и такой же махровой гэбисткой-переводчицей. И когда мы проезжали по мосту через реку Тису, по которой проходит государственная граница, я открыл верхнее окно и нагло, во весь голос заорал: «Свобода!!!», хотя прекрасно знал, что румыны беженцев выдают. Но не позволить себе поиздеваться над этими двумя уродами я никак не мог, и потом, во всё время съёмок, если что-то не нравилось моему гнусному директору и он устраивал мне какую-нибудь фальшивую сцену, я всегда злорадно ему отвечал: «Выпустили – теперь ешьте!» Единственный момент, который меня полоснул как ножом по сердцу, был, когда я открыл свой заграничный паспорт: там на одной странице стояла трёхмесячная виза в Италию, а на другой такая же в Югославию, но обе были крест-накрест перечёркнуты печатями: АННУЛИРОВАНО! Меня больше месяца ждали в Италии, но Комитет госбезопасности выпускать меня отказался, хотя отдел ЦК, заработавший на мне всего год назад больше ста тысяч долларов, очень на этом настаивал.

У нас с Виноградовым была игра, отношение к которой у нас обоих было до смешного серьёзным. Называлась она «Дисциплина». Если надо было сделать что-нибудь трудоёмкое или неприятное – сгонять за водкой, вынести помойное ведро, помыть пол и т. д., то первый, кто скажет «дисциплина», переносит эту задачу на другого. В этой игре я всегда проигрывал –

еврейско-цыганские мозги Виноградова срабатывали первыми, и я вечно был в проигрыше. А у вагона поезда Москва – Бухарест Виноградов, провожавший меня, вдруг заявляет мне, что я за эти два месяца в Румынии должен выучить румынский язык! ДИСЦИПЛИНА! И в купе поезда я с первой минуты насел на нашу переводчицу и спрашивал её всё время: «Чей аста? Чей аста?» («Что это? Как по-румынски?») Она поначалу очень подозрительно спрашивала: «А зачем это тебе?!» – «Чтобы поддержать честь своей страны!» – отвечал я ей. И я, как губка, впитывал каждое слово и выражение. А когда нас через двое суток встретили в Бухаресте румыны, я обрушил на них все запомнившиеся мне румынские слова, и они были в полном восторге! Как, кстати, и наш гэбист-директор. ДИСЦИПЛИНА, одно слово!

В Бухаресте в то время была вольная и дешёвая жизнь – Франчиск Мунтяну оказался довольно богатым и знаменитым писателем и каждый вечер приглашал меня со своим помощником в ночные бары, так что мой румынский улучшался с каждым днём, и в конце концов это стало бесить и моего директора, и нашу переводчицу. И они объявили мне открытую войну. Да ещё у меня начался бешеный роман с очаровательной молоденькой румынской певицей, и уже через месяц на просмотре какого-то румынского фильма я имел наглость поправить нашу переводчицу, чем вызвал бурную радость румын, знавших русский язык, и ещё более лютую ненависть переводчицы. Но я прекрасно понимал, что терять мне уже было нечего. Зато, когда вся наша группа через два с половиной месяца приехала в Москву снимать павильоны, я пригласил в «Националь» нашего партнёра – знаменитого румынского певца и актёра Иона Дикисяну, и мы на глазах у Виноградова и всей нашей братии стали абсолютно свободно болтать по-румынски! Браво, ДИСЦИПЛИНА, браво, Виноградов!

Перед самым отъездом из Румынии румынское Госкино приняло решение заменить одного из своих актёров другим, более знаменитым и более подходящим на самую главную румынскую роль. И мой директор решил воспользоваться этой заменой и меня буквально выкинуть из картины, поскольку мы с этим персонажем были ведущей «парой». Всё это держалось в строжайшем секрете, а Франчиску Мунтяну сказали, что я отказался от съёмок, исчез из Москвы и найти меня невозможно. И – новое *Чудо!* Актёр театра, где я тогда работал, тоже играл роль в «Туннеле», и он довольно злорадно «проговорился», что через день назначена павильонная съёмка и что меня сняли с роли. Я «успел» не удивиться и с улыбкой сказал, что я об этом знаю и что теперь всю свою энергию я направлю на работу над «нашей с ним» ролью! Дело в том, что после возвращения из Румынии меня назначили играть с ним «на пару» одну и ту же роль. Через десять минут я дозвонился до Мунтяну, терпеливо выслушал его страстный монолог отменным русским матом, и когда он узнал, что это новая провокация нашего директора, потребовал, чтобы я немедленно приехал к нему в гостиницу. У него в номере мы придумали блистательный план – нашли несколько сцен, где моего будущего партнёра не было, да ещё в одной из этих сцен было много техники и несколько сот человек массовки! И на следующий день он с каким-то представителем румынского посольства предъявил нашему Госкино иск на неподъёмную для «Мосфильма» сумму, если эта явно гэбистская провокация осуществится. Естественно, если бы моя ничтожная персона могла бы повлиять на какие-то государственные дела, деньги на эту операцию нашли бы мгновенно, но на самом низком «верху» решили, что «овчинка выделки не стоит». «Только я тебя умоляю – не дразни больше директора!» – сказал мне по телефону Франчиск накануне съёмочного дня. Ну уж дудки! Перед началом съёмок я подошёл к директору и сказал ему с нескрываемым удовольствием: «Ну что, Марк Львович, и на этот раз сорвалось?!» Я точно знал, что он мне сделает ещё кучу гадостей, и решил всячески и по любому поводу ему в этом помогать. Кончилось тем, что он стал от меня шарахаться. А месть его была до смехотворного примитивной: он написал на меня донос в КГБ, в который даже они не поверили, где обвинил меня во всех возможных грехах, кроме скотоложества и убийства.

* * *

Второй сезон съёмок в «Туннеле» оказался, благодаря Виноградову ещё более ярким, смешным и, можно сказать, даже триумфальным. Перед моим отъездом Виноградов дал мне новое задание – абсолютно невыполнимое ни теоретически, ни тем более практически: я должен был стать за этот приезд в Румынию лучшим другом моих самых лютых врагов – директора картины и переводчицы! И я вынужден был включиться в игру – Дисциплина! Только моё понимание, что это всего лишь игра, заглушало во мне мою ненависть и отвращение к ним и к тому же поддерживало меня психически (надо было всё время подстёгивать фантазию!). И, самое главное, ещё очень веселило. С переводчицей было просто – подарки, цветочки, два-три «покаянных» тоста за столом и несколько танцев под оркестр в ресторане «Лидо». А вот с директором... Он был заядлый игрок в карты и при этом очень жаден. И мне посоветовали проиграть ему лей 500–600 – он обычно смягчался к тем, у кого выигрывал приличную сумму. И я сел с ним играть. Но что бы я ни делал, на какие бы уловки ни шёл, мне, как назло, шла такая фантастическая карта, что я выиграл у него 800 лей! Он был в ярости, а я смеялся в открытую только потому, что искренне хотел ему проиграть, но за столом нас было четверо, а в карты я всегда играл неважно и никак не мог повернуть игру по-своему.

А однажды посол СССР в Румынии пригласил нас на ужин в свою резиденцию – кроме меня были ещё два актёра, актриса Валентина Малявина и наш директор. Со стороны посла были два генерала с жёнами и кто-то ещё. Мой директор сидел прямо напротив меня. В Румынии мы все пили так называемый шприц – белое вино, разбавленное газированной водой из сифона. На нашем столе стояли бутылки с вином и большие бутылки с газированной водой. Но ни одного сифона не было. Обычно в таких случаях закрывают глаза на санитарию, а большим пальцем отверстие бутылки, встряхивают её несколько раз и тонкой, мощной струёй направляют воду в бокал с вином. Когда официант сообщил, что сифона нет, я вызвался совершить подобную операцию. Зажал большим пальцем бутылку, как следует её потряс, и вся мощная струя воды почему-то пошла не в бокал, а прямо в лицо моему директору! Я от неожиданности даже не мог остановиться – несколько секунд струя воды била ему в лицо, все хохотали, посол был в полном восторге, а я сполз под стол и оттуда со смехом кричал: «Клянусь, это случайно!» А директор, белый, как та салфетка, которой он утирался, сквозь вымученную улыбку с зубовным скрежетом шипел что-то вроде: «Ну, заяц, погоди!..» И самым смешным было то, что все наши, зная мои с ним отношения, до конца были уверены, что я таким образом над ним поиздевался.

И всё-таки к концу съёмок я кое-как выполнил наказ Виноградова. У моего директора в Москве родилась дочка, и я, встретив его на следующий день, пригласил его в ресторан отметить это событие. Он сначала отказывался, но я его уговорил. Он только удивлялся моей щедрости. А в ресторане я сразу заметил, что после рождения дочки в этом гэбистском монстре появилось что-то человеческое. И вскоре наш директор стал время от времени говорить: «Вы только посмотрите, что делает коллектив! Вы видите, КАК изменился Прыгунов!» И наш так называемый коллектив на самом деле ничего не понимал. В первую поездку в Румынию вся группа под сильным давлением директора и всей его команды объявила мне бойкот за якобы «недостойное советского человека поведение за границей», хотя я ни разу не приходил на съёмку пьяным, как большинство членов нашего «советского коллектива», включая актёров (все они пили дешёвый спирт, экономя суточные), ни разу не опоздал на съёмочную площадку и ни с кем не ругался, кроме директора и переводчицы, которые «доставали» меня по любому поводу. Так что Виноградову я обязан ещё и совершенно осознанным смирением и искренним вниманием даже к ненавистным мне людям. Вернулись мы в Москву не друзьями, но и совсем

не врагами и всегда, встречаясь на «Мосфильме», с удовольствием вспоминали наши поездки в Румынию.

Но самое главное *чудо* произошло перед самым моим отъездом из Бухареста. Директор румынской киностудии попросил меня – почему-то именно меня! – передать директору «Мосфильма» Сурину Владимиру Николаевичу довольно плотный пакет с какими-то уникальными саженцами роз. И тут у меня возник план: передать пакет прямо в руки Сурину и сунуть ему на подпись заявление о вступлении в только что организованный мосфильмовский кооператив. Это был единственный шанс, что когда-нибудь я обрету своё собственное жильё! Я уже прощупывал такую возможность, но мне категорически ответили, что я об этом даже мечтать не могу, потому что к «Мосфильму» не имею никакого формального отношения. И когда я в Москве в воскресенье утром сообщил по телефону Сурину что его драгоценные розы находятся у меня, он довольно сухо ответил, чтобы я оставил их у его секретарши. Я сказал, что его румынский коллега «просил передать розы только в ваши руки, и я дал ему слово, что так и сделаю». Сурин едва сдерживал своё раздражение, а я продолжал блефовать: «У меня через три часа самолёт в Алма-Ату, а я нахожусь как раз напротив вашего дома у входа в ресторан “Арагви”». И ему ничего не оставалось делать, как назвать номер своей квартиры. Он чуть приоткрыл дверь и протянул руку за пакетом с розами, но я, поставив ногу, чтобы он не мог захлопнуть дверь, внаглую сказал, что мне нужно поговорить с ним всего две минуты. Он рассмеялся и пригласил меня выпить чаю.

Владимир Николаевич оказался необыкновенно умным и добрым человеком и сразу стал расспрашивать меня о моих румынских «грехах». Сурин, конечно, был в курсе доноса моего директора, но, слава богу, он его очень хорошо знал и за чаем с удовольствием подписал моё заявление, да ещё сказал, чтобы в случае чего я тут же обратился к нему. Но мне повезло и дальше: директором кооператива оказался мой очень хороший знакомый, который оформил мне прекрасную двухкомнатную квартиру с большой кухней и с лоджией длиной аж в двенадцать метров! Правда, ждать моего самого желанного и самого тогда необходимого мне *чуда* пришлось почти пять лет.

* * *

В конце октября 1966 года мне сообщили, что меня отправляют с делегацией кинематографистов в турне по Румынии с премьерой фильма «Туннель», и вскоре меня пригласили в уже знакомый мне отдел культуры ЦК «на собеседование». Я решил, что меня будут страшить, наставлять и т. д., но вдруг меня встречает необыкновенно доброжелательный человек и говорит, что на мне лежит единственная задача: со всеми румынами говорить на румынском языке на любые темы – весело и непринуждённо: «Мы знаем, как они вас любят. Да и ваша роль в “Туннеле” получилась очень интересная». Тут я должен заметить, что роль у меня «получилась» только в румынском варианте – мы с моим партнёром Флорином Персиком говорили на «народном» языке со всякими непристойностями и ругательствами, и даже в советском варианте (с нашей стороны автором был Георгий Владимов) были прекрасные и очень смешные диалоги, но наша грёбаная цензура очень постаралась и вырезала всё самое живое и яркое в моей роли. Делегацию возглавлял Сергей Герасимов, а её членами были министр кинематографии Грузии, режиссёр Юлий Райзман, блистательная Софико Чиаурели, актриса Галина Яцкина и я. И Райзман, и Герасимов поначалу были очень важными и со мной не здоровались, будто меня вовсе не было. Я отвечал им тем же. Райзман через два дня уехал в Москву, так со мной и не попрощавшись и, естественно, не попрощавшись, а Герасимов, случайно посмотрев «Туннель» (за десять дней его показывали раз двадцать), наконец обратил на меня внимание, наговорил кучу комплиментов и, узнав, что я – «свободный художник», предложил устроить меня в штат «Мосфильма». Я был счастлив, но, когда позвонил ему уже в Москве,

он мне довольно строго сказал, что поскольку я «недостойно вёл себя в Румынии», то даже он ничем помочь мне не может!

В кафе «Националь» одним из моих приятелей был уникальный человек: катала (то есть профессиональный картёжник); цеховик (то есть подпольный предприниматель), а официально – директор какой-то то ли Гродненской, то ли Гомельской филармонии, щедрый и богатый одессит почти двухметрового роста, необыкновенный рассказчик и очень умный человек, которого звали Люсик Гардт. Прозвище – Гиббон или Железный Люсик. В 1968 году я женился на очаровательной женщине Элле, и шесть лет нашей совместной жизни были для меня самыми счастливыми годами в то ненавистное для меня советское время. Каким-то чудом её лучшая подруга оказалась любовницей Люсика, и они часто проводили у нас вечера. Однажды, узнав, что я нигде не работаю, он тут же предложил устроить меня на «Мосфильм». «Какой “Мосфильм”! У меня там куча лютых врагов: Шадур, Гуревич, да ещё меня туда Герасимов не смог устроить!» – «А кто такой Герасимов?! Там главный человек Милькис! И если я ему скажу, чтобы он с семьёй поехал на Новую Землю, он поедет. Я ему сейчас позвоню». И Люсик стал набирать номер.

Я очень хорошо помнил Милькиса – худой, сухонький, хромой – всегда с палочкой – незаметный, тихий и, в общем, симпатичный человек, директор одного из объединений на «Мосфильме». Он приезжал в Бухарест с «проверкой» во время съёмок «Туннеля», и наш директор расшаркивался перед ним и угощал его в ресторане. Однажды я выходил из своего номера и лицом к лицу столкнулся с Милькисом и моим директором, который его сопровождал. И директор нагло вошёл в мой номер и в открытую стал мне хамить. Я так же внаглую попросил его убраться из моего номера. И краем глаза увидел, с каким интересом взглянул на меня Милькис.

Теперь я смотрел на Люсика и ждал, чем всё это закончится.

«Милькис, привет, это я, – начал Люсик. – Сейчас рядом со мной сидит мой хороший друг, замечательный актёр Лёва Прыгунов. Надо, чтобы он работал на “Мосфильме”». И тут наступила большая пауза. Люсик, слушая Милькиса, кивал головой: «Так... Так... Вот как?... Так...» Наконец Люсик сказал: «А теперь всё наоборот». Ещё немного послушал, передал привет семье, положил трубку и, улыбаясь, сказал: «Приходи завтра в десять утра в актёрский отдел».

На следующее утро начальник актёрского отдела Адольф Михайлович Гуревич, про которого говорили «хорошего человека Адольфом не назовут», встретил меня объятиями со словами: «Лев Георгиевич! Наконец-то вы с нами!» И ровно через два месяца они повесили мою фотографию на Доску почёта «Мосфильма»! Ну хоть стой, хоть падай! В общем – *чудеса* развитого социализма!

А судьба Люсика сложилась чудовищно трагично. Во время одного из его процессов генерал КГБ, присутствовавший на допросе, поклялся, что рано или поздно он его сгноит в тюрьме. Авторитет Люсика был настолько велик, что три раза он выходил из зала суда полностью оправданным – его подельники (все проходившие вместе с ним по «расстрельным» статьям) его отмазывали, зная, что они – и сами, и их семьи, – что бы с ними ни случилось, будут в полном порядке, если Люсик останется на свободе. Я был свидетель, как Люсик почему-то на нашей квартире со своим молодым приятелем упаковывал два чемодана – чего только там не было! Тёплые вещи, сигареты, деньги, какие-то книжки, банки с икрой – это только то, что было на виду! И всё это они увезли вечером на поезде Москва – Сыктывкар в какую-то колонию строгого режима. А через два года после третьего «Бакинского» дела гэбисты стали обрабатывать жён подельников Люсика: если они начнут жаловаться своим мужьям, что Люсик им не помогает, и убедят их в этом, то мужья будут досрочно освобождены. И естественно, обрабатывали подельников изнутри, показывая им поддельные документы и письма самого Люсика, клятвообещаая скостить им сроки наполовину. Кончилось всё тем, что подельники Люсика и

их жёны всем этим подлым наветам поверили, его сдали, а самого Люсика арестовали, судили, дали крупный срок, а в тюрьме перестали лечить. И, как мне рассказывал один из его друзей, Люсик в тюрьме потерял больше сорока килограммов, превратился в гигантский скелет и через полгода умер. Из его подельников никого не выпустили, а некоторым ещё прибавили сроки из-за «новых всплывших обстоятельств», предоставленных ими же самими. К тому же их семьи остались без всякой помощи.

* * *

В 1967 году на Украине в городе Славянске я снимался в фильме «Поиск» Одесской киностудии. В группе был объявлен конкурс на лучшее название для фильма. По его сюжету герои искали воду в пустынной части то ли Крыма, то ли Украины. Все съёмки проходили под палящим солнцем в степи или на поверхности пересохших озёр, сплошь покрытых сетью трещин, похожих на кракелюры древних икон. Конкурс на название фильма в нашей группе выиграл я, предложив название: «Это белое, белое солнце». Но в Госкино название не понравилось, и фильм назвали очень просто: «Поиск». В нашем фильме одну из главных ролей играла актриса Театра киноактёра Раиса Куркина, жена режиссёра Владимира Мотыля, и она тоже принимала участие в конкурсе на название нашего одесского фильма. И когда вышел на экраны знаменитый фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», в котором Куркина тоже снималась, я понял, что название фильма каким-то образом было «наваяно» (или просто *взято*) воспоминаниями Раисы Куркиной о конкурсе на фильме «Поиск», чудовищно изуродованном нашей грёбаной цензурой.

Жил я в скромной гостинице Славянска, и в это время там поселились московские цыгане из театра «Ромэн», у которых в Славянске проходили гастроли. Все они оказались прелестными, интеллигентными людьми, и мы подружились. Как-то получилось, что свободного времени было достаточно, и мы провели несколько замечательных вечеров. Несколько лет после Славянска мы встречались в ресторане ВТО или на каких-нибудь премьерах, как родные! И один из них – Николай – даже был у меня в гостях. Но с годами мы каким-то образом разошлись, и я только смутно помнил, как они выглядели. В середине 1980-х годов в ресторане Дома кино был чей-то день рождения, и там оказалось много известных актёров, режиссёров и знаменитостей. Из ресторана мы всей компанией отправились пешком в большой особняк знаменитого армянского скульптора и художника Николая Баградовича Никогосяна. Когда-то Микоян разрешил ему построить в самом центре Москвы рядом с Тишинским рынком громадный по тем временам двухэтажный дом. Там – в красоте, очень художественном беспорядке, с избытком армянского коньяка и грузинского вина, под джазовую музыку вдруг непонятно откуда появилась немыслимой красоты молодая девушка, и все наши актёры и режиссёры буквально сошли по ней с ума! И я в том числе! Я краем глаза заметил, какие глупости совершают наши кино- и театральные звёзды, и с ужасом понял, что и я готов на ещё большие глупости. Два знаменитых актёра чудом не подрались, наши звёзды-актрисы вошли в состояние тупого оцепенения и готовы были разорвать её на части. А девица не оставляла своим колдовским вниманием ни одного человека, и даже наши актрисы в конце концов оценили её превосходство. Я лихорадочно вспоминал трюки и уловки всех своих удачных эротических атак, но тут же осознал, что все они бесполезны – так недосыгаемо было это фантастическое создание! И вдруг я поймал её доброжелательный взгляд, а сама она быстро подошла ко мне и, улыбаясь, сказала шёпотом: «Лев, я дочка Николая – цыгана, с которым вы были в Славянске. Не обращайтесь на меня внимания, я просто дурачусь!» И очень весело засмеялась. И тут произошло настоящее *чудо*, точно с моих глаз сошло бельмо, – я увидел перед собой милую, славную, простую девушку – весёлую и свободную, а полдюжины наших знаменитых киноужинов были похожи на обезумевших сексуальных маньяков, каким и я чуть было только что не стал.

* * *

В 1970 году меня угораздило попасть сразу в два фильма на Одесской киностудии. Один – «Чёртова дюжина» – снимали в Крыму, в городе Судак, а второй – «Меж высоких хлебов» – на Украине, в деревне Хмельницкой области. Это был знаменитый холерный год, Одесса и Крым были закрыты, и мне приходилось с громадным трудом летать из одного фильма в другой. Фильм в Крыму снимал, пожалуй, самый бездарный режиссёр, с которым мне когда-либо приходилось работать. Кажется, у него были какие-то связи в Госкино, и он «вырвал» хороший сценарий у приличного режиссёра и за 2000 рублей (я узнал эту цифру от бухгалтера Одесской киностудии) его переделал, и, как говорится, из конфетки сделал полное говно. В этом фильме я играл главную роль и до сих пор вспоминаю каждый момент съёмки в нём с содроганием и отвращением. Вторым фильмом был не лучше первого, но главную роль в нём (причём ни одного кадра в картине без него не было!) играл Евгений Леонов, который «дал» этой несчастной картине только два дня в неделю: субботу и воскресенье. Фильм назывался «Меж высоких хлебов», снимался в украинской деревне в свекловодческом совхозе, и пять свободных дней в неделю были большим счастьем для всей пьющей кинематографической братии: бутылка отличного самогона стоила в селе Лесоводы, где проходили съёмки, всего один рубль! Для меня этот фильм был знаменателен ещё тем, что перед началом съёмок я был в Ленинграде в гостях у Иосифа Бродского и за питьём кофе посетовал, что не успел обойти комиссионные магазины и не купил себе приличной одежды. (Как правило, тогда на студиях было очень мало добротных и модных современных вещей.) И вдруг Иосиф вынимает из шкафа новенькую американскую куртку Wrangler и даёт мне: «С отдачей!» Оказалось, что неделю назад у него были американцы и подарили ему эту куртку, которую он надевал всего пару раз. И я убеждён, что куртка Бродского, в которой я был почти в каждом кадре, – самое яркое и талантливое «пятно» в этом фильме (по крайней мере, для меня).

Я вывез в деревню жену с годовалым сыном, мы сняли половину деревенского дома, и у нас образовалась чудесная компания – художник фильма, фотограф, одна актриса и ещё один молодой актёр. Каждый день был очень интересно «расписан»: с утра мы, «мужики», шли либо в лес за грибами, либо на озеро ловить раков; принесённую добычу отдавали «бабам» – моей жене и молодой актрисе, – а сами часа два играли на поле в футбол буквально в трёхстах метрах от дома; после футбола нас ждала натопленная баня, а после бани мы шли к нам домой, где уже был накрыт стол. В первую неделю съёмок я уговорил хозяина за мои деньги сварить сорок литров самогона на двоих! Так что у меня вдоль стенок поначалу стояло сорок пол-литровых бутылок чистейшего, отличного самогона! В группе с некоторой завистью, а кое-кто с откровенной злобой следили за нашим «интеллигентным» и абсолютно независимым образом жизни, но так как в субботу и воскресенье никто «из наших», в отличие от «своих», не приходил на съёмку пьяным, придрататься к нам было трудно. Одну из небольших ролей в фильме играл актёр N – алкоголик, но при этом – член КПСС (!), которого за пьянство отчислили из штата Театра киноактёра. Режиссёр нашего фильма – бывший ранее тоже алкоголиком, но перед съёмками завязавший, – был другом актёра N и, чтобы спасти товарища, взял его на поруки: в случае, если актёр N на съёмках его фильма «не сорвётся», его вернут в штат – всё-таки он наш человек, коммунист! Каждую пятницу всю группу лихорадило: надо было идеально организовать съёмки пяти-шести эпизодов, чтобы из приезда Евгения Леонова выжать «все возможные соки». И к одному из его приездов решили подготовить все сцены с актёром N. Но! В очередную пятницу, накануне приезда Леонова, в одиннадцать часов вечера, когда закрывалось единственное кафе села Лесоводы, пьяный «в лоскуты» актёр N при выходе из кафе спотыкается о бордюр тротуара, падает и проезжает лицом по асфальту, сдирая с половины лица кожу чуть не до кости! Скандал был невероятный, кое-как наскребли для съёмок

Леонова несколько сцен без актёра N, который слёзно умолял режиссёра простить его и не сообщать на студию о его поступке (порочащем звание коммуниста!), и режиссёр по старой дружбе его простил. Было решено ждать до последнего, пока мясо на лице актёра N не зарастёт новой кожей. Всё это время наша компания жила прекрасной жизнью, я успел раза два слетать в Крым на съёмки, а гримёры заботливо лечили актёра N и по кусочкам отдирали коричневые корки от его лица. Наконец вместо коричневых корок на его лице появились бело-розовые «плешивые» пятна, и, когда гримёры заявили, что могут гримом эти пятна убрать, назначили субботнюю съёмку с народным артистом СССР Евгением Леоновым. Невероятное *чудо*, о котором я сейчас расскажу, хотя и произошло не со мной, но косвенно я оказался в нём замешан. Накануне назначенных субботних съёмок с Великим Леоновым, которых ждали две недели, в одиннадцать часов вечера актёр N – коммунист и алкоголик, – выходя из единственного кафе села Лесоводы, точно на том же месте спотыкается о тот же бордюр, падает и снова нещадно сдирает кожу на лице прямо по тем же самым бело-розовым пятнам! Я думаю, что по теории вероятности такое может произойти один раз за два-три миллиона лет! Режиссёр снимает актёра N с роли, отправляет его в Москву, а актёр N пишет в Комитет кинематографии донос на меня и мою компанию! Якобы это я «спаивал его, завлекая в группу с сомнительными идейно-политическими взглядами»! И я в очередной (тысячный?) раз убедился, до чего же подлый народец эти коммунисты!

* * *

Было ещё (по крайней мере, известных мне) два «коммунистических» доноса на меня – каждый подлее и нелепее другого! Но о них чуть позже. Мой договор на второй одесской картине заканчивался в конце сентября, так как я должен был лететь на съёмки в Болгарию. И мой «крымский» режиссёр стал растягивать съёмки фильма (подолгу снимал проходы и проезды актёров и другие незначительные сцены), обвиняя во всём холеру и мою занятость, будучи уверен, что ему позволят доснять фильм в следующем году на Черноморском побережье Крыма! Но когда я в конце ноября закончил сниматься в болгарском фильме, моего режиссёра заставили во что бы то ни стало сдать фильм до начала 1971 года. И я по своей глупости, а в основном мягкости (на меня насело всё начальство студии и чиновники из Госкино), согласился сниматься двадцать дней в зимней Ялте, изображая жару при десяти градусах мороза! В море! На ветру! За те же деньги!!! (В советском договоре все сорок пунктов начинались словами: «Актёр обязан...» или «Студия имеет право...».) На ночь я выпивал почти полную бутылку водки, меня растирали спиртом, наваливали поверх одеяла два тулупа, и всё равно к утру я не успевал отогреться! Переохлаждение было настолько сильным, что, когда я приехал в Москву, у меня в один день колени, ступни, локти и руки распухли раза в три, и я стал похож на бегемота. И я тут же попал на два месяца в клинику Тареева с чудовищным полиартритом. «Если мы вас вылечим, – говорили врачи, – то мы вас опишем!» И там со мной произошло очередное *чудо*, перевернувшее всю мою жизнь: однажды я просыпаюсь и вижу на своей тумбочке стопку машинописных листов, и на первом листе название – «Хатха-йога», а предисловие начиналось так: «Занимаясь этой йогой, вы сможете вылечиться от таких болезней, как: полиартрит...» и т. д. Это был, слава богу, перевод настоящей книги по йоге, изданной в 1930-е годы в Калькутте. Первые две недели мне не могли поставить диагноз. Потом они мне его назвали: «У вас полиартрит типа Понсе!» Я несколько раз спрашивал: «А Понсе – это кто или что?» Но врачи мне мило улыбались и пожимали плечами. У нашей сестрички я выпросил старое байковое одеяло и, расстелив его у кровати, стал медленно делать на нём асаны, сообразив, слава богу, никуда не спешить и особенно не усердствовать. Меня, как ни странно, выручила моя врождённая лень – позже до меня доходило много слухов, как молодые представители нашей славной «технической» интеллигенции сворачивали себе шеи, вставая на голову, или вывихи-

вали свои коленные суставы, чтобы непременно сейчас же сесть в позу лотоса! Через несколько месяцев изнурительных, но осторожных занятий мой полиартрит стал проходить, а через полтора года у меня не было даже его следов. Кто положил мне эти листы, я так и не узнал. Зато йога открыла мне путь и в живопись, и в буддизм, и в тибетский тантризм, и к суфиям, и к даосам, и в конце концов в христианство! И я всегда благословляю этот случай. И даже нашёл мои записи по этому поводу:

«14.04.1971. Я по вечерам смазываю все свои суставы белой мазью с пчелиным ядом и затем обматываю кисти рук, локти и колени бинтами. Глаза смазываю глазной мазью, а веки – зелёной, и когда ночью перед зеркалом начинаю раздеваться, на меня смотрит очень странный, суровый и жалкий, острый и больной, наглый и тихий человек с белыми культиями и круглыми зелёными глазами. А перед сном занимаюсь йогой, читаю Канта и Достоевского – прекрасная жизнь!»

«23.04.1972. Живу в городе Москве. Возраст – 33 года. Вес – 72,5 кг. Рост – 176 см. Чувствую себя неважно и посему вторично лежу в клинике Тареева на той же койке, на которой совсем недавно от цирроза печени умер артист Вадим Бероев – “Майор Вихрь”. Это мне с гордостью сообщила нянечка, когда стелила мне постель. Настроение хорошее, устойчивое, реальное. Радует ещё одна возможность поработать в ГДР. Врачи встретили меня как родного и торжественно объявили мне, что они вылечили почти неизлечимую форму полиартрита “типа Понсе”!»

* * *

В 1971 году я снимался в ГДР в фильме «Мой нулевой час» – это был мой первый фильм в Восточной Германии. В Москве у меня была хорошая подруга-докторша, которая, узнав, что я снимаюсь в ГДР и часто бываю в Берлине, сказала, что её лучшая подруга Гудрун – её сокурсница по мединституту и с которой я уже был хорошо знаком, – сейчас живёт в Берлине и будет очень рада, если я её там навещу. Отец Гудрун совсем недавно был очень большим человеком в ГДР – членом ЦК их главной партии, но по какой-то причине его сняли с этой должности, из-за чего, как мне сказала подруга Гудрун, он очень переживал. Когда я в очередной раз оказался в Берлине, я позвонил Гудрун, и она с большой радостью пригласила меня на ужин. А я с большой радостью согласился – каждая сэкономленная марка давала мне возможность привезти домой лишний подарок жене или сыну. Привожу стишок, который я написал во время своих визитов в ГДР:

Ночь. Я в немецкой пижаме
ворочаюсь в гэдээровском гробу
в отдельном номере, в Интеротеле, в Потсдаме,
от всяких расчётов сна – ни в одном глазу.
А днём я вглядываюсь в тусклые лица,
собираю по городу пфенниги и марки,
чтобы сыну купить гостинцы,
а жене – занавески на кухню и кофеварку.

1972 г. Потсдам

У нас с Анатолием Кузнецовым (замечательным актёром и человеком) были две главные роли в фильме. Расписывались мы в бухгалтерской ведомости в конце съёмочного дня на глазах у всей группы за 900 марок каждый, а на руки получали 60! И вся группа в первый же день объявила нам бойкот как штрейкбрехерам. Они, видите ли, получают в десятки раз меньше,

чем в Западном Берлине, а артисты «Большого брата», как тогда называли СССР, готовы получать в десять раз меньше, чем даже у НИХ!!! Мы с Толей долго объясняли нашим коллегам, что в нашем кино мы получаем в три раза меньше 60 марок! И у меня ещё был настоящий шок от разницы в качестве жизни, громадного выбора товаров в магазинах, по сравнению с нашими, и особенно немыслимое для советского человека качество и количество инструментов в их хозяйственных магазинах! Вот примерно с каких тем началась наша беседа за ужином у бывшего члена ЦК гэдээровской компартии. Да ещё я всё время старался его успокоить, что ничего он не потерял, выйдя из коммунистической банды! Причём весь разговор был весёлый и ироничный. Напротив меня сидела Гудрун, и мы вместе с ней поддразнивали старого коммуниста, поскольку за пять или шесть лет учёбы в Москве она прекрасно знала нашу тогдашнюю убогую жизнь с очередями и бешеными ценами на всё *иностранное*. Я плохо помню детали нашего разговора за дружеским обедом, но, зная привычку иностранных коммунистов *стучать*, всё-таки придерживал язык. Но проходит двадцать четыре года, я открываю газету нашего Союза кинематографистов «СК Новости» за 17 марта 2006 года и в замечательной рубрике «Летопись нашего союза» совершенно случайно нахожу свою фамилию!

Вот весь текст:

«24 марта – и ещё один “прокол”! В ЦК КПСС поступил донос на актёра Льва Прыгунова. Донос поступил из закордонных далей.

Из дневника Г.М. Шмакова. Секретно. Экз. № 1; 16 марта 1972 г. № 105. **ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ с председателем фракции Национально-демократической партии Германии в Народной палате и секретарём правления НДПГ 3. Дальманом 10 марта 1972 г.:**

Встретился с Дальманом по его просьбе, высказанной накануне. /.../ Осенью прошлого года Прыгунов был в гостях на квартире Дальмана. В состоявшейся беседе киноартист, по словам Дальмана, высказывался о советской действительности “в духе худшей антикоммунистической пропаганды”, не жалея мрачных красок. Он говорил о “периоде культа личности”, а затем якобы стал чернить нынешние условия жизни в СССР (например, “интеллигенция полностью задавлена”, “жизненный уровень очень низок”), а также нынешнюю советскую внешнюю политику, из-за которой советских людей, как он якобы сам мог убедиться, ненавидят в Чехословакии и Польше. Высказывания Прыгунова относительно образа жизни семей руководящих деятелей СССР, по словам Дальмана, были в духе книги Джиласа “Новый класс”. При этом Прыгунов ссылаясь на свои знакомства с членами семей руководящих деятелей. Дальман отметил, что он пытался усюветить гостя, разъяснить ему его неправоту, но тот в течение всего времени пребывания в гостях продолжал свою “пропаганду”. По наблюдению Дальмана, Прыгунов является не “сознательным врагом”, а “истеричным, недостаточно образованным и поверхностно думающим человеком”. Особенно насторожило Дальмана замечание гостя о том, что его жена относится к обслуживающему персоналу посольства США в Москве. В ходе беседы Дальман сказал, что среди интеллигентов – членов НДПГ есть отдельные лица, испытывающие влияние антикоммунизма, но людей, в такой степени подпавших под это влияние, как Прыгунов, среди них он не встречал. Дальман выразил удивление, что столь неподходящий человек был направлен в ГДР для совместной работы с немецким творческим коллективом. Разъясняя то обстоятельство, что сообщает о поведении Прыгунова спустя столько месяцев после отъезда последнего из ГДР, Дальман сослался на свою занятость работой по подготовке выборов в Народную палату (ноябрь 1971 г.) и последовавшую затем длительную болезнь.

1-й секретарь посольства СССР в ГДР Г. Шмаков».

Ну и мерзавец! Думаю, он нагло врал, что он якобы занимался подготовкой выборов, – дела у него тогда, по его же словам, складывались неважно. А вот после «длительной болезни» коллеги, возможно, Дальмана пожалели и вернули на прежнюю должность. И в доказательство своей верности линии партии он и отправил свой донос на меня не куда-нибудь, а в Москву! В

ЦК КПСС!!! Я считаю это событие тоже в какой-то степени небольшим *чудом* – иллюстрацией убогости и безнравственности всей мафиозной коммунистической структуры, по аналогии с раковой опухолью, центр которой намертво укоренился в Москве, а потом своими метастазами опутал весь мир!

Следующий «коммунистический» донос на меня был ещё более смешным, жалким и трусливым. В 1977 году меня пригласили на Международный Ташкентский кинофестиваль и, вероятно, чтобы сэкономить (или украсть) деньги, предложили мне сопровождать в роли переводчика председателя жюри документального кино гражданина Великобритании Стенли Какого-то (фамилии не помню). Это был толстый, круглый, лоснящийся британский еврей, и я был счастлив, что могу продвинуть свой английский, да ещё почти с «оксфордским» произношением. В общем, он был вполне симпатичным человеком, преувеличенно восторженным оттого, что наконец-то попал на родину Настоящего коммунизма! У меня тогда было много хороших друзей в Ташкенте, свободного времени было достаточно, и я ходил вместе со Стенли к ним в гости, в мастерские художников, а однажды я привёл его на центральный ташкентский базар, где в честь нас накрыли грандиозный стол в самом центре базара и каждые пятьдесят минут нам несли всякие угощения, закуски, вино и водку! За время фестиваля мы с ним смотрели несколько фильмов, и я ему их переводил, а однажды я встретил в гостинице моего очень хорошего товарища режиссёра Али Хамраева, который только что вернулся из поездки по горным местам Узбекистана и Киргизии вместе... с гениальным Антониони! Которому он помогал выбрать натуру для будущего фильма! И он при Стенли сказал, что приглашает меня в суперизбранную компанию на *плов, приготовленный специально для АНТОНИОНИ!* Каким-то образом Стенли всё понял и стал слёзно просить меня взять его с собой, потому что *никогда в жизни такого случая у него не будет!* Я уговорил Али Хамраева взять с собой Стенли, и он, поморщившись, согласился. Плов был замечательный, за столом, кроме нас со Стенли, было человек шесть лучших режиссёров и людей искусства Узбекистана, Антониони был в ударе, и я запомнил несколько вопросов к Антониони и его ответов на них. «Есть ли какая-то хитрость в ваших фильмах, о которой вы могли бы рассказать?» – спросил один из режиссёров. «Я беру абсолютно фантастическую историю, но снимаю её так реалистически, что в результате появляется необходимая энергия». «А что вы можете сказать о советском кино?» – спросил ещё кто-то. «В вашем кино актёры всё время то открывают двери, то закрывают. А когда заходят или уходят – то раздеваются, то одеваются, и на всё это уходит очень много драгоценного времени». Это было очень точное замечание. А в течение всего фестиваля я знал, что имею дело с коммунистом, и не позволял себе никаких резких высказываний. И только в один из последних дней, когда Стенли чуть не с умильными слезами сказал мне, что на месте советского правительства он непременно отправлял бы каждого советского человека года на два, на три в капиталистическую страну, чтобы они поняли разницу между социализмом и капитализмом, я не выдержал и расхохотался: «Вы думаете, что каждый советский человек живёт так же, как вы прожили здесь десять дней? Да у нас люди глотки рвут друг другу, только чтобы попасть хотя бы в какую-нибудь Болгарию, а не то что в Париж или в ваш Лондон!» И только из-за этих моих слов этот бездарный, глупый коммунистический урод пишет на меня донос в КГБ, и меня по этому поводу вызывали «на беседу» в первый отдел «Мосфильма»!

В 1972 году на церемонии открытия Алма-Атинского кинофестиваля я сидел на сцене в самом центре президиума, и прямо передо мной произносил свою первую речь Филипп Тимофеевич Ермаш, только что назначенный новым начальником совкинематографии. Он очень волновался, держал руки за спиной, и я видел, как они у него дрожали. «Центральный Комитет Коммунистической партии СССР, – довольно тяжело начал он, – просил меня передать Центральному Комитету Коммунистической партии Кит... Кит... Кит...» В зале наступает мёртвая тишина, и все понимают, что сейчас он может назвать враждебную нам соседнюю страну, до границ с которой всего 300 километров от Алма-Аты! Но Ермаш напрягает все свои силы

и выдавливают наконец правильное слово – «Казахстана», встреченное счастливыми аплодисментами только из-за того, что он не проговорился! И я представлял тогда, как его напутствовали партийные бонзы: «Смотри там, не ляпни рядом с Китаем какую-нибудь херню!..» А на второй день казахская киностудия принимала у себя гостей фестиваля, и актёры сажали вдоль аллеи «именные» деревья. Я тоже лопатой закапывал какую-то яблоньку, и в это время ко мне подошли два молодых мужичка с абсолютно бандитскими рожами, и я решил, что это какие-то бывшие ученики нашей боевой 33-й школы. И, глядя на первого, протянул ему руку: «Здорово! Как дела?» А потом, приглядевшись ко второму, узнал в нём Ермаша. И тут между нами «проскочила искра». Позже у меня сложились прекрасные отношения с первым, который оказался Александром Ивановичем Камшаловым, заместителем начальника отдела ЦК по культуре – партийным «шефом» всего нашего кинематографа. И совершенно противоположные, если можно так сказать, «взаимоотношения» с министром кинематографии Филиппом Тимофеевичем Ермашом. На одном из фестивалей у меня в номере оказался Александр Иванович, мы выпивали, и пьяненький Камшалов требовал, чтобы я с ним был на «ты» и называл его Сашей. К тому времени я написал сценарий по трём рассказам Бунина и решил его ему показать. В Москве по телефону мы договорились, что я приду на Старую площадь и через шестой подъезд поднимусь к нему в кабинет. А накануне мне позвонила моя подруга, недавно прилетевшая в Москву из Лондона, и сказала, что хочет купить мне в «Берёзке» подарок! И на самом деле, она купила мне фантастическую зимнюю финскую! бобровую! меховую! шапку! И в этой самой шапке я прошёл три паспортных контроля на Старой площади, прежде чем войти в шестой подъезд. Там у меня в четвёртый раз проверили паспорт, и, когда я стал раздеваться, ко мне подошёл вежливый майор КГБ и заботливо сказал: «А шапку, Лев Георгиевич, вы лучше в рукав положите». «А что, шапки и у вас воруют?» – спрашиваю. «Бывает. А у вас вон какая!» – ответил майор. В шестом подъезде находились кабинеты только заведующих отделами ЦК КПСС и их заместителей! Камшалов, к примеру, был замом у Шауро (зав. отделом), а по иерархии был начальником министра кинематографии Ермаша! Интересно только, кто больше тырил шапок – завы у замов или замы у завов?!

Я встретился с Александром Ивановичем, и он обещал «порадеть родному человечку». Через неделю меня пригласил к себе главный редактор «Мосфильма» и предложил «связать» три бунинских рассказа «с современностью»: «Посадите вашего героя в московский троллейбус, и пусть он едет по Москве и вспоминает всё, что с ним было!» – «Что с ним было в прежней жизни?» – спрашиваю. Тут он понимает, что сморозил хрень: «Ну придумайте чего-нибудь!..» Со сценарием, конечно, у меня ничего не получилось.

А года через три на очередном кинофестивале я встретил замечательную актрису – талантливую и красивую, с которой несколько лет назад снимался в Одессе. У нас были чисто дружеские отношения, а она к тому же была невероятно смешливой, и я её всегда развлекал. И она меня вдруг просит её спасти! «От чего?» – спрашиваю. «Не от чего, а от кого! От Ермаша!» И она мне рассказала, что Ермаш преследует её на всех фестивалях, а сейчас они с Камшаловым специально сняли в гостинице люкс на том же этаже, где живёт она, и через час ждут её у себя. «А что я должен делать?» – спрашиваю. «Ну, побудь со мной в номере эту ночь!» – «????!!» – «Сыграй роль моего любовника». – «Э... А если я войду в роль?» – «Хочешь стать вторым Ермашом?» Я ей сказал, что она играет с огнём. Я тогда уже понимал, что Ермаш закомплексованный и злопамятный партийный работник откуда-то с Урала. (Чуть позже я узнал, что он родился в *Кашиновом* уезде Екатеринбургской губернии!) «А, так это ты боишься?» – обрадовалась артистка. – Мне-то плевать! Я уезжаю за границу».

У меня появился азарт. Я вспомнил, как дразнил своего директора-гэбиста на советско-румынском фильме «Туннель». Правда, результатом был его феерический донос в КГБ, где он меня обвинял буквально во всех грехах. Но тут с Ермашом меня зацепило: сам министр! Да ещё свидетель – Камшалов! Я прекрасно знал, что дежурный по этажу на меня наступит,

и мы устроили целый спектакль: из её номера заказали две бутылки шампанского, фрукты, всякие сладости и стали ждать. Когда раздался звонок и я убедился, что звонит Ермаш, я заговорил с ним на румынском языке – слава богу, тогда я его ещё помнил. Он положил трубку, а актриса хохотала до слёз. Как раз в те годы я всё время снимался на студии «ДЕФА» и роли свои играл на немецком языке, так что, когда Ермаш позвонил во второй раз, я его спросил на немецком, что ему от меня нужно. Должен сказать, что тогда я даже пытался говорить с берлинским акцентом, который придаёт речи очень важное звучание, и наша артистка чуть не завизжала от восторга! Ермаш, конечно же, её хохот услышал и снова бросил трубку. И я потом всё время думал, что, не засмейся она тогда, моя жизнь могла бы повернуться иначе. А я обнаглел настолько, что, когда раздался третий звонок, с удовольствием заговорил на английском, и вдруг услышал слова Камшалова: «Лёва, перестань дурачиться и приходи к нам со своей красавицей!» Я передал жестами и знаками его приглашение, но она категорически замахала руками, и я ему сказал: «Дорогой Александр Иванович! Спасибо за приглашение, но мы никак не можем прийти – у нас Любовь! Love! Ашоге! Liebe!» Камшалов, естественно, поделился моими словами с Ермашом, и все последующие годы вплоть до перестройки меня везде доставала «мохнатая лапа Ермаша»: мне до неприличия долго не давали высшую категорию (40 рублей за съёмочный день!), а за так называемые творческие встречи от так называемого Бюро пропаганды советского искусства мне милостиво платили самую низшую концертную ставку 9 рублей 50 копеек за выступление при полном зале на 900 зрителей и при стоимости билета 1 рубль – 1 рубль 50 копеек! И к тому же несколько раз до меня доходили слухи, что меня в той или другой роли «не советовал» снимать Ермаш! Но самым жалким поступком министра, показавшим его полное убожество, был следующий: его сын – режиссёр Андрей Ермаш утвердил меня на главную роль в своём фильме. Генеральный директор «Мосфильма» Николай Трофимович Сизов (бывший в это же время – какое совпадение! – заместителем Ермаша в Комитете кинематографии) его выбор одобрил, и я был официально и документально утверждён! Но вдруг выясняется, что министр кинематографии – отец режиссёра! – снял меня с роли! Я часто думаю: как страшно иметь над кем-нибудь ничем не ограниченную власть и пользоваться ею, потакая своим ничтожным комплексам и капризам! И сколько подобного преступного и подлого безобразия происходило в СССР в тридцатые-сороковые годы! Правда, заканчивались они, к несчастью, намного трагичнее.

И вот, наконец, забавная и поучительная история, которая поставила жирную точку в наших с ним отношениях. В начале девяностых годов в Москве появился очень богатый человек из Азербайджана – Исмаил Таги-Заде, сделавший первые миллионы, как тогда говорили, на торговле цветами в столице. К тому времени весь наш кинематограф «рухнул», «Мосфильм» был разворован, пять тысяч человек, работавших на киностудии, остались за бортом, а наш Театр киноактёра, в котором я тогда работал и даже был членом Совета театра, остался без «государственной и студийной поддержки». И Таги-Заде, очень любивший советский кинематограф, стал платить нашим «крепостным актёрам» зарплату из своего собственного кармана! В это время он прибрал в свои руки весь кинопрокат новой России и, чтобы «поставить его на ноги», пригласил помощниками в свою «контору» трёх самых влиятельных людей советского кино: бывшего министра Ермаша и его двух заместителей – Павлёнку и Сизова. И однажды народная актриса СССР Зинаида Кириенко (бывшая тогда нашим директором) пригласила меня сопровождать её «для весу» ко всемогущему Таги-Заде выбивать деньги на очередную зарплату!

Он встретил нас с распростёртыми объятиями, угостил французским коньяком и спросил нас, что мы будем пить – чай или кофе. Нажал на какую-то кнопку, и в кабинет подобострастно вошёл... Филипп Тимофеевич Ермаш! Оказалось, он был у Таги-Заде ещё и секретарём! Я больше всего боялся, что Ермаш увидит на моём лице малейшее подобие злорадного выражения, и поэтому разглядывал его исподлобья. Он точно меня узнал, но виду не подал. А

через десять минут «мохнатая лапа Ермаша» аккуратно поставила передо мной подстаканник с чаем. И я, с искренней любовью глядя ему в глаза, проникновенно сказал: «Спасибо вам, Филипп Тимофеевич!..» Хотел добавить – «за всё!..», но, слава богу, остановился.

* * *

В середине семидесятых годов я познакомился с удивительным актёром и человеком Владиславом Дворжецким, с которым мы стали друзьями. Его грандиозный успех в фильме «Бег» и во многих других фильмах никак не повлиял на улучшение его «образа жизни»: он, как и я, был приезжим и до последнего дня пытался наскрести достаточно денег, чтобы купить хоть какую-нибудь кооперативную квартиру. Такое отношение к актёрам было возможно только в нашей самой передовой «стране победившего социализма»! В 1978 году, ещё не оправившись от недавно перенесённого инфаркта, Влад едет от так называемого Бюро пропаганды советского киноискусства на так называемые творческие встречи в город Гомель и там после концерта умирает у себя в номере. Я был на его похоронах, и когда могильщики опускали гроб с его телом в могилу, она оказалась чуть короче гроба – Влад был высокого роста. Гробовщики сначала пытались лопатами подрубить край могилы, но им это надоело, и они «по-простецки» прыгнули на крышку гроба прямо над головой несчастного Дворжецкого и стали прыжками утрамбовывать гроб, чтобы он влез в могилу! Мы в ужасе заорали и готовы были чуть не разорвать их, а они ещё недоумевали, что они такого сделали. Это было настолько отвратительно, что я до сих пор чувствую тошноту, когда вспоминаю этот случай. И примерно через год я подписываюсь на такое же кровопускание и отправляюсь на концерты от того же самого «бюро», объезжаю пол-Белоруссии и в конце концов оказываюсь в Гомеле! И когда меня заселяли в убогий номер сраной гостиницы, дежурная точно с такой же гордостью, как и нянечка таревской больницы, объявила, что в этом номере умер артист Дворжецкий! Это ещё одно моё очередное *чудо с минусом*.

* * *

В 1973 году я снимался во втором болгарском фильме. Ещё в первый приезд в Софию я познакомился с очень смешным, ярким и талантливым человеком – Тони Радковым-Димитровым, который блестяще закончил Духовную академию, но увлёкся фотографией и кино и остался при академии штатным фотографом. Он, как и я, был неутомимым «ходоком» – мы часами бродили по самым интересным местам города, ездили по выходным в небольшие города на автобусе, а потом шли по горным тропкам в глухие монастыри, где проживали всего-то две-три старушки-монашки, а однажды решили поехать в знаменитый Рыльский монастырь. У меня был свободный день, а на следующее утро в семь часов за мной в гостиницу должна была приехать студийная машина. Мы приехали в монастырь на автобусе, и я всё время удивлялся тому, что мне здесь каждый уголок напоминает моё родное алма-атинское Медео. И когда уже вечером мы разговорились в кафе с очаровательными девушками, Тони сказал, что через десять минут уйдёт последний автобус. Я выглянул в окно и, увидев на стоянке несколько машин, как-то беспечно, точно я на самом деле нахожусь в Медео, сказал, что «мы что-нибудь придумаем». Через пять минут Тони напомнил, что последний автобус уйдёт через четыре минуты! Но разговор с девушками был настолько интересным, что я полностью ощутил себя у себя в Медео, ещё раз выглянул в окно – там стояло уже три машины – и снова отмахнулся. «Последний автобус уйдёт через минуту!» – сказал Тони, и я «проснулся». Мы выскочили из кафе, но автобус прямо на наших глазах уехал. На целую минуту раньше! Я оглядел площадь – она была пуста. Ни одной машины. Оказалось, что здесь нет такси, а первый автобус уходит в восемь утра. До ближайшей станции было восемьдесят километров, а сорвать съёмку я никак

не мог. На наше счастье, дорога всё время шла вниз, и мы с песнями, стихами, шутками и анекдотами кое-как прошли сорок километров – ровно половину пути! Погода была фантастическая – небо сияло россыпью алмазов, и мы разглядывали знакомые созвездия. За всю дорогу мы не встретили ни одной машины, нас ни разу никто не обогнал, и было полное ощущение, что мы с Тони одни на всей планете. И тут я почувствовал, что мои с большим трудом недавно вылеченные суставы заняли знакомой противной болью. И я, глядя на НЕБО, взвыл: «Господи! Пошли нам *кого-нибудь!* Или *чего-нибудь!*» И вдруг через полторы-две минуты – *буквально!* – где-то слева от дороги послышалось тарахтенье машины, потом мы увидели свет фар, и прямо перед нами на главную дорогу выехал старенький «Фольксваген-жук»! Мы заорали, как папуасы, и машина остановилась. Водителем оказался молодой австриец, и мы на трёх языках – английском, болгарском и немецком – объяснили ему мою проблему. Он, смеясь, согласился подвезти нас поближе к станции на двадцать километров, и мы, конечно, были счастливы. Дальше, пройдя километров пять, мы наткнулись на грузовичок, который нас подобрал, и на станции я был в шесть часов утра. В электричке мне удалось поспать полчаса, и к семи утра я был в гостинице. На православного Тони эта история произвела очень большое впечатление, а я уже как-то потихоньку-полегоньку стал привыкать к подобным *чудесам*-совпадениям.

* * *

В 1973 году сценарист и режиссёр Даниил Храбровицкий предложил мне озвучить в его фильме «Укрощение огня» роль Юрия Гагарина, которого по странному совпадению играл мой хороший приятель художник Лавр Лындин, уехавший позже в Италию. Я с удовольствием это сделал, хотя Лавруша, как мы его звали, на Гагарина совсем не походил, и прежде всего ростом – он был на две головы его выше. Ровно через десять лет, 28 августа 1983 года (у меня есть запись об этом странном и абсолютно необъяснимом случае), я решил навести порядок у себя на антресолях. Залез туда и сразу наткнулся на чемодан, который не открывал лет пять. Внутри оказалось несколько brand-new маек T-shirts, которые я давно потерял и о них забыл.

Я выбрал самую мягкую, с очень чёткой фотографией Юрия Гагарина в шлеме и с его словами «Поехали!». Тут же переоделся и, спустившись с лестницы, пошёл в гостиную, чтобы полюбоваться на себя в зеркало в новой майке. В гостиной сидела моя жена Ольга у телевизора, и, когда я открыл дверь, с его большого экрана на меня смотрел улыбающийся Лавр Лындин в шлеме космонавта в роли Гагарина из фильма Храбровицкого «Укрощение огня» и моим голосом спокойно и уверенно сказал: «Поехали!» До антресолей я сидел у себя в комнате, читал какую-то книжку, и мне очень мешал работающий за тонкой стенкой телевизор. Я понимал, что там идёт какой-то фильм, но мне было лень идти в гостиную и его выключить. А до антресолей было ближе, и я решил «сделать дело». И я в который раз вспомнил великую «Книгу Перемен» – «И цзин»: «Все Вселенные уместаются на кончике булавки». Но восторг и ужас в таких случаях появляется от осознания посекундного совпадения! Десять лет назад на съёмках фильма были сказаны эти слова, через пять месяцев они были озвучены мной, лет пять назад была куплена майка с этими же словами, и слова встретились в те полторы секунды, которых достаточно всего лишь для их произнесения!

* * *

В Алма-Ате жил мой друг, очень близкий и очень дорогой мне человек – художник Владимир Безелюк, личность скромная и при этом яркая и необыкновенная. У него ещё с конца шестидесятых была вполне осуществимая мечта – познакомиться с Иосифом Бродским и Сергеем Чудаковым. И я дал слово, что помогу ему в этом. Но в 1972 году Бродский неожиданно уехал, а Безелюк, к несчастью, очень рано умер – до очередного выхода Чудакова из больницы.

Володя всегда говорил тихим, но слышным голосом, с улыбкой и острой, но доброй иронией. Придумывал весёлые детские сказки, которые сам прекрасно иллюстрировал, писал философские и богословские трактаты, и понимание Бога было у него особое, своё. Но самым ярким был его талант фокусника-манипулятора. Он заранее и незаметно «заряжал» людей и разные места в любой квартире, где он оказывался, и, дождавшись чьей-нибудь просьбы показать пару фокусов, приводил всех в полный восторг своим тихим, мягким и весёлым, как он сам, искусством. Однажды у наших алма-атинских друзей Марковичей собралась большая компания, а моя сестра пришла с известным академиком-биологом. И когда настало «точное время», Безелюк стал показывать по-настоящему чудесные фокусы, а бурная реакция публики вдохновляла его всё больше. Почти все фокусы были у него с деньгами – монеты летали по воздуху, перемещались с места на место, превращались в сотенные бумажки и т. д. И вдруг кто-то говорит: «Это всё ерунда. А вот могли бы вы из простого пятака сделать золотой червонец?» Как раз в этот день произошло чудесное совпадение: моя мама передала мне на «критический случай» два золотых николаевских червонца из наследства, полученного ей от лучшей подруги. И я тут же незаметно сунул в руку Володи один из этих червонцев. Безелюк совершенно невозмутимо сказал, что это возможно, но потребуется большая концентрация энергии, мёртвая тишина и помощь всей публики: надо, чтобы каждый очень ярко представил в своём воображении этот самый червонец. Володя положил советский пятак на середину стола, дождался полной тишины, пару раз попросив не кашлять и не хихикать, затем на глазах у всех взял пятак, а когда раскрыл ладонь – на ней сиял золотой червонец! У всех полный шок! Володя вытирает со лба «пот», благодарит всех за мощную поддержку, позволяет всем потрогать червонец, а когда очередь доходит до меня, я передаю ему второй червонец. И тут через несколько минут недоумённого и восторженного перешёптывания раздаётся, как на заказ, радостный возглас академика: «Это же всё так просто! Червонец у него был! А повторить этот фокус слабо?!»

Безелюк всегда умел выдерживать паузу и этим притягивать к себе внимание. Наконец он тихо и очень серьёзно сказал: «Это очень трудно. Но возможно. От вас мне потребуется ещё большая помощь. Но в любом случае – получится у нас с вами что-то или не получится – дайте слово, что вы не будете требовать от меня повторить этот опыт ещё раз». Все хором ответили: да, да, конечно! Безелюк положил на стол и пятак, и червонец и потребовал полнейшей тишины. Потом взял со стола пятак, повертел его, показывая всем, и, медленно и очень эффектно открыв ладонь со вторым червонцем, положил его рядом с первым. Все ахнули и долго молчали. Но хитрый Безелюк на этом не остановился. Он был замечательный артист, и я заметил, что он по-настоящему побледнел. Тихим голосом он сказал, что невероятно устал и что ему необходимо восстановить силы. И опять на глазах у всех на место золотых червонцев так же виртуозно положил два медных пятака. Потом сестра мне рассказала, что, когда академик пошёл провожать её домой, они всю дорогу шли молча, и только прощаясь, академик наконец произнёс: «Я всё понял. Это был массовый гипноз».

Умер Безелюк в больнице сразу после не особенно сложной операции – бездарные врачи дали ему двойную порцию наркоза, не стали ждать, когда он проснётся, и отвезли в палату. Так, во всяком случае, сказали мне его друзья и его любимая женщина. А когда я «вернулся» к стихам, одно из первых я посвятил Володе Безелюку. Вот оно:

В. Б.

Мой нежный друг, ты умер, – погоди!..
 Немногих я любил, но ты один
 из самых близких мне по крови – брат, приятель,
 художник, фокусник, богоискатель.
 Зачем же так? Уж скоро тридцать лет,

как ты живёшь во мне! Тебя же рядом нет.
И если уходящие тоскуют
по остающимся, кого они рисуют?
Показывают фокусы кому?
И как они ТАМ молятся ЕМУ?

* * *

«(Без даты). Как много событий, поездок! Двадцать дней Болгария, три дня Москва, пять дней Ленинград, затем снова Москва и, наконец, ГДР!!! *Чудеса*, да и только! Снова Германия, снова манящая и дразнящая Берлинская стена, снова ЭТА ненавистная ЗОНА! Бродский ездил в Бостон специально, чтобы посмотреть “Туннель” со мной, как когда-то вместе с ним, Кристин и Виноградовым в 1967 году мы ходили смотреть этот фильм из квартиры на Новой Басманной в кинотеатр на Садовом кольце – Рейн мне показывал письмо – очень и очень приятно, ничего не скажешь. А через неделю поездка в Германию. Вот она, насмешка судьбы, вот ещё одна мысль, недавно поразившая меня, – любой SPY неизбежно становится double хотя бы потому, что, принимая новые правила игры, меняет свою “химию” – неизбежно начинает любить свою вторую родину! И, вернувшись домой после полного “рассекречивания”, скучает и тоскует по своей потере.

22.07.1974. Со мной в Германии происходят какие-то *чудеса*, а скорее, чертовщина: я пользуюсь “большим успехом” у совсем молоденьких девочек 12–13 лет, и только сейчас начинаю понимать, в чём тут причина. Они в сотни раз непосредственнее и живее своих родителей, давно искалеченных гдээрзовским sozialismus’ом, ещё не задавлены тупым Ordnung’ом и видят (чуют, собаки!), что я “одной с ними крови”. К тому же созревают они очень рано. В один из прошлых моих приездов всю нашу группу большим автобусом повезли в Тюрингию на юг Германии, и ко мне “вполне дружески” прилепилась 12-летняя дочка директора картины – я её развлекал, она смеялась, и все вокруг вместе с нами и папой-директором радовались нашему веселью. Какую-то часть дороги мы ехали ночью, и все задремали. Маленькая Ева сидела рядом со мной и, уткнувшись в мой локоть, заснула. Заснул и я. Как я потом понял, она только этого и ждала – я был разбужен её горячими и торопливыми поцелуями! Это было нечто, но я так испугался, что не успел насладиться райским блаженством и с большим трудом оторвал её от себя. Слава богу, никто ничего не видел. А потом весь день она меня дразнила. Но бог мой! ЧТО БЫЛО ВЧЕРА!!! Вот ещё один знак! Мало того, что я в один день родился с Владимиром Набоковым, мало того, что, не зная ничего о его существовании, с детства стал ловить и расправлять бабочек, а с девятого класса по ночам писать рассказы! Мне, как и его герою Humbert’у, было бы очень трудно когда-нибудь воспротивиться соблазну, не брось я свой педагогический институт! – ах, эти лепесточки-бугорочки, эти хитрые глазки, эти заигрывания и подмигивания! Здравствуйте, Владимир Владимирович! Да здравствует Лолита! Привет вам, старина Шекспир! Салют, Сергей Иванович Чудаков! (Где ты сейчас, шери?! В какой тюрьме? В какой психушке?)

И какая вчера была фантастическая сцена с маленькой Zig’oft всё на том же Weissen See! Какое было купание! И как хитро, как ловко, чуть не на глазах у матери, она стащила с себя трусики и подставила себя, голенькую, прямо к моему носу, к моим вылупленным глазам – вот она я, любуйся, ведь тебе именно этого хочется?! Но, честно говоря, ей, кажется, хотелось этого намного больше, чем мне.

А сейчас я понимаю – *Чудо* случилось, когда я бросил свой педагогический институт! Бог мой! От каких только немыслимых страстей, ошибок и провокаций спасла меня тогда Судьба!»

* * *

В 1976 году я снимался во второй главной роли в фильме режиссёра Павла Чухрая «Ты иногда вспоминай» по замечательному сценарию Владимира Кунина. Самую главную роль играл Николай Афанасьевич Крючков – один из величайших актёров Советского Союза. Когда фильм вышел на экраны, я встретил в Госкино Никиту Михалкова, с которым у меня тогда ещё были приятельские отношения, и он мне сказал: «Видел плохой фильм Чухрая, но вы с Крючковым хороши!» Вся беда была только в том, что Павел Чухрай из своего первого фильма непременно хотел «создать шедевр»! Ночами он переписывал крепкий, немногословный, «мужской» сценарий Кунина и на каждую съёмку приносил свой «развёрнутый и улучшенный» вариант сцены, который всегда оказывался раза в четыре длиннее и раза в три хуже оригинала. Крючков приходил от этого чуть не в бешенство, а я только недоумевал, как Паша собирается монтировать свой будущий фильм?! Кончилось всё очень печально: из мощного, сдержанного, по-настоящему мужского материала получилась какая-то беспомощная иллюстративная хрень. И когда в Ленинграде я встретил Володю Кунина, по чьему рассказу был им же написан сценарий, то он признался, что после просмотра «своего» фильма он плакал от отчаяния! Натуру мы снимали в сказочном – тогда! – Таджикистане, а павильонные съёмки проходили на киностудии «Мосфильм». И в самый первый день съёмок на «Мосфильме» у входа во второй павильон я сталкиваюсь с прелестной обаятельной молодой девушкой! Мы переглядываемся, и в этот момент мой мозг говорит мне стальным, громким голосом: ЭТО ТВОЯ ЖЕНА! Бог мой! Всего два года назад мы с женой довольно болезненно развелись, но, к счастью, остались друзьями – у нас рос замечательный сын, в котором мы души не чаяли. А тут – ещё одна жена! Оказалось, что эта девушка – помощница режиссёра на нашей картине! И её зовут Ольга! Именно тогда я каждую ночь по два-три часа проводил в тибетских медитациях, и при встрече с ней впервые услышал этот странный, нечеловеческий голос! И каждый раз, когда я встречал её в коридорах студии или в студийном кафе, в мозгу то ли вспоминалась, то ли снова произносилась металлическая фраза: «Это твоя жена». Но – уввы! – она была приветлива, смешлива, но недоступна. Позже всё объяснилось – на студии обо мне ходило столько чудовищных, прямо противоположных и нелепых слухов, что молоденькая девушка (на 16 лет младше меня!) и всего три месяца проработавшая «в самом пекле разврата», как считали убогие советские лицемеры, шарахалась от меня, как от чумного! Но ДАО (Путь!) вело меня «верной дорогой»! Было ещё целых два фильма, в которых мы с Ольгой работали вместе, и в 1983 году в конце съёмок фильма «Блитающий мир» она сдалась, и мы ФАНТАСТИЧЕСКИ прожили уже почти сорок лет. У меня есть несколько стихов, посвящённых моей любимой Оленьке, и я хочу поделиться одним из них:

Глухо падают яблоки с веток,
лунной ночью в саду благодать!
Отовсюду загадок-приветов
я пока не могу разгадать.
Всё беременно
Красотою —
тени, небо в алмазах, сарай...
Вспоминаю с единственной ТОЮ
мной потерянный в юности Рай!
Отчего ж я блаженным поэтом
в лунном свете полночи пою?
Оттого, что с единственной ЭТОЙ

я полжизни скитаюсь в Раю!

* * *

Однажды во время очень успешного сеанса моей тибетской медитации я «прожил» длинный и почти непрерывный кусок своей предыдущей жизни – я очень чётко видел нары в довольно большом бараке и как я готовлюсь крошечной ночью к какому-то очень важному делу: собираю какие-то вещи в мешок и с ним выхожу в ночное пространство, знакомое мне досконально. Раньше я видел много моментов, как я перевожу тачки с камнями, и ощущал палящую жару. В своих самых первых сеансах «воспоминаний» я видел роскошные залы, «вкусные» столы, красивых дам, слышал джазовую музыку... А потом всё сменилось какой-то войной, оказавшейся чуть позже испанской, и я видел сверху свои до блеска начищенные офицерские сапоги и в руке держал маузер – это я запомнил больше всего, потому что люблю оружие. Я слышал испанскую речь и в медитации даже понимал смысл сказанного, хотя испанский язык я не знаю. Ещё были невероятно чёткие картины палат громадного госпиталя с очень высокими потолками (позже я понял, что госпиталь находился в католическом храме). Там я несколько раз кого-то искал, а потом наконец нашёл – это была молодая и очень красивая девушка, которую я выносил из госпиталя на руках. А уже дальше пошли вагоны с набитыми до отказа наголо остриженными мужиками, товарные поезда и снова вагоны, вагоны, вагоны... Последний сеанс из этой серии закончился неожиданно: я готовил побег из лагеря и в полной темноте полез в кузов грузовика, но какой-то высокий офицер в длинном плаще неожиданно схватил меня сзади и швырнул в канаву. Он что-то злорадно кричал, а потом два раза выстрелил мне в лицо! И я, сидевший у себя в постели в позе лотоса, почувствовал мощный удар по лицу, который откинул меня назад, и я ещё ударился головой о стенку! И тут же, конечно, «пришёл в себя». В моих последующих тантрийских медитациях я каким-то образом доходил до очень чётких, но кратковременных картинок из множества своих прежних воплощений, и ТАМ я узнавал всех, но, когда возвращался в мою нынешнюю жизнь, я помнил только странные, никогда не виденные раньше «декорации». И через каких-то тридцать с лишним лет, когда из моей башки стали буквально вылезать то, что можно называть стихами, у меня появились на эту тему вот такие два «опуса», подтверждающие мою *абсолютную* веру в теорию реинкарнации:

Лица

Бывают ночи – попадаешь в круг
такого же, как Бездна, мироздания,
какое окружает нас. И вдруг
как будто преломляется сознание.
Внезапно, как в тумане, как сквозь сон
перед глазами падает страница,
и сквозь потусторонний странный звон
ты различаешь возникающие лица.
Вот офицер с Георгиевским крестом.
А вот старик. Вон юноша в доспехах.
Монах-китаец, женщина с лицом
испанского шестнадцатого века...
О, как они внимательно глядят!
Без выраженья, пристально и строго.
Чего-то ждут? И что они хотят?

Ответа? Удивления? Восторга?
Я вас узнал, *вместилища* мои!
И понял ваш вопрос! Нет, я не предал

ни одного из НАС! И все бои
веду в самом себе! А наше кредо —
принять всё то, что было и грядёт,
как **ЧУДО**, нам ниспосланное Богом,
я пронесу сквозь каждый день и год
и Духом буду крепнуть с каждым годом!
Дурного совершил я сколько мог
Невольно, хоть жестоко, может статься.
И если в судный час помилует Нас БОГ,
то с Вами, ЛИЦА, я смогу обняться!

Подарки
В какой-то вчерашней, позавчерашней,
советской, греческой, македонской,
в какой-то далёкой, нелепой и страшной
жизни – египетской, вавилонской —
меня убивали и в лоб, и с флангов —
мечами, дротиками, стрелами, пикой...
Но и я убивал! В смертоносных фалангах
я был впереди, и Александр Великий —
мой Бог, мой Вождь, потомок Геракла —
дарил мне золото и диаманты!
А я боялся лишь яда или теракта,
особенно в Индии и в Самарканде.
Или вот: я – Верховный Жрец в Древнем Египте:
умирая, Фараон – «Владыко Вселенной» —
дарит мне место в своей пирамиде.
Пришлось в сорок лет вскрывать себе вены.
И будто вчера я таскал пулемёт в Испании,
а потом в Кызыл-Орде – тачки с рудой в знойном июле.
Умирал равнодушно, без страха, без паники,
получив от чекистов в подарок две пули.

Я очень хорошо запомнил суть своего палача в моём медитативном сеансе, и через какие-то полгода я встречаю этого человека в Доме кино! Мне показалось, что он меня тоже как-то странно узнал, и каким-то образом мы разговорились, а потом даже стали приятелями. А позже «знающие люди» мне сообщили, что он стукач! Он оказался человеком забавным, а его оскал, когда он смеялся, был точно таким, каким я его запомнил во время моего убийства в моей медитации. И лично у меня нет никакого сомнения, что он являлся перерожденцем моего палача из прошлой жизни! У меня и об этом есть стишок:

Как же мне повезло в этой жизни!
Возможно, за счёт предыдущей?
Кто пытал меня в прежней?

Убивал и закапывал в яме?
И нашёл ли я их? Я, за ними идущий?
Да, нашёл. И узнал. Но мы стали друзьями.

* * *

В конце семидесятых я познакомился с человеком, организовавшим группу, в которой я стал заниматься боевыми восточными искусствами, преимущественно китайскими – ушу и тайцзицюань. Это полностью соотносилось с моей «восточной ориентацией». Года через два-три я стал более или менее «продвинутым» бойцом. Но больше всего мне нравилась тайцзицюань, и где бы я ни был, я всегда делал так называемую форму тайцзи-школы «семейства Ян» – дома, в путешествиях, на съёмках и даже на концертах за кулисами, пока на экране шли мои ролики. Когда я приезжал в Алма-Ату, я уходил в Ботанический сад, а когда жил в горах на даче сестры, то поднимался на большую гору, где была удобная площадка, и там с удовольствием тренировался. Внешняя суть этой «формы» заключается в несколько десятков позиций, плавно перетекающих одна в другую. Внутренняя – медитативная – ментально слиться с Небом – энергией Ян и с Землёй – энергией Инь. И много разных хитрых штучек, связанных с энергиями Ци и Цзинь. Однажды днём во время тренировки к моим ногам с большим любопытством подошла куница, вероятно, даже не представляя, что перед ней находится человек, и я минуты две продолжал делать плавные движения на её глазах. Но стоило мне на долю секунды остановиться, как она тут же исчезла. Иногда я делал «форму» в кромешной тьме азиатской ночи, и один раз чуть не упал в обморок – на моё плечо легло нечто тяжёлое, тёплое и живое, оказавшееся головой чёрной лошади! Но самый удивительный случай произошёл со мной в сочинском санатории, где я нашёл небольшую площадку почти у самого моря, закрытую со всех сторон деревьями, и ходил туда каждый день тренироваться перед сном. Тогда мы занимались ушу и проходили стиль «крысы», где все приёмы были на согнутых коленях, будто ты стелешься по земле, не поднимаясь. И в какой-то момент я почувствовал, что на меня кто-то смотрит! Я повернул голову, продолжая начатый элемент, и увидел, что ровно в метре от меня сидят в ряд четыре здоровенные крысы и смотрят на меня, как на артиста в театре. Когда я приехал в Москву и только начал рассказывать моему учителю, что во время тренировки почувствовал, что на меня кто-то смотрит... «Крысы? – спросил он, смеясь. – У нас в Уссурийске это часто бывало».

* * *

В 1980 году я был утверждён на главную роль в фильме, который поначалу назывался «Колода без туза», – этакий «взрослый» вариант «Неуловимых мстителей». Очень яркий приключенческий фильм киностудии «Ленфильм». И тут происходит почти точное повторение истории фильма Павла Чухрая! И наше Госкино, и дирекция киностудии «Ленфильм», и, главное, режиссёр фильма решают из него сделать «ну очень серьёзную» картину о Гражданской войне и называют её самым что ни на есть идиотским названием: «Без видимых причин»! И надо же! Самые «вкусные», самые яркие сцены были выкинуты, как «недостойные» Великого Дела Революции! Да ещё самодовольный и ленивый режиссёр, уверенный в том, что уж теперь-то его *точно* ждёт Государственная премия! Фильм снимали в городе Выборге, где, несмотря на всю советскую гадость, ещё сохранились кое-какие финские кусочки прежнего Виипуре и главная достопримечательность – замечательный замок, превращённый советскими в женскую тюрьму! Весь город Выборг кишел комарами, и нам объясняли, что это из-за непривычно сырого лета! Мы жили в убогой гостинице и каждый вечер не менее двух часов перед

сном тратили на то, чтобы избавиться от этих мерзких кровососов! Мы били их газетами, и я на своём опыте убедился, что лучше всего их бить газетой «Правда»! Мой сосед – абсолютно просоветский актёр – поначалу воспринимал моё открытие как антисоветский выпад, но потом и он отказался от «Известий» и тоже перешёл на более «надёжную» «Правду»! Главным консультантом фильма был местный начальник КГБ, и однажды он пригласил нашего режиссёра-постановщика, второго режиссёра и меня попариться в настоящей финской бане в Финляндии! Я ему говорю, что, кроме советского паспорта, у меня ничего нет. «Какой паспорт! – ответил он. – У нас договорённость – за каждого нашего мы выставаем бутылку водки, и как только мы уезжаем, приезжают они!» В общем, мы поехали вшестером: с ним было два помощника и восемь (!) бутылок «Столичной» – две для нас и шесть для неведомых финнов! Мы безо всяких проверок переехали границу и ещё проехали километров тридцать по сказочным финским дорогам и в конце концов оказались в райской усадьбе: «открыточный» домик, идеальная чистота и прямо у крыльца – большое озеро с кристально чистой водой! А вся поляна перед домом была покрыта тысячами молоденьких оранжевых грибов-лисичек! Баня удалась на славу, и, когда мы с главным гэбистом вышли на крыльцо покурить, я почувствовал некоторую странность. «А вы ничего не замечаете?» – спросил я его. «А что?» – «Вы помните, сколько сейчас в Выборге комаров?» – «Ну да, и что?» – «А здесь – ни одного!» Он обалдел. «Да, точно!» – «А ведь всего-то мы проехали тридцать километров! Представляете, если бы мы где-нибудь в лесу под Выборгом вышли голыми покурить?» Он молчал, но, видно, в его мозгах что-то зашевелилось. А я уже не мог остановиться и продолжал его дразнить: «Это значит, что вся финская гнусь перелетела через границу безо всяких виз и теперь пьёт нашу кровь! Значит, ИМ у нас больше нравится! У древних китайцев была поговорка: “Подобное притягивается подобным”!» – «И что вы хотите этим сказать?» Я засмеялся: «Да я просто пошутил! И ещё, смотрите – сколько здесь лисичек!» Он обрадовался: «Да они ж дураки! Грибов не едят!» Мы вернулись в парную, но теперь, когда я выходил курить, со мной всегда были два его помощника! И естественно, они меня больше никогда не приглашали париться в финской бане!

* * *

Я продолжал заниматься тибетской медитацией и однажды, 4 ноября 1982 года, сев в поезд Ленинград – Москва, оказался один в купе СВ. У меня была привычная бессонница, и я решил провести свою сессию прямо во время поездки. Вероятно, монотонное раскачивание вагона и стук колёс мне очень помогли, и у меня в голове открылась какая-то несусветная бездна с полётами, встречами со знакомыми-незнакомыми лицами, помещениями, в которых я никогда не бывал и одновременно бывал, и я, прекрасно осознав неожиданную удачу, решил узнать свою Судьбу! И задал САМ СЕБЕ вопрос: «Когда я умру?» И знакомый, стальной, нечеловеческий голос чётко произнёс: «ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ!» Я тут же очнулся и посмотрел на мои часы «Сей-ко». Был ровно час ночи уже 5 ноября. В то время я дружил с художником-декоратором киностудии «Мосфильм» Владимиром Фабриковым – чудесным человеком и профессионалом, но абсолютным материалистом, атеистом, не верившим ни в какие «тонкие миры» и тем более в чудеса. Мы давно решили съездить на моей старенькой «двушке» в село Курышино, расположенное недалеко от Углича, но меня несколько раз останавливали всякие срочные дела. И я ему поклялся, что в эти ноябрьские праздники мы точно поедим в это Курышино, что бы ни случилось! Мы собирались выехать 6 ноября и за два праздничных дня заехать в одну симпатичную деревеньку, где нас всегда ждали очень славные люди. Само село Курышино было классическим примером богатого русского села с большой историей. В селе сохранилось около сорока прекрасных и крепких домов – почти все они были пустыми, поскольку дорога (5 км) в село была чудовищной – туда можно было либо пройти пешком, либо проехать на лошади или тракторе в более или менее сухую погоду, либо зимой или поздней

осенью на машине. Молодёжь этого села все двести лет до революции уезжала на зиму на приработки или в Питер, или в Москву, и все они работали официантами в трактирах и кабаках. Вот почему Курышино было самым богатым селом в этой округе. В центре села стоял большой и уникальный храм XVIII века в стиле русского барокко – почти нетронутый ни большевиками, ни последующими погромами, и мы с первого дня с Фабриковым недоумевали – каким же это образом он ТАК сохранился? Внутри, правда, иконы уже были растащены, но мы всё-таки в самый первый визит в Курышино подружились с церковным сторожем, и после выпитой с ним бутылки он согласился показать нам внутренности храма и всё время извинялся, что ничего уже там не осталось: «Уже было три музейных экспедиции! Всё подчистили!» Зато, когда мы пили чай у него на кухне, я увидел, что некое подобие тумбочки, на которой стояло ведро, было сколочено из ИКОН, причём настолько тёмных и покрытых таким толстым слоем олифы, что у нас не было никаких сомнений – по крайней мере две иконы были старые. Мы предложили сторожу съездить в Углич, чтобы он выбрал в мебельном магазине самый лучший кухонный шкафчик и поменял его на эту старенькую тумбочку! Мы так и сделали. Сторож был несказанно рад. А уже в Москве мы её разобрали, и, на наше счастье, две её стенки на самом деле оказались иконами XVI века! Но у одной были отрезаны ноги, а у другой голова – иначе они «не подходили» по размеру. Мы с Фабриковым «кинули на пальцах», и – очередное *чудо!* – мне попался безногий Моисей XVI века. К тому времени я уже был «мастер» в очистке и реставрации икон, и через пару месяцев я «нарастил» голову Володиной иконе и ноги своему Моисею. И теперь нас в Курышино ждал какой-то неведомый шедевр, как написал нам в короткой записке сторож.

Отказываться от поездки на этот раз было ну никак нельзя! Фабриков принял бы мой отказ как очередную отговорку. А вот сын, которому я рассказал эту историю, стал меня упрашивать ни в коем случае никуда не ехать. И тогда я решил тщательно подготовиться. Машина моя барахлила – ей уже было больше шести лет, и мы с сыном решили её продавать. В середине дня я поехал на станцию, провозился там весь день и выехал оттуда последним. И когда за мной закрылись ворота, я вспомнил, что у меня не работает ручной тормоз! Я достучался до мастера, и мне пришлось отдать ему последние 25 рублей за починку и за позднее время. Мы с Фабриковым созвонились, и я должен был заехать за ним в девять часов утра. Утром я посмотрел в окно и ахнул – дорога была как зеркало! Ночью, видимо, прошёл дождь, а к утру заметно подморозило. И я подумал: «Вот ОНО!» Да я ещё пригласил с собой сына, а Фабриков свою жену! Да чемодан всякого провианта старушкам в Курышино – директор совхоза убрал из села продовольственную лавку, чтобы выжить двух несчастных старух из села и «снять его с баланса»! Но я был предупреждён! У меня впереди было ещё больше суток! Ехали мы очень осторожно и долго. В первую деревеньку мы приехали к вечеру 7 ноября. Нас хорошо встретили и сказали, что дорога в Курышино вполне сносная, и мы, отдохнув и поужинав, решили этой же ночью туда ехать. Я даже успел сделать пару удачных рисунков своего сына. Но когда мы выехали из деревни, лёгкий морозец внезапно прошёл, и моя машина оказалась в каком-то месиве грязи и воды. Я всё время ждал, что она вот-вот остановится, но она, к моему удивлению, всё ехала и ехала! Впереди был мост через речку, дорога на мост шла вверх и была почти сухой. И когда мы оказались на горбатом мостике, я снова почувствовал под колёсами подозрительно-опасный лёд, и сердце моё ёкнуло! Неужели ЗДЕСЬ?! Да ещё мост был без перил! Я попросил всех выйти из машины и благополучно его переехал. Я был счастлив – до Курышино оставалось чуть больше четырёх километров, а дорога по лесу была неезженная и намного суше. Но я ошибся: мы проехали метров двадцать, и моя «двушка» села на брюхо!

Я прошёл вперёд, чтобы разведать дорогу, и понял, что единственный выход у нас один: каким-то образом развернуться и ехать назад. Фабриков побежал в деревню за лопатой и мужиками, с которыми мы только что сидели за столом. А я непонятно зачем вынул из багажника купленную накануне лебёдку. Минут через двадцать прибыл Фабриков с лопатой и уже заметно

выпившими ребятами. Машину мы довольно лихо развернули, я сел за руль и кое-как (меня толкала вся компания) выехал на мост. И тут случилось нечто: как только я оказался на мосту, машина перестала меня слушаться и заскользила по льду прямо к правому краю моста в самый центр. Мне даже показалось, что отказали тормоза. И в тот момент, когда передние колёса повисли в воздухе над потоком воды, я вспомнил про ручной тормоз и резко его потянул! И... машина остановилась и стала балансировать над «бездной»! Первым среагировал Фабриков и, подскочив к машине, встал одной ногой на бампер. И тут же подбежал сын и чуть не со слезами залепетал: «Папа! Папа! Давай мы не будем её продавать!» А когда Лена, жена Фабрикова, вспомнила о лебёдке, деревенские богатыри заменили Фабрикова, и он очень быстро зацепил крюком лебёдки за крюк для прицепа моей «двушки» и побежал крепить лебёдку к ближайшей сосне. И в этот момент я машинально посмотрел на фосфорный циферблат моей «Сейки». Был ровно ОДИН ЧАС 8 ноября 1982 года!!! Обратно машина почему-то не ехала, и её толкала вся наша компания, а когда мы в избе допивали оставшуюся водку, ребята сказали, что глубина под мостом четыре метра! И мне никаким образом не удалось бы открыть дверь машины на такой глубине, и вряд ли кто-нибудь смог бы мне помочь!!

* * *

Весной 1984 года в Москву приехала большая американская телевизионная группа «Пётр Великий», и меня утвердили на самую «длинную» русскую роль – князя Меншикова. В сценарии, который был полностью готов к тому времени, мой герой был занят в тридцати шести сценах! На главную женскую роль была утверждена Анастасия Вертинская, и в «штабе» «Петра Великого», который обосновался в недавно построенном отеле «Космос», нам с Настей торжественно объявили, что компания WARNER BROTHERS единодушно и безоговорочно утвердила нас на эти важные роли! А на меня за три дня даже сшили роскошный костюм. До конца подготовительного периода ещё оставалось около месяца, и мы с Настей были свободны от всяких тревог и ожиданий. В день нашего «утверждения» Настя мне сказала, что в честь такого события Олег Ефремов приглашает нас двоих в ресторан Дома кино на Праздничный Ужин!

И ужин, и Настя, и Олег Ефремов были неописуемо блистательны, и я никогда не забуду этот по-настоящему Праздничный Ужин с мечтами и иллюзиями, которые через две недели были разбиты в пух и прах Пятым отделом КГБ! КГБ снял с двух главных ролей американского сериала русских артистов – Анастасию Вертинскую и меня! Меня понятно – часть съёмок проходила в Австрии, а я был навсегда невыездной, но Настю-то за что?!

К счастью, режиссёр Булат Мансуров, у которого я уже не раз снимался, предложил мне главную роль «главы города» Лосева в трёхсерийном телевизионном фильме «Картина», и вскоре началась очень серьёзная работа – мой герой был почти в каждом кадре. И на этой «Картине» у меня произошло одно из очередных *уникальных чудес*.

Я много лет был завсегдатаем кафе «Националь», куда очень часто приходил замечательный актёр Ролан Быков в окружении прелестных молоденьких студенток-актрис самодеятельного театра МГУ, который находился в квартале от «Националя» в здании филологического факультета. Ролан был руководителем этого театра и несколько раз приглашал меня за свой большой стол. К тому времени я снялся в нескольких успешных фильмах, и ему, вероятно, было приятно показывать молодым актрисам «своих друзей». Ролан был феерический рассказчик, и каждый вечер был его настоящей «творческой встречей со зрителями». Я же всегда молча восторгался его шутками и по-«ницшеански» тренировал свой глаз, любуясь его молоденькими актрисами. И пару раз я уходил из «Националя» с какой-нибудь девушкой, так и не сказав ни слова. Иногда я ловил на себе его острые и злобные взгляды, иногда – любопытные и недоумевающие: что это за фрукт, что за насекомое? Я ему с удовольствием подыгрывал, мне

всегда нравилась такая игра в поддавки: если тебя недооценивают, значит, ты получаешь хорошую фору и тогда время работает на тебя. В конце концов он меня люто возненавидел и лет пятнадцать со мной демонстративно не здоровался. Я, естественно, отвечал ему тем же. В один из свободных дней на съёмках в «Картине» я по каким-то делам оказался на «Мосфильме». И тут вдруг в фойе Ролан Быков кинулся ко мне чуть не с объятиями. Вот мои старые записи:

«13.08.1984 (Новгород). Мрачные мысли, безнадежные бессонницы, убитые нервы – я чувствую, что таю на глазах. За неделю я потерял в весе больше восьми килограмм, уже неприятно сниматься: костюм висит, как на скелете. В голове вертится странно-неприятная встреча с Роланом Быковым, который, непонятно почему, то умильно, то с трудом скрываемой ненавистью смотрел на меня, расспрашивая о “секретах” моего хорошего самочувствия, и мне уже тогда стало не по себе. У меня полное ощущение, что именно он меня “подрезал”! Как говорится, сглазил. А я всё никак не могу найти противоядие. Да ещё ежедневные съёмки изматывают меня невероятно. А может быть причина в них, и я оговариваю несчастного Р. Б.? В какой-то момент нашей встречи на “Мосфильме” он вдруг стал необыкновенно ласков со мной и даже разоткровенничался: сказал, что уже года четыре как не пьёт и старается мало курить. А я тоже расслабился, рассказал ему об особых буддийских и даосских упражнениях, и мы расстались добрыми друзьями.

15.08.1984. Снимаюсь через силу – чувствую себя всё хуже и хуже. Завтра выходной, надо вызывать доктора. Ощущение собственной безнадежности полностью совпадает с безнадежностью России. Вот “генеалогия” современного советского человека, или искусственный отбор по Дарвину-Ленину: а) Первая мировая война (которую Ленин страстно приветствовал) – гибель массы русских людей (700 000 солдат и офицеров, наверняка не самых худших); б) революция, гражданская война (14,5 миллиона с обеих сторон), голод (5,5 миллиона – и это *советские цифры!*); в) год “Великого перелома” – начало экспериментов Мичурина-Джугашвили – раскулачивание, коллективизация, индустриализация и т. д., где лучшая часть рабочего класса и крестьянства (самая активная, работающая и продуктивная) истребляет друг друга жестоко и до конца; г) “строительство социализма” на костях оставшейся (в любом случае лучшей) части миллионов осуждённых и загубленных на “Великих стройках” – бесплатная “рабсила”!; д) концентрационные лагеря, унижения, издевательства, пытки и – самое зловещее – тотальный террор, и результат его – СТРАХ, который проник на века в каждую клетку КАЖДОГО советского человека! Мы много говорим о загубленных, о жертвах, но почти не вспоминаем палачей, мародёров, садистов, трусов, вертухоев, хамов, лжесвидетелей и демагогов – вот кто выживал, процветал и усиленно размножался в те жуткие времена! И, наконец, гибель более тридцати миллионов людей во время Великой Отечественной войны – тут уж молотили и тех и других. Но всё-таки скорее погибали лучшие. Так кто же остался? Кто выжил? Смелые? Честные? Открытые? Чистые? Сильные? Здоровые? Умные? Благородные? Увы! Выжили в основном особи, обладающие качествами противоположными. И поэтому никто не может даже предположить, какие катастрофы нас ожидают в будущем.

18.08.1984. Позавчера я с ужасом ждал ночи – было такое ощущение, что я вот-вот должен умереть. Вечером взвесился в гостиничном медпункте и пришёл в ужас: потерял ещё пять кг! Стал вспоминать “Тибетскую книгу мёртвых” – “Бардо Тхёдол”. И вдруг ярко перед глазами “выплыло” лицо Р. Б. Это ОН меня “проткнул”! И именно тогда, когда я стал доверительно рассказывать ему лучшие восточные упражнения. Зато я тут же вспомнил даосскую практику изгнания “лис” и “бесов”, которые в тебя влезли. Около часа я сначала с большим трудом, но потом всё успешнее и успешнее “входил” в нужное состояние и в какой-то момент почувствовал необъяснимый внутренний толчок и затем необычайную лёгкость и мгновенное излечение! Я заснул как убитый, а проснулся здоровым, радостным и с диким чувством голода. Я выжил! Я изгнал из себя “беса”!!! Но самая фантастическая новость ждала меня сегодня утром: из Ялты прилетел актёр Букин и рассказал, что два дня назад в 12 часов ночи (как раз

в момент моей медитации) перед закрытием ресторана в гостинице “Ялта” Ролан “развязал”, устроил дебош, побил посуду, мебель, оказался в милиции, а на следующее утро мэр города Ялты объявил его “персоной нон грата”. Очередное **ЧУДО?** Или ДАО?! Хотя, возможно, это простое совпадение?... – Не знаю, не знаю... Может быть...»

* * *

Когда я остался с сыном один, мне пришлось довольно туго – надо было оплачивать две квартиры, ко мне приехала мама, сын быстро рос, и мне время от времени помогал мой друг Роман Каплан, открывший в Нью-Йорке известный ресторан «Самовар». Если кто-то из его знакомых американцев собирался ехать в Москву, Роман давал ему мой телефон и свёрток со всякими вещами для сына – джинсы, кроссовки и всякую мелочь. Мы с сыном были счастливы, а я всегда находил время и возил американцев в самые интересные места Москвы и Подмосковья. Однажды в 1981 году он присылает ко мне очень смешную, очень славную и очень энергичную «старушку Ли», с которой мы мгновенно подружились. Она много курила, говорила громким хриплым голосом и однажды призналась, что двадцать лет назад вылечилась от безнадежного алкоголизма (в момент приезда в Москву ей было семьдесят лет). Однажды она увидела у меня журнал National Geographic и спросила меня, выписываю ли я его. Я ей ответил, что мне очень повезло, что он оказался в букинистическом магазине. «А почему ты его не выписываешь?» Я рассмеялся и сказал ей, что это невозможно. «Как?! Ведь здесь нет никакой политики! Это бесправие!!!» Кончился наш разговор тем, что она пообещала выписать мне этот журнал. Я не стал её отговаривать и быстро забыл об этом разговоре. И каково же было моё удивление и несказанная радость, когда месяца через два после её отъезда я получил новенький журнал National Geographic! Правда, торец журнала был вскрыт – гэбисты явно что-то там искали, но это была такая ерунда! И в течение семи лет, пока я получал этот журнал, все журналы были вскрыты с торца! Мы с madam Lee Moog всё время переписывались, или она мне звонила, и мы разговаривали с ней по полчаса. Она приезжала в Москву ещё два раза и заваливала нас с Романом подарками. И журналы всё это время приходили бесперебойно. И вдруг всё резко прекратилось, да ещё Lee не звонила около года, и я понял, что сказка кончилась! Однажды в том же самом букинистическом я увидел новенький National Geographic и тут же его купил. К моему удивлению, внутри журнала были очень красивые раскладные географические карты, и я спросил у продавщицы, почему в этом журнале эти карты? Оказалось, что в каждом журнале, как правило, должно быть три, четыре, а то и пять карт! И я написал «старушке Lee» письмо, где рассказал о том, что журналы уже полтора года не приходят, а те, что были раньше, приходили без карт. Дней через двадцать она звонит и гневно заявляет, что она это безобразие так не оставит и что завтра же *пойдёт к сенатору!!!*

Месяца через два мне приходит большая посылка с двадцатью журналами и с несколькими десятками очень красиво напечатанных карт, каждая из которых относилась по теме к тому или иному журналу! А в 1989 году я получаю от Романа Каплана приглашение и лечу в Америку! К сожалению, я полетел туда один – на разведку – и так соскучился по Оленьке, что улетел домой через четыре месяца. Жил я у Романа Каплана и некоторое время у Lee в штате Вирджиния, два раза по два дня ночевал у Иосифа Бродского, что тоже оказалось **чудом**, поскольку мы не виделись семнадцать лет, и ещё четыре дня в доме у Лёши Лифшица (Льва Лосева) в университетском городке в штате Вермонт. А «старушка Lee» перед моим отъездом узнала, что я люблю Фрэнка Синатру, и пообещала послать мне его альбом. И через полгода она мне пишет письмо, где говорит, что выслала мне большой альбом Синатры с десятью пластинками. Я рассчитывал получить его через месяц, но проходил месяц, второй, третий, а альбома всё не было. Через какое-то время мы с Ольгой полетели в Лондон и пробыли там шесть месяцев. В Лондоне было много маленьких (и не очень) **чудес**. Первым **чудом** был мой первый

заработок на... ВВС! – моей самой любимой запретной радиостанции! В 1990 году в Лондоне было мало русских, и все как-то более или менее знали друг друга. Через несколько дней пребывания в Лондоне меня свели с уже тогда знаменитым Севой Новгородцевым, и он пригласил меня на ВВС на свой «Севооборот». Это была замечательная передача – я сидел в компании трёх весёлых и умных людей, мы пили хорошее вино и болтали обо всём, что приходило нам в голову. И когда передача закончилась, мне вручили за «адский труд» гонорар – девяносто фунтов! И ещё большим *чудом* было то, что жили мы на мою живопись! (Хотя в Лондоне несметное число галерей и буквально миллионы картин.) Иногда мы оставались без жилья и тогда с двумя чемоданами и этюдником оказывались на Paddington Station, где мы знали каждый уголок – это был наш любимый вокзал. В таких случаях я звонил своим английским покупателям, и каждый раз либо нам предлагали жильё, либо сообщали, что готовы купить у меня картину, и тогда мы снимали номер в гостинице!

А однажды, оставшись в очередной раз бездомными, мы с Ольгой сидели в лондонском кафе, и к нам подседа милая русская женщина, которая меня узнала, и мы разговорились. Оказалось, что она с сыном уже два года живёт в Англии, в городе Норидже. Полгода назад она поссорилась с мужем и вечером с сыном ушла из дома на вокзал, где просидела всю ночь. Утром к ней подошли две женщины – работники какой-то социальной службы – и, узнав её историю, отвели её с сыном в городскую гостиницу, где они прожили *бесплатно* два месяца! У неё не было английского подданства – только вид на жительство. И через два месяца ей вручили ключи от двухкомнатной квартиры в новом доме на окраине городка! С сараем! И когда она узнала, что нам негде жить, предложила ехать в Норидж и на время у неё остановиться! Что мы тут же сделали – сели в поезд и через пару часов оказались в замечательном старинном городке с грандиозным готическим собором каких-то средних готических веков. Со мной был этюдник, и я написал очень неплохой этюд, который оставил этой милой женщине. Мы прожили у неё около недели и однажды пошли в городской музей живописи. И тут – новое *Чудо!* В одном зале висели пейзажи, натюрморты и портреты художника конца XIX века. И мы с Ольгой обомлели! Было такое ощущение, что почти все картины были написаны МНОЙ! А когда мы вошли во второй его зал, Ольга ахнула! На стене висел «портрет жены художника», и жена на этом портрете была безумно похожа на Ольгу! Я даже сфотографировал Ольгу на фоне этого портрета.

И ещё немного об Англии. Самыми омерзительными людьми в Англии оказались самые богатые англичане, с которыми мы там встречались. А самыми замечательными – так называемый средний класс. Это люди, которые прекрасно понимают, что они уже никогда не разбогатеют, и получают удовольствие от своей стабильной «средней» жизни. В отличие от Америки – там всё наоборот. Самые замечательные люди, с которыми я там встречался, были в основном богатыми людьми, а весь «средний класс» был вовлечён в Rat race – «крысиную гонку». Вполне интеллигентные люди рассуждают там примерно так: «Надо сначала заработать побольше денег, а потом заняться творчеством». Попадают на более высокий уровень, и «крысиная гонка» у них продолжается до самой смерти. Впервые попав в Лондон, я ничего этого не знал и сразу связался с двумя очень богатыми дилерами и с хозяином модной тогда Roy Mail's gallery, где продавалась советская живопись. Первый (его звали Дональд) мне всё время говорил, что в Лондоне дела быстро не делаются, и я только через четыре месяца сообразил, что он тянет время и ждёт, когда у меня кончится виза. Я ему позвонил и сказал, что одну из двенадцати картин, взятых им на продажу, я не подписал, и он попросил *немедленно* приехать к нему. Жил он в Челси в двухэтажном особняке с приличным садиком и гаражом, где стояли три автомобиля: новенький «Рэндж-Ровер», красная «Феррари» (машина жены) и классический «Роллс-Ройс» какого-то особого года. Когда я вошёл к нему в квартиру, он вытащил из-под кровати связанный верёвкой рулон с моими картинами, и я понял, что все четыре месяца вся моя живопись провалялась у него под кроватью. Я взял картины и сказал, что в его услу-

гах больше не нуждаюсь. И вдруг Дональд стал визжать, кричать, сучить ножками и грозить вызвать полицию. А я радостно ему ответил, что я сам хочу вызвать полицию! И тут с ним произошло мгновенное чудесное превращение! Он как-то сразу успокоился, начал передо мной извиняться, предлагать выпить виски и тут же пригласил нас с Ольгой на вечерний дружеский вечер! Вечером, за ужином я увидел на стене знаменитый офорт Сальвадора Дали «Носорог», и я спросил Дональда, оригинал это или репродукция. «Ну конечно, оригинал!» – сказал он, а мне захотелось посмотреть его поближе. Что-то необъяснимое мне в этом офорте не нравилось, и когда я стал его разглядывать, увидел в трёх-четырёх местах какие-то неуверенные линии, чего у Сальвадора Дали ну никак не могло быть! Я попросил у Дональда увеличительное стекло и альбом Дали, в котором есть репродукция этого офорта. Мне было достаточно трёх минут, чтобы убедиться, что носорог Дональда – *фальшак*! Когда я показал несколько явных несовпадений его офорта с альбомным, он был шокирован. Я, правда, его несколько утешил тем, что он может подать в суд и выиграть дело – в Англии отношение к законам несравнимо серьёзнее, чем у нас! А в конце нашего ужина Дональд попросил меня съездить с ним на следующий день к реставраторше, у которой он хочет купить плафон, написанный Тьеполо. «Каким Тьеполо? – спросил я. – Их двое. Отец и сын». Только дня два назад я любовался картинами Джованни Баттисты Тьеполо – отца Доменико Тьеполо в Национальной галерее. Оказалось, что плафон как раз работы Джованни Баттисты. Я перенёс нашу встречу на послезавтра, чтобы походить по музеям и, как говорится, «набить глаз». Через два дня мы оказались в большой студии этой самой реставраторши, и я увидел «нечто», правда, похожее на среднюю копию XVIII века, о чём я тут же заявил Дональду. И тут повторилась (одна к одному) истерика Дональда: реставраторша стала визжать, кричать, топтать ножками... Понять её было легко – Дональд собирался покупать это «нечто» за 395 тысяч фунтов стерлингов, и какая доля из этой суммы доставалась ей, одному богу известно. И вдруг она, как только поняла, что никакой сделки не будет, совершенно спокойно спросила, чем я занимаюсь. Я ей сказал, что я художник и реставратор, и тут же показал фотографии отреставрированной иконы – это был мой второй после «Севоборота» заработок в Англии (в Лондоне жила моя старая знакомая, которой ещё по Москве была известна моя любовь к иконам). И вдруг реставраторша мне даёт свою карточку и просит обязательно вечером ей позвонить! Я звоню ей, как мы договорились, и она предлагает мне работу! Помочь ей реставрировать портрет королевы Виктории для президента Бермуд, написанный замечательным художником Винтерхальтером! За четыре фунта в час! «Но работать придётся десять часов!» – предупредила она. Я был счастлив. В конце концов оказалось, что я буду работать вместе с молодым итальянским реставратором под её чутким руководством. Итальянцы по праву считаются лучшими реставраторами, и я в этом очень скоро убедился. А реставраторша приглядывала за нами только первые два дня, а остальное время мы работали только вдвоём. И через две недели мы картину закончили. «До чего же она жадная! – как-то сказал итальянец. – Платит всего двенадцать фунтов в час!» А как потом оказалось, эта картина была у неё «в работе» больше двух лет! Ну совсем как моя живопись у Дональда. Через какое-то время я встретил Дональда и его жену на выставке какого-то лондонского художника, и жена Дональда радостно бросилась ко мне: оказалось, что она *мечтает* приобрести одну мою картину! Это был большой и очень неплохой натюрморт с цветами, и я назвал цену: тысяча фунтов. «Я могу заплатить только девятьсот», – сказал Дональд. Думаю, что чутьё его не подвело, мы тогда были на мели. Но каков подлец! И это после того, как я спас его от позора с фальшивым Дали, потери 395 тысяч фунтов, да ещё с моей бесплатной консультацией!

* * *

Через полгода мы вернулись в Москву, и «старушка Бее», как мы её звали, мне позвонила и опять спросила про альбом Синатры. Когда она узнала, что альбома до сих пор нет, она

страшно возмутилась и снова сказала свою грозную фразу: «Я иду к сенатору!» И месяца через два я получаю посылку с альбомом Синатры, где были все десять пластинок, но уже заметно «запыленные» – всё-таки их кто-то слушал больше года! И наконец, по её приглашению мы прилетаем в Штаты, останавливаемся в её доме, и через несколько дней она мне говорит, что созвонилась со своим сенатором, за которого она голосовала, и он хочет со мной познакомиться! И мы втроём едем на машине в Вашингтон, который оказывается совсем близко от Вильямсбурга, где жила Lee. Подъезжаем к громадному зданию Капитолия и там долго идём по коридорам, полы которых покрыты роскошными коврами, а стены увешаны большими музейными картинами мастеров XIX века. И наконец, мы входим в кабинет сенатора, который встречает нас с Ольгой как дорогих друзей! Угощает нас коньяком, виски и лучшими винами на выбор, и мы весело беседуем о перипетиях с National Geographic и альбомом Фрэнка Синатры. Я спрашиваю сенатора, как ему удалось эти операции по возвращению «художественных ценностей» настоящему их владельцу, и он с улыбкой мне рассказывает всю историю. Он связался с американским послом в тогда ещё Советском Союзе и встретился с послом СССР в Америке. И всё время теребил обоих официальными письмами, на которые они обязаны были давать официальные ответы! Вот таким образом я получал драгоценные мне подарки от «старушки Lee»! Думаю, меня тогда хорошо запомнили и наши славные гэбисты, и не менее славные ребята из таможни. *Чудеса*, да и только!

* * *

Другая история, более или менее похожая, произошла в самом начале двухтысячных годов, когда какая-то американская компания пригласила меня на одну небольшую роль в фильм-стоимиллионник Sum of All Fears играть очередного советского генерала ФСБ. Съёмки проходили в Монреале. Через наше агентство я заключил договор на восемь тысяч долларов, но мне надо было летать туда два раза: в начале января и в середине мая. Мы с актёром Александром Белявским летели в Монреаль в самолёте компании Air France первым классом! Жили в лучшем отеле в «люксах»! У меня даже был отдельный вагончик с душем! Это зимой! Каждый день был настоящий мороз – от минус двадцати градусов до минус двадцати пяти! А «бункер Путина» снимался в громадной подземной пещере, где находилась водная станция, питавшая весь город питьевой водой. И пещера эта находилась на глубине двухсот метров, в которую надо было довольно долго спускаться в лифте! И когда закончились зимние трёхнедельные съёмки, я получаю расчётный документ, где мне выписали восемь тысяч долларов! Я решил, что в эту сумму включили мои майские три недели, и, подойдя к исполнительному продюсеру, сказал, что лучше всё-таки майскую половину этой суммы оставить на май. Он рассмеялся и сказал, что в деньгах они не ошибаются. Оказалось, что по закону за съёмки при температуре ниже минус десяти градусов и при глубине глубже пятидесяти метров оплата увеличивается на пятьдесят процентов! Тогда я совсем «обнаглел» и спросил его: «Вы за мой первый класс в самолёте заплатили пять тысяч долларов. А если в мае я полечу эконом-классом, но со своей женой, и мы будем жить с ней в том же люксе, в каком живу я, вы сэкономите больше двух тысяч!» И он взмахивает руками: «Господи! А почему вы сразу не сказали?! Мы бы так и сделали!» И в мае мы с Ольгой летим в Монреаль той же компанией Air France, но не в эконом, а в *бизнес-классе*! Бюджет фильма Sum of All Fears составлял 100 миллионов долларов, и 29 миллионов из бюджета получили два замечательных американских актёра – Морган Фримен и Бен Афлек (примерно по \$50 000 в день! Каждый!). Но зато всего за первый weekend показа только в Штатах фильм получил чистой прибыли 300 миллионов долларов! То есть три бюджета! Вот тут и вертись...

А МЕНЯ сразу после январских канадских съёмок утверждают на Студии Горького на одну из главных ролей в сериале, и в начале февраля мы с тем же Александром Белявским

летим на нашем родном «Аэрофлоте» эконом-классом на съёмки в Ниццу, и там всех актёров и всю нашу съёмочную группу (кроме режиссёра и двух продюсеров, устроившихся в шикарной гостинице) селят в студенческое общежитие, которое открыли после зимы специально для нас. Возможно, в Ницце зимы тёплые, если ты выходишь на набережную из тёплой гостиницы, но в наших убогих комнатах были мокрые стены и, несмотря на жалкие электронагреватели, до самого утра стоял дикий холод. И на следующий день вся наша группа вышла на работу больная! У меня все десять дней съёмок была температура 38–38,5, и только на пятый день наша администрация нашла какую-то русскую женщину, которая когда-то в России работала в аптеке, и нам стали давать аспирин. Оказывается, на всех нас не была оформлена медицинская страховка! А когда в Москве я пришёл в свою поликлинику, мне сказали, что, если бы я пришёл на три дня позже, у меня началось бы крупозное воспаление лёгких. Ну как тут окончательно не стать «русофобом»? Когда-то я написал весёлый стих о российской удивительной жизни:

В России надо долго жить
и как-то умудриться
всё время понемножку пить,
но всё-таки не спиться.
И предпочтительнее врать.
А также постараться
тихонько где-то воровать,
но не провороваться.
В России лучше бы молчать,
а если уж приспичит,
то просто громко закричать —
по-волчьи или птичьи...
А правда — ну её к свиньям!
Будь вечно пьяным, сытым...
Воруй и ври! И к ста годам
ты станешь знаменитым!

Ну, и ещё несколько слов о «русофобии». Когда советские вместе с гэдээровцами за одну ночь построили Берлинскую стену и об этом наглом акте (с точки зрения международного права) утром доложили Джону Кеннеди, он несколько секунд тупо молчал, а потом сказал гениальную фразу: «Какое счастье, что мы на это не способны!» Я не буду спорить, на что способны или не способны американцы, но тогда эти слова он говорил о себе и о своей команде. Думаю, что он был слишком хорош и слишком порядочен для Америки, и, возможно, именно поэтому его и убили. Но его замечательная фраза стала моим девизом на всю оставшуюся жизнь! И теперь, какую бы мерзость или гадость я ни видел в нашей стране или за рубежом, я радостно повторял про себя: «Какое счастье, что я на это не способен!» На самом деле — какой открывается простор для работы над собой, живя в России! Над своим духом, своей совестью, честью! Только знай поворачивай голову туда-сюда или раз в неделю включай наше рвотное телевидение! Или зачитывайся настоящей Российской Историей, желательно изданной до октябрьского переворота! И каждый раз в неподдельном восторге повторяй эту мантру: «Какое счастье, что я на это не способен!» Вот несколько дневниковых записей русского гиганта Льва Николаевича Толстого: «Выехал в 9 (из Петербурга). Противна Россия. Просто её не люблю» (6 августа 1857 г.); «Прелесть Ясная. Хорошо и грустно. Но Россия противна, и чувствую, как эта грубая, лживая жизнь со всех сторон обступает меня» (8 августа 1857 г.). И — забавная запись: «Все славянофилы не понимают музыку!» (15 сентября 1858 г.). Как интересно видеть некоторые параллели, когда читаешь великих классиков! Я когда-то записал в

дневнике: «Люди не понимают, насколько они несчастны – *все мы!*» И – пожалуйста: Л.Н. Толстой: «Людей нельзя не любить: они все, *все мы* так жалки. Ужасно жалки» (Дневник 15 сентября 1858 г.). А самым страшным, самым безнадёжным, самым *безвозвратным* законом, над которым веками неустанно трудилась вся «Немытая Россия» – «страна рабов, страна господ», оказался несокрушимый ЗАКОН ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТБОРА!!! Единственной попыткой воспитать для государства талантливых, умных и благородных (!) молодых людей стала идея основания знаменитого ЛИЦЕЯ в Царском Селе, в котором воспитывались будущие просвещённые министры и государственные деятели! Но России не повезло и в этом неожиданном подарке Судьбы! Большинство лицеистов оказались вовлечёнными в заговор, которым руководил Пестель, и все надежды на «светлое будущее России – парламентской монархии» рухнули! А если бы они не поторопились, всего через каких-нибудь пять лет вся исполнительная власть в стране была бы у них в руках!

Но сколько у нас удивительных, скромных, *честных и порядочных людей*, которые ВОПРЕКИ властям, судам, ментам и гэбистам спокойно и честно делают свое дело и которые стесняются выпячивать себя, чтобы только не вставать в один ряд с наглыми бандитами и проходимцами! И в конце концов мне стало очень нравиться жить у себя в *моей России!* Видит Бог, только благодаря советским гадостям, лицемерию, судебной подлости и, самое главное, бесконечной бездарной пропаганде и самой примитивной, очевидной лжи я почувствовал себя СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ! И даже сочинил по этому поводу стих:

Как просто обрести свободу!
 Не врать, не спорить и не лезть
 из кожи каждому в угоду,
 не знать ни зависть и ни лесть.
 И сторониться лживых сборищ,
 и поминутно понимать,
 что драгоценней всех сокровищ
 лишь то, чего нельзя отнять.
 Не в силах вор, ни государство,
 ни даже смерть к исходу дней
 Души Таинственное Царство
 поганить лапою своей!

А всё безумно просто: любая ложь – маленькая или большая – замещается страхом – маленьким или большим. Который, в свою очередь, замещается ЛОЖЬЮ, но уже большею, чем первая, что ведёт неизбежно к ещё большему страху, что когда-нибудь очередная ложь откроется миру, – и так до бесконечности, превращаясь в гигантский, растущий КОМ лжи и страха, пока люди не находят успокоение и «выход» *во лжи самим себе!* С этого момента они начинают сначала бояться правды, а потом люто её ненавидеть. И этот процесс, запущенный в тёмные времена царей Ивана III и Ивана IV и продолженный в тысячекратной степени большевиками, – самое великое их преступление по отношению к своей стране и своему народу.

И наконец, кое-что из моего собственного опыта. В 1988 году я купил часть нежилого помещения в деревне Чеховского района – бывшей сельской школы постройки 1904 года. 15 июля 1904 года в Германии в городе Баденвайлере умер сорокачетырёхлетний Антон Павлович Чехов, который точно знал о строительстве школы в этой деревне и *наверняка в ней бывал, пока она строилась*, поскольку был инспектором школ всего Серпуховского района. Его знаменитое поместье Мелехове находится в девяти километрах от «моей» школы. А поживи он ещё хотя бы пару лет, он бы ступал по тем же доскам, по которым хожу я прямо сейчас, когда пишу эти строчки. Из одного класса и коридора я сделал загородную мастерскую, но в 1988 году, чтобы

что-то перестроить, нужны были материалы, которых нигде невозможно было купить. И вот с помощью моих друзей я попадаю на приём к их родственнику – начальнику Метростроя (в то время эта должность приравнялась к должности союзного министра!), и он, только благодаря большому благу, подписывает моё письмо с просьбой *«Отпустить мне три кубометра необработанной доски»*. Рядом с моей деревней находился тогда совхоз «Новый Быт» – посёлок городского типа, в котором тогда был один небольшой продовольственный магазин и совсем маленький промтоварный. И это в *советское благословенное время*) А сейчас – невозможно поверить – ПЯТЬ больших супермаркетов! ЧЕТЫРЕ строительных магазина – один больше и лучше другого! И целая куча небольших хозяйственных и продовольственных лавочек, каждая из которых лучше советских двух на весь «Новый Быт»! Вот истинные *чудеса* даже *убогого советского капитализма*) И когда я сейчас со всех сторон слышу вопли безумцев о том, каким счастьем была жизнь в Советском Союзе, я вспоминаю гениальные слова из Евангелия: «Если свет, что в тебе, тьма, то какова же ТЬМА?!»

И совсем недавно я наткнулся на свои старые записи, в которых я тоже нахожу нечто, похожее на небольшое *чудо* и связанное и с моей деревенской школой, и с Антоном Павловичем Чеховым. Летом 1999 года мы с Ольгой жили у себя в деревне Плешкино. И однажды в середине ночи я проснулся от какого-то шума или шороха, который, как мне показалось, доносился со второго этажа из Ольгиной комнаты. И я, абсолютно голый и ОЧЕНЬ сонный, решил проверить, что у неё там происходит, и вышел из своего «класса». А накануне перед сном я решил открыть люк нашего подвала для проветривания, не закрыв НИКАКОЙ ДОСКОЙ зияющую дыру 50х40 см, и, естественно, забыл об этом. И, тоже естественно, расслабленный и с обрывками недосмотренного сна рухнул в эту пропасть глубиной в четыре метра! К счастью (или скорее к несчастью), на дне подвала стояли металлические козлы высотой чуть больше метра, на которые я грохнулся с трёхметровой высоты и попал на них правым бедром прямо поперёк! Я был убеждён, что я сломал бедренную кость, – боль была невыносимой, и я стал одновременно задыхаться и кричать, чтобы набрать хоть немного воздуха, чтобы снова его «выкричать», потому что только таким образом я мог дышать! Ногу, слава богу, я не сломал, но у меня на правом бедре образовался гигантский чёрно-фиолетовый отёк, похожий на кавалерийское галифе, с которым я ходил около года! И за эту глупость – что я не обратился к доктору – мне через два года пришлось жестоко поплатиться. У меня произошло полное отслоение сетчатки правого глаза, я перенёс несколько длительных операций то в одной клинике, то в другой, и после пятой операции я стал просить отпустить меня домой: «Я уже могу читать этим глазом!» Но... «Ну что вы, Лев Георгиевич, ещё две операции, и ваш глаз будет как новенький!» И на следующей операции они мне окончательно угробили мой несчастный правый глаз! Вот запись из дневника: «01.12.2006. Кажется, я окончательно потерял глаз. Мерзость нашей медицины в том, что *никакой или почти никакой* врач (светило той или иной клиники) никогда не признается или не расскажет пациенту, что где-то есть другая техника, другой более современный метод, и скорее угробит своему больному глаз и получит “на лапу” 2500 долларов, чем спасёт несчастного и ни в чём не повинного человека!» А в 2004 году после одной из операций я лежал у себя в палате, читал письма А.П. Чехова, и вдруг в одном из писем (письмо И.И. Горбунову-Посадову, написанное 31 декабря 1894 года) я натыкаюсь на самую интересную для меня тогда тему: «Судя по тому, что письмо написано не Вашим почерком, у Вас болят глаза. Отчего Вы не полечитесь? Глаза лечат теперь превосходно, медицина в этом отношении далеко ушла. По крайней мере от лечения не бывает хуже». Я долго смеялся.

Фантастическая феерия удивительных случайностей и *чудес* произошла в 1988 году, когда моего сына призвали в армию. Я никогда не умел обзаводиться «нужными связями» и страшно переживал, что ничего не могу сделать, чтобы освободить его от этой неволи: к тому времени я прекрасно знал, что служба в Советской армии мало чем отличается от пребывания в лагере общего режима. У Романа был явно выраженный мениск коленного сустава, и един-

ственное, что мне удалось сделать, – это через моих друзей-докторов положить его в клинику, где операции на суставах делал тогдашний знаменитый хирург Башкирцев. Но каким-то образом в клинике Роман проговорился, что он призывник, и его тут же отправили на комиссию, где его, естественно, признали годным. Через два дня после его отъезда в расположение дивизии в город Бердичев у меня открылась выставка живописи в фойе кинотеатра «Повторного фильма», и на её открытие пришёл мой хороший друг со своим приятелем. Выставка им явно понравилась, и они пошли меня провожать домой. По дороге мой друг поинтересовался, как дела у Романа, и я ему сказал, что только что отправил его в армию. «А куда?!» – почему-то очень заинтересованно спросил его товарищ. «В Бердичев», – ответил я, и вдруг оба расхохотались. Оказалось, что товарищ моего друга Ярослав – полковник Генерального штаба – только что вернулся из контрольной поездки в Бердичев в мотострелковую дивизию, куда всего два дня назад я отправил сына! Мало того – они предложили поехать с ними сейчас же в гарнизонную баню, где их ждёт их третий друг, тоже полковник, но *уже назначенный на генеральскую должность командира мотострелковой дивизии* в городе Бердичеве, куда он через два дня выезжает! Я чуть не завизжал от счастья! Вот настоящие **ЧУДЕСА!**

Баня была просто роскошной, будущий командир мотострелковой дивизии оказался замечательным парнем, который с восторгом вспоминал все мои фильмы, и я понял, что жизнь моего сына в армии сделана! Мы договорились, что о «блате» будет знать только его непосредственный офицер и старшина, а за всё остальное я был спокоен – мой сын мог постоять за себя и без «блата». Я ездил к сыну три раза, даже устроил концерт, где показывал свои ролики и веселил солдат смешными стихами моего ленинградского друга Олега Григорьева, а командир дивизии Гена на все праздники и на мои дни рождения всегда отпускал Романа в Москву! В конце ноября 1988 года я снимался в знаменитом голливудском сериале *Head of the Class*, где одну из учениц играла красивая негритянка Робин Гивенс – первая жена Майка Тайсона. В то время я совсем не интересовался боксом и не знал, что в гримёрке прямо напротив меня сидит на полу у стенки в роскошной дублёрке чемпион мира по профессиональному боксу! Я был поражён его невероятно широкими плечами, и, когда мы встретились глазами, я показал ему большой палец. Он ослепительно заулыбался и ответил мне тем же. Во время съёмок с большим количеством актёров всегда много свободного времени, и получилось так, что с Майком Тайсоном, которому было абсолютно нечего делать, мы довольно много времени провели в дружеских беседах. Хотя ему было тогда всего двадцать три года, он оказался очень смыслённым, открытым, добродушным парнем и замечательным собеседником. Я ему рассказывал русские анекдоты, он мне американские, и нам было весело. В это время комдив Гена отпустил сына в Москву, и Роман приехал в гостиницу «Москва», где тогда шли съёмки. Роман был очень впечатлён, когда я познакомил его с Майком Тайсоном, о котором, в отличие от меня, он уже всё знал. И мы даже сделали несколько фотографий со знаменитым боксёром. Свою жену Майк Тайсон просто обожал, и, когда я узнал, что они разошлись почти сразу после окончания наших съёмок, я, честно говоря, недоумевал. Но когда я прочитал в каком-то американском журнале большую статью об их бракоразводном процессе, мне всё стало ясно. На суде она заявила, что Майк Тайсон её бил и даже гонялся за ней – голой! Зимой! (Ноябрь месяц.) *Вокруг гостиницы Москва! С ТОПОРОМ!* И суд за эту *чистейшую* правду о России (так знакомую им в их воображении), а также за восемь месяцев её мучительной жизни с чёрным безжалостным Чудовищем обязал Майка Тайсона выплатить ей четырнадцать миллионов долларов! Я думаю, что актрисе Робин Гивенс ни в каком сне не мог бы присниться такой гигантский гонорар! Потом всю последующую жизнь этого открытого и наивного ребёнка дурачили сотни подобных Робин Гивенс обоёго пола!

* * *

Но эта история добавила моим жизненным чудесам ещё одно маленькое *чудо*. Через два месяца после окончания моих съёмок в американском сериале (декабрь 1988 года) я стоял в длинной очереди у американского посольства с надеждой получить американскую визу. В очереди ходили разговоры, что американцы почему-то в эти дни виз никому не дают. Когда молодой американец в окошке стал просматривать мои документы, он меня спросил: «Вы актёр “Мосфильма”? А вы знаете Богуславского?» Я ему сказал, что он мой хороший друг и что я работал с ним в нескольких фильмах. «Он был директором с вашей стороны на Head of the Class». Я ему ответил, что я там снимался. «Да? Что вы говорите?! И что вы думаете о Робин Гивенс?» Мы говорили на английском, и я ему ответил: «I think she's a whore!». И вдруг он закричал: «Эй! Идите сюда!» И к его окошку подошло несколько девушек и молодых ребят – сотрудников посольства. И он повторил свой вопрос о Робин Гивенс. Я тоже повторил мой ответ, и все они вдруг восторженно заорали, запрыгали и захлопали в ладоши! А парень в окошке сказал: «Я вам даю двойную визу! Может быть, она вам понадобится». И он оказался прав. С этой визой мы очень легко получили через год визу для Ольги.

Наконец в конце февраля 1989 года меня впервые «выпустили в свободную страну», и я полетел в Нью-Йорк, взяв с собой двенадцать своих картин, большинство из которых год назад висело в фойе кинотеатра «Повторного фильма». За месяц до призыва Романа в армию в Доме кино был аукцион картин художников-кинематографистов, и я в нём участвовал: четыре мои лучшие картины висели очень эффектно, а оценены они были довольно низко – самая большая и лучшая стоила 400 рублей. Я на аукцион не пошёл, зная, что буду нервничать, и послал вместо себя сына. Он вернулся очень взволнованный: «Ни одной картины не купили, но они так смотрелись! И какое было оживление!» Думаю, что здесь также не обошлось без «тонких сил»! За четыре месяца жизни в Америке у меня купили одиннадцать картин и очень хотели купить последнюю, двенадцатую, но это был «Портрет Иосифа Бродского», который я вёз ему в подарок. На все деньги, полученные от продажи своих картин, я купил два компьютера, которые у меня в первые же дни купили в Москве два симпатичных предпринимателя. А когда я посчитал, сколько я «заработал» на своих картинах, и сравнил все свои заработки за свои роли, сыгранные в фильмах за двадцать восемь лет в Советском Кино (у меня хранятся ВСЕ мои договоры), оказалось, что за свою живопись, проданную в Штатах, я получил в ШЕСТЬ РАЗ больше, чем за все свои роли! За двадцать восемь лет!!! Хотя по американским меркам они стоили недорого. Самой дорогой картиной оказался мой «Большой натюрморт на красном столе», не купленный на аукционе в Доме кино за 400 рублей и купленный *дилером! В Нью-Йорке! За \$5000!*

* * *

Когда сын вернулся из армии, я переехал к Ольге в Измайлово. И однажды нас посетил Роман и остался у нас ночевать. Утром, пока он, как мы думали, ещё спал, мы с Ольгой на кухне пили чай и вдруг в коридоре услышали какой-то странный шорох. Я выглянул в коридор и увидел, что мой сын на четвереньках ползёт по полу! Я бросился к нему, а он стал меня успокаивать – через десять минут он сможет ходить. Я откровенно разревелся. Оказалось, что в армии ему окончательно разбили ноги, и разрабатывать их ему приходится каждое утро по полчаса!

Через несколько дней мы с Ольгой поехали вечером оплачивать счета – был конец ноября, почти сплошная тьма и довольно ощутимый морозец. И у входа на почту в кустах я увидел лежащую собачку, похожую на лисичку, и мы встретились с ней глазами. Я никогда не

забуду этих *тех* её глаз! Я подошёл к ней и увидел, что одна нога, на которой она лежала, была в крови и полностью примёрзла к асфальту. И в этот момент в моей голове появился странный, но уже знакомый стальной голос-мысль: «Вылечишь собаку – у сына пройдут ноги!» Я стал медленно отрывать её от асфальта – она сильно дрожала, повизгивала от боли и лизала мне руки. Вероятно, у неё началась гангрена, потому что вонь была сильная. Ольгу я отправил на такси домой, а сам повёз собачку в главную ветеринарную больницу. Там врач мне сказал, что спасти её можно только ампутацией ноги, но есть в одной клинике на окраине Москвы доктор, который лечит каким-то своим раствором подобные травмы, да и ампутацию он сделает лучше всех. Он позвонил этому доктору, и я повёз несчастную собачку бог знает куда. Там он сделал ей перевязку – оказалось, что нога была безнадежно раздроблена. Доктор обильно смочил бинты своим чудодейственным раствором и сказал, что ровно сутки её нельзя тревожить, а завтра в это же время привезти её к нему. Все эти сутки бедняжка лежала, еле дыша, а когда я привёз её к доктору и мы открыли её раздробленную ногу, она вся была чёрной, как смола. И доктор сказал, что дело безнадежно. И тут *каким-то чудом* я попросил его ещё раз повторить такую же перевязку, и он с большим сомнением согласился и дал мне бутылочку своего раствора, чтобы я каждый час смачивал им повязку. Целые сутки я занимался только этим и всё время проверял, жива ли она. Когда я привёз её к доктору второй раз и он разбинтовал раздробленную ногу, мы ахнули! Вся громадная рана была розово-красного цвета, и доктор радостно заявил: собачка будет жить! И через месяц лечения, когда я выводил её во двор, она, покачиваясь на трёх ногах, время от времени слабо лаяла на каких-то только ей известных врагов, а четвертая лапа в повязке походила на маузер в деревянной кобуре. Мы её тут же назвали Асей – в честь Аси-хромоножки. Ещё через месяц она была абсолютно здорова, и мы очень скоро поняли, кто раздробил ей ногу, – как только она видела любого мотоциклиста, она начинала яростно на него лаять! А у Романа сразу после выздоровления нашей Аси-хромоножки перестали болеть ноги!

* * *

В восьмидесятих годах я много ездил с так называемыми творческими встречами от так называемого Бюро пропаганды советского киноискусства. И однажды в конце мая я оказался в городе Чимкенте, где уже стояла настоящая азиатская жара, знакомая мне по моей жизни в Алма-Ате. Я вошёл днём в номер гостиницы и увидел на столе большое блюдо с фруктами, которые я купил вечером накануне, – черешню, вишню, ранние яблоки, сливы – всё покрытое густым двухэтажным слоем больших копошащихся муравьёв. А след их, точно караван суперлилипутских верблюдов, тянулся, будто по тракту, к дырке у ванного порога. Причём все муравьи соблюдали «правила уличного движения»: правая полоса шла от дырки к столу, а другая, тоже правая по движению, от стола к дырке. Я в ужасе и панике схватил блюдо, побежал с ним по ИХ тракту в ванную и там, открыв кран (слава богу, холодной воды), сильной струёй смыл всех муравьёв в громадную пустую ванну. И только тут я осознал всю жестокость моего поступка. Я смотрел на весь этот муравьиный потоп, как, вероятно, Господь Бог или ещё Кто-то Там Наверху смотрел на Всемирный потоп человеческий! И перед моими глазами открылся совершенно неведомый мне до этого чудный мир! Бог мой! Какая началась суeta! Какая пошла работа! Какой бы *чудесный* документальный фильм из этой трагической муравьиной истории я бы смог тогда снять!

Живые, непокалеченные муравьи разбились на две команды: одна – «работяги-санитары», которые растаскивали в разные кучки (в одну – мёртвых, а в другую – раненых) и тут же бежали за оставшимися. Вторая команда – «врачи» – начинали «лечить» и «оживлять» жертв непонятно откуда взявшегося бедствия. И я видел, как они «вправляли и разрабатывали» повреждённые муравьиные суставы, заставляли их двигаться, и только убедившись, что

«раненый» приходит в себя, мгновенно бросались к другой жертве и уже с ней начинали абсолютно профессионально, на мой взгляд, возиться. Если же им не удавалось оживить несчастного, они его бросали, и тогда «работяги» оттаскивали его в кучку мертвецов, которая росла на моих глазах. Как же мне было их жалко! Но, увы, сделать я ничего не мог. Больше всего меня поразила слаженность их действий, будто каждый точно знал, как ему необходимо поступать! Никакой паники, никакой суеты. И всё время муравьи из «каравана», который тут же растворился, заменяли «уставших» и «работяг», и «докторов»! И я лишний раз убедился в своей старой интуитивной идее, что всё в нашей Вселенной происходит по некой АНАЛОГИИ, а совсем не по тому, что учёные называют «наукой», которая, в свою очередь, за всю историю человечества десятки и сотни раз опровергала саму себя, чего нельзя сказать о некой АНАЛОГИИ, неизменной во веки веков. И ещё: муравьи в этой ситуации были, как мне кажется до сих пор, намного лучше и сообразительнее людей, попадающих в какую-либо экстремальную ситуацию – будь то война, землетрясение или эпидемия, которую принято сейчас называть пандемией! А сейчас я жалею, что в те времена не было никаких айфонов – какой бы замечательный трагический документальный фильм о муравьином потоке я бы смог тогда снять!

* * *

Я сейчас точно не помню – то ли в 1986-м, то ли в 1987 году я был включён в делегацию с поездкой по Грузии, которая называлась «Декада “Мосфильма” в Грузинской ССР». Мы пять дней ездили в шикарном автобусе чуть не по всей Грузии, и все эти дни со мной рядом сидел замечательный, остроумный, смешливый и достаточно молодой грузин, оказавшийся то ли третьим, то ли четвёртым секретарём Компартии Грузии. Всю дорогу мы обменивались анекдотами, а ещё я читал ему острые и смешные стихи моих ленинградских друзей – Олега Григорьева, Владимира Уфлянда, Иосифа Бродского и Евгения Рейна, и как-то само собой перешли к политике. Наши взгляды и мнения почти полностью сошлись, и однажды он мне сказал, что года через два ОНИ НАС пошлют. И я тут же вспомнил свои последние поездки по Эстонии, Литве, вспомнил Всесоюзный фестиваль в Армении, съёмки в Киргизии и разговоры в Алма-Ате с Олжасом Сулейменовым, моим старым товарищем ещё с 1966 года. Самое удивительное – везде я встречался с довольно влиятельными людьми, и почти все они говорили мне эту же самую фразу! Позже, в 1988 году, я снимался в Азербайджане, и окна моего гостиничного номера выходили на громадную площадь, и я всю её видел со своего балкона восьмого этажа.

«23. XI.1988 (Баку, 21:30). В эти минуты, когда я пишу, происходят самые кульминационные события бакинских волнений. Прямо напротив меня (какая глупость, что я не взял фотоаппарат!) и прямо подо мной вся гигантская площадь объята громадными факелами огня: два костра из пирамид дров высотой в десять-двенадцать метров горят, словно два дровяных сарая, а вокруг них десятки костров поменьше. И десятки тысяч разъярённых людей носятся в истерике между этими кострами! В городе творится что-то невообразимое – все возбуждены и как-то даже весело озлоблены! Но той тупой агрессии, какая была вчера, уже нет.

Вся гостиница набита милицией и гэбистами. Говорят, что в полночь объявят комендантский час, и все в ужасе от того, что может начаться кровопролитие. Во всех случаях я буду самым непосредственным свидетелем этих событий. Слава богу, что очень мало антирусских выступлений, хотя Горбачёва все костерят за то, что он “не может усмирить армян”. Думаю, что армяне его костерят за то, что он “не может усмирить азербайджанцев”. Но пока ничего особенно страшного здесь не чувствуется, хотя мне кажется, что как только солдаты, танки и бронетранспортёры появятся на площади, то в любой момент может начаться нечто ужасное – в Кировабаде уже убили трёх солдат. Если и здесь кого-нибудь убьют, то кровь польётся рекой».

В середине ночи появилось несколько десятков наших БТР'ов и сотни две до зубов вооружённых солдат с металлическими щитами. Слава богу, под утро всё чуть поутихло, а когда в семь утра я выезжал из гостиницы, я спрашивал у солдат, есть ли здесь мотострелковая дивизия из Бердичева – мой сын в армии был водителем БТР'а. Бердичевской дивизии, к счастью, в Баку не было. Но мне уже тогда было абсолютно ясно, что Советский Союз вот-вот рухнет! И когда наши идиоты спорят о том, КТО развалил СССР – Горбачёв или Ельцин, я понимаю, насколько безнадёжно сознание большинства моих сограждан. И мало кому приходит мысль, что СССР был обречён с первого дня его создания, когда больную Российскую империю Ленин и Троцкий расчленили на пятнадцать республик-государств! А Сталин, как настоящий сатанист, по всей стране заложил мины замедленного действия: «объединял» в одно государственное образование вековых заклятых врагов – уж он-то знал, что происходит на Кавказе, – чеченцев с ингушами, грузин с осетинами и абхазами, кабардинцев с балкарцами и проч. Да ещё депортировал татар и чеченцев (вернее, стариков, старух и малых детей – мужчины все были на фронте!), прекрасно зная, что после его смерти все чеченцы вернуться к себе на родину и бывшие враги начнут враждовать с ещё большей силой!

Но вернёмся в Грузию. Пять дней мы жили в Тбилиси, где я навестил почти всех своих друзей, и у каждого из них я видел на стенах очаровательные городские пейзажи старого Тбилиси, написанные неизвестным мне художником Бояхчяном, работавшим в кукольном театре знаменитого режиссёра Резо Габриадзе. И мне очень захотелось каким-то образом приобрести его работу! Но говорить об этом с друзьями-грузинами было просто неприлично – они бы, конечно, какую-нибудь его работу мне подарили, и я, зная это, постарался об этом забыть. Накануне отъезда из Тбилиси ко мне подошла Лидия Шукшина и сказала, что её, Маргариту Терехову и меня прямо сейчас приглашает к себе в гости Сергей Параджанов! И мы все с радостью к нему поехали. Его старый деревянный двухэтажный дом стоял во дворе, очень похожем на «персонажи» городских пейзажей художника Бояхчяна, и на второй этаж, где жил Параджанов, надо было подниматься по внешней деревянной лестнице. Параджанов был одет очень художественно и эффектно и походил на персидского шаха в нашем приблизительном представлении. Он встретил нас прекрасно – чем-то угощал, чем-то поил, всё время рассказывал какие-то невероятные истории и время от времени «осаживал» Маргариту Терехову, которая его иногда перебивала и пыталась рассказать тоже что-нибудь своё. Через каждые пятнадцать-двадцать минут к нему приходили какие-то молодые люди, чего-то приносили, а Параджанов это что-то забирал и относил за ширму, брал там очередной свёрток и передавал его им. Говорили они на своём языке, но было понятно, что всё время идёт «работа» по купле-продаже или обмену. Параджанов с первого самого момента на меня «как бы» не обращал никакого внимания, а я, зная его ориентацию, был этому рад и всё время рассматривал очень красиво оформленные альбомы-эскизы его прошлых или будущих фильмов. Параджанов был настоящий колдун, причём очень щедрый. В какой-то момент он зашёл за ширму и вышел оттуда с большой уникальной серебряной кружкой XVII века – позолоченной и сплошь покрытой фигурами и горельефами! С большой ручкой и крышкой с фантастическими узорами! Такие кружки я видел только в Эрмитаже и в каком-то берлинском музее. Он передал её Лидии Шукшиной со словами: «Это мой тебе подарок в честь твоего мужика, которого я очень ценил, и твоих очаровательных дочек!» И только когда прошло часа четыре нашей встречи, он как бы случайно посмотрел в мою сторону и небрежно сказал: «Я видел вас в каких-то странных фильмах...» На что я тут же ему ответил: «Да, я снимаюсь во всяком говне. Это моя планида». На что он расхохотался и уже нормально спросил: «А чем вы увлекаетесь?» – «Живописью», – ответил я. «Да? Тогда у меня есть для вас подарок». Он встал, зашёл за ширму и вынес очень простой, чёрно-коричневый, очень красивый старинный глиняный кувшин и... замечательный этюд старого Тбилиси кисти полюбившегося мне Бояхчяна!!! Какой удивительный финт Судьбы! Настоящее **ЧУДО!** А Параджанов на самом деле всегда напоминал мне восточного

колдуна! Но на этом *чудеса* с Бояхчяном не закончились. Несколько лет назад моим соседом по лестничной площадке оказывается один из самых лучших наших кинооператоров Юрий Клименко, с которым я давно был знаком. И в его квартире начинается ремонт. И там появляется очень странный и нелепый человек высокого роста чисто «кавказской» национальности. Встретив Юру, я спросил его, что это за человек помогает ему в ремонте. «Это художник, он сейчас в очень сложном положении, и я уговорил его расписать стены моей комнаты, чтобы дать возможность ему заработать, хотя мне это не нужно, и я потом всё смою». – «А как его фамилия?» – спросил я. «Бояхчян», – ответил Клименко. На следующий день я позвонил в квартиру Юры Клименко, зная, что там работает Бояхчян, и показал ему его работу, *чудом* попавшую ко мне. Он, глядя на неё, сморщился и сказал, что она ему не нравится, но он может её «переписать». Я сразу понял, что с его психикой что-то происходит, и успел выхватить картинку из его рук. К великому сожалению, мне на следующий день пришлось куда-то уехать, и я его больше не видел. Когда мы встретились с Юрой Клименко, он мне сказал, что Бояхчян на самом деле «плох». А позже я узнал, что он так и не вышел из своей затянувшейся депрессии и умер. Но где и как, я не знаю.

* * *

Самые трудные девяностые годы каким-то *чудом* прошли для нас с Ольгой очень легко. Во-первых, тогда не очень много актёров моего возраста могли сниматься на английском языке, и американцы это прекрасно знали. Кроме этого, я попал в замечательную компанию реставраторов живописи, и моим учителем стал один из самых лучших российских реставраторов Сергей Сергеевич Галушкин. И примерно в это же время у меня появился замечательный друг – французский подданный и одновременно русский предприниматель. Он время от времени покупал мои картины, а потом стал коллекционером русской живописи начала XX века. И благодаря ему, а также благодаря очень ценному вниманию и точным советам большого мастера Сергея Сергеевича Галушкина, а также ЕГО ученика – прекрасного реставратора Виталия Кузюбердина – я стал (на время, правда) профессиональным реставратором живописи! Только своему другу я отреставрировал более двадцати картин известных художников, в числе которых было четыре работы Коровина, три Фалька, две лошади Сверчкова и ещё несколько картин менее известных художников. Мой друг десять лет строил под Москвой ликёро-водочный завод и наконец его запустил. Через год ему предложили продать завод за тридцать девять миллионов долларов (он мне называл эту сумму), но он решил ещё «годика два» поработать. А вскоре в центре Москвы в десять часов утра прямо на глазах у прохожих его убили профессиональным выстрелом в затылок из ПСМ с глушителем (пистолет самозарядный малогабаритный с маленькой пулей калибра 5,45х18). Это редкий габэшный пистолет – пуля всегда застревает в центре головы, и никакая операция человека не спасает. К тому же ни одного документа, подтверждающего какое-либо отношение моего друга к владению заводом, «почему-то» не обнаружилось! И его вдова с пятилетним сыном осталась только с его коллекцией живописи, которую она потихонечку стала распродавать. Так что одной маленькой пулей то ли наши силовики, то ли наши неведомые бандиты в конце 2001 года получили громадный готовый ликёро-водочный завод, который он строил с нуля ровно десять лет! А года через четыре нас с Ольгой приглашают на кинофестиваль «Дух огня» в нефтяной город Ханты-Мансийск, и мы в свободный день идём в недавно открытый городской музей. И там в одном из главных залов я вижу – будто молотком по голове! – знакомую до боли картину Коровина «Лодки у пристани», которую я реставрировал для моего друга! Бог мой! Лично для меня это было невероятным *чудом*! Я до сих пор помню почти каждый квадратный сантиметр этой картины с обеих сторон!

А в 1994 году я написал натюрморт, который мне очень нравился самому, и я не хотел его продавать. Тогда Виктор (так звали моего друга) предложил мне «сделку» – я отдаю ему натюр-

морт, а он приглашает нас с Ольгой в Париж на целый месяц! Да ещё на полное обеспечение! Мы, конечно, согласились. Но за две недели до нашей «сделки» у меня крадут мою машину – «четвёрку» «Ладу». Я заявил в ГАИ, мне там как-то радостно сказали, что они непременно её найдут, а мой умудрённый в делах сын сказал: «Если ты сейчас принесёшь гаишникам триста долларов, твоя машина будет утром у подъезда». Я ему как-то не очень поверил и забыл об этом, полностью доверясь судьбе и профессионализму наших гаишников. Через месяц – за день до отлёта – я решил сходить на почту и оплатить счета. Было уже темно, но зима была очень снежная, и вся наша улица светилась отражениями от сугробов. И в ста метрах от входа на почту мимо меня проезжает красная «четвёрка», точно такая же, как моя! Я вздрагиваю и тут же понимаю, что ошибся: багажник на моей машине был самодельный, один конец багажника торчал КРЮКОМ! Торчал *крюком!* **ТОРЧАЛ КРЮКОМ!** И на этих «мыслесловах» я поворачиваю голову направо и вижу большую площадку машин, полностью заваленных снегом, а из одной торчит чёрный металлический КРЮК!!! Я, не веря своим глазам, по сугробам пробираюсь к этой машине, смахиваю с капота снег – красная! Протираю номера – МОЯ!!! Это была стоянка машин чешского дипломатического дома в двух кварталах от нашего! Я забегаю на почту и прошу позвонить по телефону. Звоню Ольге, и она через пять минут приносит мне запасной ключ. А я всё это время смотрю в окно и не спускаю глаз со своей машины, как будто её кто-то сейчас непременно угонит. Бак оказался полным, машина прекрасно завелась, и я поехал ставить её на стоянку Малого театра, которая была рядом с Белорусским вокзалом. А в двух кварталах от вокзала – «моя» милиция, и я побежал туда. «Я нашёл свою машину! – закричал я – Можете снимать её с поиска!» Один из офицеров в ответ возмущённо, даже чуть не яростно, закричал: «Как нашёл?! Где нашёл?!» А из другой комнаты какой-то молодой мент громко сказал: «Иван Петрович! Да мы же эту машину в поиск не ставили!»

Вот тебе и гаишники! Так что мой сын оказался прав.

А в Париже я, кажется, весь этот месяц был единственным художником, который работал «на пленэре»! И я смеялся до слёз, когда в саду Тюильри меня издали видели японские туристы и, как стада, бежали ко мне с восторженными криками, чтобы сфотографироваться со мной как с «настоящим французским художником»!

Моё занятие живописью, со временем ставшее профессиональным, оказалось для меня наиболее *важным чудом* во всех отношениях: и в материальном, и в трансцендентном, и ещё ближе подвинуло меня к моей основной цели – обретению полной внутренней свободы. Плюс пенсионный возраст и какая-никакая пенсия – живи и наслаждайся! И тут происходит новое *чудо*, совершенно для меня неожиданное, – страстное увлечение поэзией, хотя оба *чуда* были подготовлены по какой-то неведомой причине явно благосклонной ко мне Дамой – красивой и доброй, по имени СУДЬБА!

Брать уроки рисования и живописи я стал в тринадцать лет у талантливой (по воспоминаниям) советской художницы, оставшейся в Алма-Ате после эвакуации из Москвы в 1942 году. Ни имени, ни фамилии её я не запомнил. У нас была группа из пяти-шести детей, и мы осень и зиму разбирали и писали темперой натюрморты, а весной стали ходить на природу и писать маслом пейзажи. И однажды Елена Петровна (или Ольга Ивановна) сказала нам, что на следующем занятии мы наконец-то «возьмёмся за человека – лицо и фигуру». Но когда в следующую субботу мы пришли к ней в мастерскую, на двери была записка с извинением, что она вынуждена уехать назад в Москву. Так я остался «без человека» и всю свою жизнь пишу только натюрморты и пейзажи.

Что же касается стихов, то я на них стал обращать внимание только из-за моего восторга перед лермонтовскими персонажами. И когда в десятом классе я страстно влюбился в Лиду Шишкину, мою одноклассницу, я написал свои первые стихи, посвящённые ей, с явным (насколько мне помнится) влиянием Лермонтова! Но – после десятого класса Лида Шишкина

уехала из Алма-Аты, и моя ещё эмбриональная Муза, вероятно, последовала за ней. И только через десять лет, оказавшись в уникальной компании по-настоящему уникальных людей – поэтов, литераторов и художников, я почувствовал у себя под ложечкой странный и неведомый до той поры трепет! И написал несколько неуверенных, но уже «культурных» стихов. Но крепнущая дружба с гениальными Иосифом Бродским, Евгением Рейном, Владимиром Уфляндом, Михаилом Ерёминым и Олегом Григорьевым почти полностью исключила из моей жизни саму идею стихосложения, потому что представить себя в этом блистательном ряду мне было невозможно. И лишь когда...

...И лишь когда мои друзья-поэты
по очереди стали отбывать
в свои стихи, поэмы и куплеты,
ко мне ночами стала прилетать —
О! Наконец-то! Муза! Но не птичкой!
Не ангелом, не девочкой с косичкой,
а жадной Гурией – на вид вполне приличной —
с косой у пояса: Погибель!
Бездна!
...!

Но и тут не обошлось без *чудес* (для меня!): как у всех поэтов, в моих стихах как-то само собой соединились мои главные идеи и темы, которыми я жил последние двадцать лет, – Живопись, Смерть, Свобода и полное Неприятие лжи, беззакония и насилия. Вот несколько примеров:

Я проморгал свою жизнь,
потому что ни разу не поднял
то, что под ноги мне
подсовывал старый суфий
(он же – Господь, как потом я понял)
каждый раз, когда я проходил
по узкому мостику через пропасть
и боролся со страхом,
стараясь пройти по нему, не горбясь.
Но, предчувствуя близость Бога
и обливаясь блаженно слезами,
я себе говорил: не пройти ли мне этот мостик
с зажмуренными от счастья глазами?
И всегда проходил, как слепец,
за спиной оставляя дарованное мне *Чудо*,
слыша только смущённой душой
насмешливый шелест
откуда-то сверху – ОТТУДА!

Тост

Я ствол сосны седой и красный
прозрачной масляною краской
переношу на чистый холст

(он плотен и совсем не толст).
А вечером под звуки Листа
первейшему из сезанистов
провозглашаю Славный Тост:
«За живопись и жизнь Сезанна!
За чудо видеть осязаемо
вибрации тончайших волн
(чего любой другой лишён)!
За синь валёрных переходов,
за музыку цветных аккордов,
которыми владел лишь ОН!»

Любовь к французской живописи
Осенний парк – оранжевый и синий
(его под утро написал Сислей) —
и перламутром серебрится иней
в лучах пустых аллей.
Раздался мягкий цокот конной пары —
сиреневые тени на песке
напомнили лиловый свет Луары
и замков отражения в реке.
На берегу «французская корова»
жуёт свой сочный завтрак на траве...
Ах, если б можно было! – Мы бы им Перова,
они бы нам – Сезанна и Моне!

Палитра осени
Палитра осени скромна:
Мышиная, сорочья, лисья...
Когда ты смотришь утром на
кристаллы инея на листьях,
голландской живописи нить
сверкает в переливах тона,
и сразу хочется купить
кистей, холста или картона,
белил слегка на облака,
две охры, кобальт, кадмий красный,
и ты остался на века
этюдом осени прекрасной.

«Так вот ты где, осенний мой пейзаж!...»
Так вот ты где, осенний мой пейзаж!
За книжным шкафом – грязный и потёртый:
сарай, тропинка, дерево, гараж...
В пыли и хламе ставший натюрмортом.
Холст провалялся там пятнадцать лет!

А шкаф как дом – с химерами и львами,
да книг с полтонны – сдвинуть силы нет, —
он вылез сам из-под него углами!
Сарай прогнил, дорожка заросла,
а дуб зазеленел, как будто летом.
Гараж открыт, и голова осла
торчит в углу моим автопортретом.

Лень творца
Благословенна лень творца!
Когда потворствует он лени,
то, словно пленник из дворца,
на волю вылетает Гений.
А у художника в уме,
ещё расслабленном и сонном,
в полупрозрачной полутьме
неясных лиц и слов колонны
теснятся важно в ряд один,
и он с восторгом вырывает
из этих призрачных картин
всё то, что после вырастает
в «Онегина», Давида, шпиль
Адмиралтейства, Мону Лизу...
Ну вот и всё. И снова штиль.
И снова сон, тоска, капризы...
И Гений улетает прочь...
Дворца приспущенные флаги...
Так дремлет мраморная Ночь
на Флорентийском саркофаге.

«Молодая луна, новолуние...»
Молодая луна, новолуние,
Можешь ей не показывать грошика.
Поздно, рано ли станешь мумией,
и душа отлетит воробышком.
Как боялся я этого времени,
а теперь не страшусь и тризны.
Жизнь становится скучным бременем,
а цветные сны слаще жизни.
Двадцать лет назад – будто позавчера.
Двадцать лет вперёд – уже вечность,
и мои подлунные вечера
удаляются в бесконечность.

Встреча
Гуляя по полю и лесу,

посвистывая негромко,
я жду вас всегда с интересом,
загадочная Незнакомка!
Давно уж идём мы друг к другу
сквозь клубы тумана и дыма, —
как часто с улыбкой, подруга,
проскальзывала ты мимо!
Ты точно шептала: успеем
ещё мы соединиться...
Я спорить с вами не смею —
я жду вас всегда с любопытством!
Но где будет встреча? В полёте?
Во сне? В инвалидной коляске?
Я знаю, ты скажешь: «Пойдёмте,
я возвращаю вам сказку!»
И будет мне сладкой росой
налитый по самую кромку
напиток, что даст мне с косою
расщедлившаяся Незнакомка!

Три слова
Шалфей, брусника, липа, мята —
как в ботаническом саду.
Трава порезана, помята
ещё в каком-то там году.
И всё стоит на дряхлой полке,
вот-вот готовое упасть.
А в мыслях, будто три иголки,
три слова: Глупость. Старость. Страсть.

Алапаевск
Посчитай, сколько раз ты увидел во сне
Иванова, Петрову, в каких обстоятельствах,
было ль это зимой или ближе к весне?
Называли ль они тебя «Ваше Сиятельство»?
А бывало ль, что снились большие столы,
генералы, министры... как там их по отчеству?..
Адъютанты, парады, кареты, балы?
Называли ль тебя они «Ваше Высочество»?
Ну а если сквозь сон паровозным гудком
прокричат: «Кто ж теперь до тебя докопается?!»
Если ты закрываешь княгине платком
бледный рот — ты расстрелян!
Ты в шахте гниёшь в Алапаевске.

Философический сонет

Лицо как зеркало. И в зеркале лицо:
двойное отражение сомнений,
ума и глупости, и вечное кольцо
таинственных и скользких превращений.
Как мало путного в потоке мутном! Но
и там отыщет золото старатель —
открой окно, глотни вина, сходи в кино —
ты сам себе и зэк, и надзиратель.
А в зеркале любимый твой двойник,
родной до боли, хоть жирком заплыло
лицо. Издалека – прекрасный лик,
а приглядишься – и увидишь рыло.
И вправду, рожи есть – страшнее всякой сказки —
как странно, что они не носят маски!

2008

«Я вспоминаю зимний Летний сад...»
Я вспоминаю зимний Летний сад,
где женский мрамор в доски заколочен.
Где всё бело, и лишь ограды ряд
и строг, и чёрен. Траурен и точен.

На речке Фонтанке
Половина буханки,
селёдка, полбанки,
чеснок и солёный гриб.
На речке Фонтанке
люди-мутанты
удят мутантов-рыб.

Метаморфозы
Тайга оказалась лесом.
Лес – парком. Парк – садом.
Судьба закрутилась бесом,
каркает! Повернулась задом.
А раньше-то как ласкала!
То виски поила, то квасом.
Как пела! Совсем как в La Scala!
И тенорком, и басом.
А теперь – об одном молиться:
как бы сад не стал огородом,
а огород чтоб не превратился
в клумбу с крестом и гробом...
Да и то – эка невидаль! Каждый
Прорастёт сорняком или маком.

Не загнить бы Душой! А то жабой
в новой жизни станешь
иль раком.

«Бессмертия души, увы, не миновать...»
Бессмертия души, увы, не миновать —
перерождения и вечны, и зловещи...
Пленённому уму не суждено понять:
СВОБОДНЫ В ЭТОМ МИРЕ ТОЛЬКО ВЕЩИ.
А **ВЕЩИ** всё равно, что станет с ней:
висеть в шкафу или стоять на полке, —
скамья, бутылъ... Сожги её, разбей, —
СВОБОДЕН ДЫМ, СВОБОДНЫ И ОСКОЛКИ.

«Как долго стихает уличный гам!»
Как долго стихает уличный гам!
Как мрачно чернеет вечер весь!
Я глух почти ко всему, что не там,
и слепну, глядя на то, что здесь.
Душа уже рвётся в Бездну лететь,
а прежняя память являет мне
пейзаж, на который нельзя глядеть
без слёз и восторга, как в сладком сне:
река, монастырь, корабликов плеск,
базар у причала — там гвалт и звон.
Глаза слепят колокольни блеск
И золото солнца у белых колонн...
И гулко гудит мелодичней всех
за рекой колоколотейный цех.

«В этой жизни всё непросто, всё так просто...»
В этой жизни всё непросто, всё так просто,
как у Пруста — то всё весело, то грустно.
Сколько в этих днях, ночах и утрах
изумрудов, бриллиантов, перламутров!
В этой жизни то ли Муза, то ли Лира
охраняет нас от злобной грязи мира,
возвращая нам Высокую Брезгливость
ко всему, что вечно звали «низость».
И возможно, в этой жизни станет модным
быть голодным, одиноким и свободным,
быть освиственным, гонимым, чистым, верным,
благородным и высокомерным.

Реинкарнация

Дописывает Жизнь очередной роман.
Последняя глава оставлена молитвам...
Подняв бокал, седой эротоман
с улыбкой салютует юным нимфам
(им всем, увы, давно за шестьдесят...)
А ЭТА – ДИВНАЯ – ужель переродилась?
И я ловлю её недоуменный взгляд,
как будто этой ночью ей приснилось
безумие всех наших тех ночей...

«Я китайский язык учу...»
Я китайский язык учу —
вот опять незнакомый иероглиф!
То ли «ли», то ли «ци», то ли «цю»...
Нет, китайский мне не по плечу...
До чего ж он красив и уродлив!
Дивных тайн чужаку Китай
отдавать бескорыстно не хочет —
Синь, Хуй тья, Шен хуо, Тоу, Ай...³
Хоть всего ты себя отдай —
только дразнит, и злит, и хохочет!

Восьмистишие

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...
О. Мандельштам

Чайковский в чайхане и Мусоргский на свалке,
а Пушкин сам себя бормочет в стиле рэп.
Я вдоль по Питерской проехался б на танке
сквозь пробки мерседесовских карет!
Москва – гигантский свищ, где метрометастазы
прошили всё и вся – они во мне, в тебе...
В безумном городе разносчики заразы —
толпа толпы толпою о толпе.

2008

«ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО...»
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО —
моё одиночество:
ни хамства, ни грубости,
ни споров, ни глупости.
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО —
всё то количество,

³ Сердце, возвращение домой, жизнь, голова, любовь (*кит.*).

ставшее качеством
назло обстоятельствам.
ВАШЕ СИЯТЕЛЬНОСТЬВО —
Смерть-испытательница.
Бездна зияющая,
Вечность манящая.

«Мальчик на велосипеде...»
Мальчик на велосипеде,
молодая мама...
Всё же «Аз» дожил до «Веди»,
пронесло над ямой.
Сколько чистых душ сгубили
ГПУрдалаки!
Сколько кровушки попили
у людей, собаки!
Слышал больше полувека
только: Буки! Буки!
А теперь **ЧК**ловека
взял бы на поруки.
И в мечтах я по ночам бы —
да простят мне боги! —
всем российским палачам бы
КГБил бы ноги.

2007

Лингвистическое
Я захлёбываюсь Русским Языком!
Упиваюсь ласковостью гласных
к Латвии, Литве, Украине, а потом —
с хрустом,
скрежетом зубовным,
жадным ртом
я вгрызаюсь в РСФСР
СОГЛАСНЫХ!

2006

«Сначала я был в Пустоте...»
Сначала я был в Пустоте.
Потом в каком-то Астрале.
Но там на меня насрали
и обратно послали.
Будешь, сказали, как *те*!
И на кар*те*
СССР показали.

* * *

В 1999 году к своему шестидесятилетию я организовал выставку в Центральном доме художника. В трёх больших залах висело более восьмидесяти картин, из которых штук пятнадцать были в разное время проданы, и я уговорил владельцев их выставить. А покупают, как правило, лучшие картины, да ещё Виктор добавил все мои картины из его коллекции, так что выставка удалась. На открытии было очень много разных людей из разных сфер, и я в который раз убедился, что в России лучше «не выставляться», а, как говорили в Древнем Китае, «надо сидеть на берегу реки, предаваться размышлениям и наблюдать, как мимо тебя проплывают трупы твоих врагов»! Я всю свою жизнь прожил под колпаком ЗАВИСТИ, которую, как ни странно, очень трудно скрыть. И я всегда видел этот жалкий и рабский порок даже у некоторых своих близких приятелей. И всегда недоумевал: чему завидовать? Ровно одиннадцать лет я не имел постоянного жилья, у меня долго не было денег на более или менее сносную жизнь! К тому же мы все варимся в одном котле. Правда, я всегда был «вольным» человеком, а советские люди больше всего ненавидят и не принимают реальные независимость и чувство свободы – внутренней и внешней. Любая, не «осенённая» СВЕРХУ независимость бесит и начальников, и подчинённых. В первый день выставки я это почувствовал как никогда и почему-то вспомнил древний даосский «закон коромысла». И решил его проверить. Дело в том, что в последние три-четыре года я очень мало снимался. Было такое ощущение, что меня снова «задвинули», как это случалось уже не раз в моей жизни в кино. И на открытии выставки я «с искренним чувством» заявил в микрофон, что «я сейчас нахожусь на большом подъёме в живописи, у меня очень много грандиозных планов, я собираюсь писать портреты и большие картины, и помешать этому могут только приглашения на всякие дурацкие съёмки, которые больше всего мешают живописи»! И ЗАКОН СРАБОТАЛ! Начались **НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА!** Меньше чем через месяц на меня хлынул нескончаемый поток ролей в фильмах и сериалах! Который продолжался около десяти лет! Да ещё в первый день выставки у меня купили шесть картин, и для Центрального дома художника это было очень даже неплохо. В зале выставки прямо над столиком «консультанта» висела моя картина, которую отметил художник Николай Баградович Никогосян, знакомый мне ещё с середины восьмидесятых годов. И в книге отзывов он мне написал: «Лёва! Никогда не продавайте эту картину!» А на другой день ко мне подошёл мой хороший знакомый, довольно богатый человек, и заявил, что хочет купить эту самую картину за две с половиной тысячи долларов! Я ему показал запись Никогосяна, и он, немного подумав, ответил: «Добавляю ещё тысячу!» Я мгновенно забыл совет Никогосяна и согласился.

Тогда это были большие деньги!

* * *

Ещё два забавных случая, точно отскок шарика в пинг-понге. Самый близкий к моему дому продовольственный магазин – «Азбука вкуса». Но не только самый близкий, но и самый дорогой. А из-за своей безнадёжной лени я всё время «попадаюсь» и трачу в два-три раза больше денег, чем в какой-нибудь «Магнолии» или «Перекрёстке». И однажды, покупая «азбучный» хлеб, я увидел, что булка стала стоит больше двухсот рублей! На восемьдесят рублей дороже четвертинки водки! Меня это так возмутило, что я, сев в машину, поклялся, что больше ничего и никогда в этом магазине покупать не буду! И, уже отъезжая от магазина, подумал: «А может быть, надо просто больше зарабатывать?» И *в этот самый момент* зазвонил мой телефон, и я остановил машину. Звонили из Дома кино и предложили через день полететь в Ингушетию в качестве председателя жюри кинофестиваля на несколько дней! И

сразу назвали мне сумму, на которую я мог бы питаться в «Азбуке вкуса» не меньше месяца! Это было ещё одно *настоящее ЧУДО!*

А в конце мая 2019 года я маялся своей обычной бессонницей и почему-то стал вспоминать своё алма-атинское детство, свою мужскую 33-ю школу, и мне НЕВЕРОЯТНО ЗАХОТЕЛОСЬ полететь к себе на родину. И, наглотавшись таблеток, я наконец уснул, а когда проснулся в два часа дня, увидел на своём телефоне непринятый вызов (на ночь я его выключаю) и позвонил по незнакомому мне номеру. Оказалось, что секретарь казахстанского посольства звонил мне с предложением лететь в Алма-Ату в качестве (в роли?) независимого иностранного наблюдателя! Это было как в сказке – полёт бизнес-классом, номер люкс в лучшей гостинице не хуже монреальского, а на второй или третий день выборов меня привозят в мою бывшую мужскую 33-ю школу, где был оборудован участок! И я первым делом бегу на свой второй этаж, где я прожил восемь лет сказочной, наполненной каждодневными чудесами юности, но... Ничего не узнаю! Оказалось, что несколько лет назад как раз эта часть школы горела, и её полностью переделали. Фасад, к счастью, почти не изменился, и я даже на его фоне сфотографировался. А ещё через пару дней после роскошного обеда (нашу группу из России кормили в лучших ресторанах) меня везли в гостиницу, и по дороге я увидел довольно странную и страшноватую картину – три казаха-мента тащили за волосы молодую русскую женщину, она упиралась и что-то кричала, а «группа поддержки» пыталась её отбить. Но как только водитель понял, что я увидел эту картину, он нажал на педаль, и машина с визгом рванула вперёд. Я закричал: «Стойте! Остановитесь! Надо разобраться, в чём дело! Я же для этого и приехал!» А чиновник, который меня сопровождал, махнул рукой: «Да ну их! Пьяные!» Вот так. Приехали. И я окончательно понял, что «выборы» в Казахстане оказались точно такими, как и у нас в России! Ну просто *ЧУДЕСА!*

* * *

И вот ещё небольшое *чудо!* совсем недавно в Испании, в Торревьехе, я шёл по пляжу, и до меня доносились фразы на разных языках – немецком, английском и, естественно, на испанском. И вдруг до меня долетает единственная фраза на русском: «...И ты представляешь, его застрелили через пуленепробиваемое стекло!!!»

* * *

30.08.2019 (ночь). Сегодня всю ночь, как Казанова у Марины Цветаевой, перебирал письма, бумаги, фотографии и газетные вырезки. Боже! Какая короткая, мгновенная, какая длинная и бесконечная жизнь! Восемьдесят лет почти непрерывного счастья! Даже в самые тяжёлые и грустные, в самые омерзительные моменты (которые, кстати, вспоминаются как некие досадные природные явления, вроде грязекаменного потока) всё то же ощущение восторга и весёлой силы! Сколько смешного и радостного! Сколько отдано крови – и сколько взамен внимания, удивления и благодарности! Сколько поездок! Сколько друзей и завистников! Сколько прекрасных женщин! И как много разной работы – и бездарной, и вдохновенной!.. И только всё чаще и чаще приходят мысли о смерти, которой я совсем не боюсь, поскольку убеждён, что смерти нет, а есть только некий переход в другое, неведомое нам тело. Но будут *смертные муки*, и от них никуда не денешься! И однажды ночью мне «явились» стихи:

Ночами кто-то мною дышит,
а днём я сам кому-то снюсь.
Душа не видит и не слышит,
в какую бездну я несусь.

Какие пробегают тени
в бессонной ночи надо мной,
какие мне пройти ступени
ещё предписано Судьбой!

А ЖИЗНЬ... Это, пожалуй, самое великое **ЧУДО** на свете – непостижимое и безграничное, как МЫСЛЬ! Как ВСЕЛЕННАЯ! Или, возможно, как извечное небытие, то есть НИРВАНА?! И остаётся только повторять, как молитву, как МАНТРУ: ЖИЗНЬ! БУДЬ БЛАГОСЛОВЕННА! И – ДА НЕ ОСКУДЕЕТ ТВОЯ КЛАДОВАЯ!!!

* * *

Завершаю свой опус стихотворением, которое мне искренне нравится:

В этой ЖИЗНИ, похоже,
не вырваться мне в НИРВАНУ
или хоть в Рай, что тоже
мне вовсе не по карману,
и тут уж ничем не помочь.
Так что ждёт меня не —
минуемая,
как на церковной стене
рисуемая
свистопляска – загробная ночь.
Я, как старик на вокзале,
не добежавший до поезда,
стою, обливаясь слезами, —
ну почему же так поздно
я приближаюсь к СВЕТУ?!
А смутная память грозно
предупреждает: и эту
жизнь не профукай, как в шашки!
Вбей в извилины мозга:
живи до последнего вздоха,
не давая себе поблажки.
Мне не хватает всего-то
лет пятьдесят, не более,
чтобы из крови, пота,
памяти, слёз и боли
сотворить небольшое **ЧУДО**,
лёгкое, точно пух,
беспечное, как причуда,
всепроникающее, как Дух!
Эти слова капризны,
похожи на ересь.
Остаётся к нынешней жизни
относиться, доверясь
собственной интуиции,
всего лишь как к репетиции

жизни последующей – а вдруг
Судьба моя так качнётся,
что я попаду в тот круг,
где новая жизнь начнётся
с конца вот этой, моей,
где я, как больной соловей,
готовый все ночи петь,
могу лишь хрипеть.
Но когда же и где удастся
переродиться мне снова?
семье артиста-красавца?
Литератора-пустослова?
У какой матери? От какого отца?
Китайца? Датчанина? Эскимоса?
Тибетца? Камчадала без носа?
Или родят меня, не дай Бог,
баран и овца?
Лет через сто или двести,
когда всё будет не так,
на этом вот самом месте
(дурак ли, чудака, простака?),
пройдя, если хватит силы,
неизвестно каким путём,
родиться бы снова в России,
что б ни случилось потом!

2010

*Лев Прыгунов, Москва, 2020 г.
Все права защищены*

Азиатское детство Ивана Ташкентского роман

*ANNO Ахматово и Пастернаково,
ANNO военное – детство моё:
Бешеным лаем лохматое,
нищим столом одинаково...
Бедная, нежная мать моя!
Страшные годы её!*

Я всегда знал, что где-то в моих бумагах, то ли в мастерской, то ли на даче, валяется моя старая неоконченная рукопись, которую я забросил лет тридцать-сорок назад. Почему – не помню. Скорее всего, она мне казалась уже тогда безнадежно устаревшей. Но теперь, разыскав её, я, сам постаревший на тридцать-сорок лет, увидел в ней так много глупой искренности, наивности и, как ни странно, АБСОЛЮТНОЙ, ЧИСТЕЙШЕЙ ПРАВДЫ, что решил её издать – а вдруг она отзовётся в чьём-нибудь сердце ярким воспоминанием – у кого из этой жизни, а у кого из предыдущей (я неколебимо верю в вечную, нескончаемую реинкарнацию).

Итак – вперёд!

Мои дорогие – осмелюсь сказать – Друзья-читатели! Мои милые, роскошные, благоухающие, благовоспитанные *приличные* дамы! Мои бойкие, наглые, благородные неряхи-интеллектуалки! Мои друзья-ленинградцы, а также гениальные приятели, путешествующие по миру как по своей, так и не по своей воле! И, наконец, мои несчастные и счастливые, талантливые и бездарные, грустные и весёлые, мои разные, всякие, разбросанные по всему Союзу (как я не люблю это слово!) и по некоторым *социалистическим* (это слово я также предпочел бы не употреблять... б<....>...) странам, ДЕТИ, мои СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ!!! Я начинаю свои безалаберные записки только с одной целью – вывернуться наизнанку и оправдаться во всех моих грехах, поскольку многие события моей бурной жизни, несомненно, заставят кое-кого взглянуть на меня с несколько иной стороны и – самое главное – откроют глаза только что упомянутым законным и незаконным детям, дав им понять, что их отец (несмотря на всю грязь, которую неизбежно льют на меня их глупые матери) совсем не такой уж негодяй! Да, да, оправдаться во что бы то ни стало, чтобы они – не дай бог! – когда чуть подрастут, не заявили ко мне, жалкому старикашке, все скопом на расправу – бить меня ногами, выдирать оставшиеся волосы или просто плевать в мою мерзкую физиономию.

Итак, дорогие мои, представьте себе, что волей судеб вы обречены на вечные скитания и переезды из одного жилья в другое. Чердаки – надо долго карабкаться по лестницам. Подвалы – спускаться в заплесневелые преисподние, то и дело стучаясь о всякие балки. Углы – толкаться в коридорах, перешагивая через бабкины сундуки и коробки с хламом. Зимние и летние дачи – задыхаться в вонючих, забитых до отказа рабочим людом электричках. Представьте ещё и то, что при всех этих перипетиях вы всегда вынуждены таскать за собой какую-нибудь драгоценную, хрупкую, но не совсем удобную для перевозки вещь – ну, скажем, роскошное старинное кресло работы французского мастера начала XVIII века – с позолотой, резными бантиками, цветочками, гирляндами и веночками из точёных листьев, – словом, со всякими нежными и хрупкими выступами! Думаете, вам удастся пронести его в целостности и сохранно-

сти через пятнадцать-двадцать лет безумной и бродячей жизни? Увы, как бы вы ни обматывали все эти рюшечки и цветочки марлей да ватой, как бы осторожно вы ни переносили свою драгоценность с места на место, всё равно какой-нибудь бантик, амурчик или цветочек у вас когда-нибудь отлетит (а то и все сразу) – уж больно не приспособлена мебель времён Людовика XV к нашей нелепой и ужасающей стороннего наблюдателя российско-советской жизни пяти-, шести- и семидесятых годов, в которые я имел и имею несчастье проживать и о которых собираюсь поведать в своём небольшом, но правдивом повествовании.

Говоря о своих сочинениях, авторы, как правило, называют их «скромными», чего я никак не могу сказать о своём собственном, поскольку с первых же страниц заявляю, что упомянутое выше великолепное кресло стиля рококо – всего лишь дурацкая метафора! Это редкое и весьма драгоценное в наше время и в нашей стране «кресло» – я САМ!!! Изящное, лёгкое, красивое, смышлённое, очень ловкое, м-м-м... даже крепкое (в самом начале моих мытарств), пока ещё сравнительно молодое, но совершенно не вовремя произведённое на свет сооружение из подвижных, ладных костей (*os pubis*, например), ну и других не менее важных, покрытых лоскутами эластичных мышц (*maximus gluteus*, к примеру) и чистой, бархатистой кожей, – вот вам и Я в самом начале моих «одиссей» – живой Гермес, Аполлон, Дориан Грей, кто хотите.

Но вернёмся к нашему креслу – какое счастье, что оно ещё сохранилось! Будь это даже обычный советский стул, сбитый в любом орденоносном мебельном комбинате, от него бы не осталось ни рожек, ни ножек в самый первый квартал подобной чердачно-подвальной пятилетки! Но то ли Мастер, как истинный художник, заранее предчувствуя суровые перемены у себя в стране, в результате которых нагрузка на изящную мебель могла резко увеличиться, решил сразу же сколачивать свои изделия на славу, чтобы каждым из них можно было разmozжить головы по крайней мере полдюжине якобинцев, то ли в те далёкие времена просто было *принято* делать всё на совесть, – во всяком случае кресло Мастера, с громадными потерями прошедшее тяжелейшие испытания, всё же сохранило свой остов-каркас полностью, в том самом виде, в каком его препроводили в отделку резчикам, позолотчикам и обивщикам.

Моим же Мастером оказалась матушка Природа – хитренькая и щедрая ко мне дама лет эдак тридцати пяти. Сговорившись со своей подружкой Судьбой, она взяла меня под своё покровительство – подруга наверняка набросала ей коротенький планчик моей жизни на ближайшие тридцать лет, и мадам Natura ужаснулась – не трудно было понять, что без специальных расчётов, высококачественных материалов и особого подхода к моему будущему скелету, как к конструкции высотного здания в сейсмически опасном районе, никак не обойтись. И вот вам результат – мой каркас крепок, как кресло Мастера: кое-где поскрипывает, кое-где, конечно, расшатан, но это не беда – можно его разобрать, почистить, смазать новым клеем, сбить заново, положить под пресс, зажать струбинами – и скелет опять как новенький. Но, Господи! Что делать с рюшками? С бантиками? С истлевшим шёлком? С когда-то розовато-беленькими амурчиками и золочёными веночками? Увы, вот мои потери к тридцати двум годам: моя главная рюшка, мой цветок, мой бантик, а именно *моё мужское достоинство*, уже никуда не годится! Эта важная деталь, несмотря на свои весьма скромные размеры, оказалась самой неудобной для переездов и скитаний: вечно она за что-то цеплялась, во что-то вляпывалась, вечно её то царапали, то сдирали, то стирали... Перегревали, переохлаждали (от смены температур эта несчастная деталь потрескалась, точно картина старых мастеров), и вот уже несколько раз начинали её – поникшую, исковерканную, изъеденную мерзким шашелем – приводить в порядок: чистить, подклеивать, закреплять, левкасить, подтюкивать-подмазывать и в завершение покрывать лаком-позолотой! Но, как известно всем реставраторам мира, прежняя форма никогда не восстанавливается, былая свежесть, осанка, бывшее материально-духовное наполнение оригинала *не возвращаются уже никогда*, каким бы чутким, старательным и гениальным ни был реставратор.

Ну, а остальные потери не так уж и важны: глаза мои сожжены театральными софитами и прожекторами сотен концертных и эстрадных залов, поскольку я зарабатываю на жизнь самым нелепым, но и самым любимым нашим незамысловатым зрителем «искусством» – я большой «мастер» игры на *ксилофоне*, и мои номера пользуются невероятным успехом где-нибудь на Камчатке, в Барнауле или в наших азиатских республиках. Я выучил когда-то штук пять-шесть «пиэс» И могу играть их с закрытыми глазами, а большего мне и не надо. (Наши артисты цирка, к примеру, по пятнадцать лет «работают» один и тот же номер и живут себе припеваючи.) Суставы мои пухнут, щёлкают, скрипят и ноют днями и ночами – на гастролях в Воркуте (кто у меня там – девочка? мальчик? – убей меня бог, не помню) я заснул пьяный после концерта на автобусной остановке – ночью! Зимой! И результат – неизлечимый полиартрит. Всю жизнь меня мучают бессонница и ночные кошмары – по ночам я всё жду, что кто-то ворвётся через окно ко мне в комнату и меня или задушит, или хряпнет топором по черепу. Наконец (дети, отвернитесь), в заднице у меня жуткий геморрой – поклон и smile всем собратьям по несчастью! Да плюс ещё мой хронический простатит – тут уж совсем не до смеха – будто посадили тебя на кол, а ты ещё должен поворачиваться на нём туда-сюда, делая вид, что любишь окрестностями. Есть и другие мелочи, но они касаются внутренностей: желудок, почки-кишочки, печёнки-селезёнки – всё никуда не годится. Сам удивляюсь: гастрит, холецистит, блуждающая почка, вечные запоры (мой бедный геморрой!). И, наконец, экстерьер – тот самый тончайший шёлк. Боже, он вытерся и облез! Волосы поредели, глаза потускнели, а шея и плечи через каждые пять минут дёргаются в пляске святого Витта, лицо искажается нелепейшей гримасой, правая нога дёргается вверх, а левая рука норовит вывернуться куда-то вбок, глаза закатываются под самое темя, а нос начинает крутиться против часовой стрелки. Проходит пять-десять минут, и где бы я ни был – на улице, дома, в ресторане, в кабинете начальника – всё повторяется снова. Со своим номером на сцену я стараюсь выходить сразу после очередного «приступа», но, к сожалению, мне это не всегда удаётся, и тогда доверчивый зритель в такие моменты закатывается от смеха, считая мои гримасы клоунскими выходками. Вот вам и самый мой страшный бич – НЕРВЫ!.. Впрочем, стоит ли так много времени уделять недугам! Я верю в реставрацию, люблю докторов и всегда с удовольствием лечусь. «Но позвольте, молодой человек?! – спросите вы. – Каким же образом вы существуете?!» А вот существую! И мало того, я *проживу сто двадцать шесть лет!!!* Но... при одном условии.

Дед мой по матери был священник, дед по отцу – пьяница-околоточный, а прадедов и прабабок я не знаю – у нас в России одни только лошади да собаки имеют родословные более чем в два колена. А сейчас уж тем более – кому какое дело до предков? Умер мой первый дед в постели, спокойно и тихо, правда, за месяц до смерти три раза водили его на расстрел и всё никак не могли расстрелять – два раза его расстреливали красные и один раз белые: красные за то, что поп, а белые за то, что красные не расстреляли. И всякий раз прихожане спасали: мол, наш поп, хороший, нищих бесплатно и крестит, и отпевает! Село, к несчастью, стояло как раз на линии фронта – из Сибири Колчак, с Урала красные, и те и другие пьяные, злые: «Говори, где стоял комиссар?!» – «Да у батюшки стоял, вона дом-то какой!» – «Ах ты, старый хрыч, большевикам продался?!» И пошло, и пошло; потом примирение, опять пьянство, а у батюшки дома светло, чисто, пахнет красиво, у офицера-то губа не дура, что у того же комиссара... Но вот проходит неделя-другая, вышибают красные белых из села, гуляют на радости, напиваются в стельку: «Так у кого, гришь, стоял офицер? У попа? А, так он, кровопийца, ещё жив? Ну-ка выволакивай его! К стенке!» – и врываются в дом, и вытаскивают несчастного в исподнем белье на улицу – в дождь, в снег, в мрак, в грязь, в смерть... В последний раз прибежал сосед, предупредил – идут, расстрелять решили, бабка быстро его собрала, окно в огорода открыла, чтобы к реке спустился да по Исети на лодке в Ялutorовск проскочил, он уже и ногу забросил, кряхтит, никак завалинок ногой достать не может, а потом вдруг тихо засмеялся да и залез

обратно в комнату: «Ну их, не пойду я. Как Господь положит, так тому и быть». Помолился, успокоился, бабка в слёзы, дети в слёзы, плачут, уговаривают, а он глядит на них и улыбается. Так и на сходке стоял, счастливый, – знал, что за Бога умирает. Вот потому и не расстреляли его красные – ИЗ ЗАВИСТИ – ишь чего захотел! Нет, ты помучайся! В грязь промёрзлую толкнули, за волосы по лужам таскать стали, ногами пинать... Деревенские, те, что потрезвее да посмелее, вступились – сначала робко, а потом уж и вовсе его у болыпевичков отбили. Так он с той ночи и слёг, и смерть его была спокойная и торжественная – накануне явились ему ангелы, и все в доме знали, что душа его непременно отлетит в Рай, и ждали этого момента покорно и благоговейно.

Мама моя в своей поповской семье по счёту была четырнадцатой и, слава Богу, последней. Когда она родилась, деду было уже шестьдесят, а бабке около пятидесяти, так что не удивительно, откуда у меня такое хлипкое здоровье, – моей бедной мамочке всю жизнь доставались одни жалкие обноски её старших сестёр, да и по медицинской части – чего взять со стариков? Так на дне кастрюли после дружно съеденного жаркого остаются пригоревшие корочки, и случайно опоздавший на обед знай только облизывается – вкусно, да уж больно мало. Нервная, подвижная, болезненная, правда, очень весёлая (если у неё ничего не болит) и очень острая и умненькая – вот вам моя дорогая, любимая мамочка. В молодости и до войны она была красоткой – жгучая брюнетка с прекрасной фигурой и холерическим темпераментом. Но к несчастью, совдепия скрутила её в бараний рог как «поповское отродье», не позволила ей ни выучиться как следует, ни работать; и прожила она всю свою жизнь в безумном страхе и за себя, и за детей, и за моего отца. В войну она настрадалась немисливо; после войны потеряла любимого мужа, чуть не сошла с ума от горя, замкнулась, всю себя полностью отдала детям (мне и сестре) и стала совсем больной. Отец же... Но тут начинается моё голодное, голоногое, малорадостное и всё же безмятежное детство. И посему остановимся на этом несколько подробнее.

* * *

Увы, увы, увы!! Я поставил себя в нелепое и глупое положение: подумайте сами – что может быть скучнее реальности, того, что было на самом деле?! Ведь я хочу рассказать *правдивейшую историю* моей жизни! Но нет, нет, я не собираюсь покушаться на Великую Исповедь – экое святотатство! И прежде всего потому, что просто-напросто таланту не хватит, так что история моя будет скорее *оправдательным документом*, я бы сказал, чуть длинноватой многословной справкой, произведённой на свет припадками неизлечимой графомании и заверенной кровавой печатью моих страданий (красиво сказано, чёрт побери!). Справкой, которую я предъявляю каждому, с кем свела меня жизнь, и по которой станет ясно, почему в одном случае я опоздал, в другом явился слишком рано, а в третьем всё перепутал и вообще никуда не пошёл. Словом, это будет повествование о печалях, радостях, мытарствах и, главное, о двух-трёх неподвижных и навязчивых идеях некоего молодого человека примерно одних со мной лет, взглядов и физических данных, который назван в этой истории (для краткости и по врождённой привычке говорить правду и только правду) «Я». Итак, продолжаем.

Моя мать считает меня очень похожим на отца, и, хотя я и повторяю некоторые его движения, его походку (у меня та же сутулость), а также знаменитые тики, увеличенные раз в сто моими искромсанными нервами, согласиться с ней я никак не могу. Он был великий человек, мой отец, а разве великие люди когда-либо порождали себе подобных? К сожалению, нет. И единственное, что успокаивало меня до сих пор, – это то, что я выбрал себе сферу деятельности совершенно отличную от Науки, которой посвятил свою жизнь он, в надежде, что все его качества, переданные мне наследственностью, разрастутся и расцветут на новой стезе, как блохи и прочие твари на дохлой крысе. Но, скажу сразу, тут я трагически ошибся – что может

быть общего между учёным-генетиком и так называемым ксилофонистом-виртуозом В нашем убогом советском, провинциальном по духу и самодеятельном по сути Эстрадном искусстве!

О жизни отца до моего рождения я знаю совсем мало, как, впрочем, вообще о его жизни. Вот вам официальная версия.

Отец его – мой дед – был силачом, гигантом, в молодости служил в Преображенском полку, а потом стал околоточным у себя в большом селе на Вятке. Знаменит в основном был тем, что, не отрываясь от горлышка, выпивал четверть водки (дети, не путайте с четвертинкой! Четверть – это 2,5 литра!). Но, как всегда добавлял мой отец (по словам матери), если бы дед стал *так* пить *до* рождения сына, то сын *генетически* стал бы алкоголиком, но дед, *к счастью*, стал пить, когда сын уже вырос. Я ничего не знаю о дальнейшей жизни деда и как он кончил, знал всегда только, что отец свою семью не жаловал, что с самого раннего детства у него был дружок Лёвка – сын богатой русской капиталистки, жившей совсем неподалёку в купеческом городке Яранске, и мой отец, в сущности, воспитывался вместе с ним у них в доме, где научился читать, писать, говорить по-немецки и даже превосходно играть на скрипке. Когда в двадцатом году его благодетельницу вместе с Лёвкой арестовали и сослали в Архангельскую губернию, отец вернулся в крошечную нищету своей семьи, но, не выдержав разницы в обхождении и стиле жизни, меньше чем через год (ему тогда было лет четырнадцать) ушёл из дома в самый разгар зимы. Обмотал ноги тряпками и, как Ломоносов, пошёл пешком в Москву. Учиться! Но в Москве его угрозами или обманом заставили поступить в какое-то военное училище, из которого он вскоре сбежал, чуть было не попал под трибунал, каким-то чудом встретился со старушкой Крупской, с которой тогда ещё считались – 1921 год! – и был спасён: высочайшим повелением ему «позволили» учиться ботанике, зоологии, химии, марксизму и дарвинизму.

* * *

А теперь, дети мои, мне необходим глубокий вдох и резкий выдох! В этот момент в нашем повествовании наступает самый важный поворот – сейчас я открою вам захватывающую, *реальную* тайну рождения моего отца – захватывающую и невероятную (и, следовательно, тайну рождения автора этих записок и *вашу, вашу* тоже!!!). Но не знаю, как начать, – нервничаю, можно сказать, трепещу, боюсь читательских насмешек, негодования, обвинений во лжи, самозванстве, даже святотатстве! Очередной бред очередного проходимца или сумасшедшего! – могут сказать они и с презрением отбросят в сторону мою писанину. Но, слава богу, десятка два читателей – десяток друзей да десяток детишек (одни из сочувствия, другие из любопытства) – дочитают эту главу до конца. Итак, мы сворачиваем с главной дороги на сомнительную тропку, по которой, продравшись сквозь тёмные и кусачие дебри совершенно непроверяемых фактов, мы выйдем на громадные просторы – вся нелепая, необъятная Русь откроется вашему взгляду с этого неприметного и сомнительного холмика моей безумной Тайны-Легенды, стоит только поверить в неё так же, как в неё верил мой отец и как поверил в неё я! А вас, дети, спешу обрадовать – вы будете в восторге от неё, более того, она вас крепко поставит на ноги, поднимет ваши головы, подтянет плечи, вы мгновенно обретёте стойкость, ауру загадочной и притягательной силы, необыкновенное и мало кому ведомое в нашей рабской стране чувство собственного достоинства (то, что американцы называют *self confidence*).

Но – терпение! Она начинается издалека, и, чтобы подстегнуть ваше любопытство, я вам её сначала открою, а уж потом ринусь в злые заросли доказательств – без топора, без ножа, в летней рубашонке с короткими рукавами... Ах, до чего же я уязвим! Каждый шип, каждая гнусная колючка готова исцарапать меня в кровь!

Итак. Дамы! Господа! Геноссе! Камарадос! И, главное, Товарищи! Находясь в здравом уме и твёрдой памяти, я заявляю, что мой отец, а следовательно, и я, а следовательно, и все мои дети являемся САМЫМИ ПРЯМЫМИ (из всех оставшихся в живых), но, к сожалению,

НЕЗАКОННОРОЖДЁННЫМИ (как, увы, и большинство моих детишек) потомками царствовавшего в недалёком прошлом в России РОДА РОМАНОВЫХ!

* * *

Совсем недавно, лет десять назад, моя дорогая мамочка, закрыв дверь своей комнаты на ключ, развернула дрожащими руками узелок с письмами и, вынув оттуда дряхлую бумажку, протянула её мне с довольно странной усмешкой, как бы говоря: это всё такая чепуха, что обращать на неё внимание вовсе и не стоит, – блажь, бред, выдумки сумасшедшего. Однако лицо её при этом заострилось и побелело, а взгляд всё время метался от бумажки к двери, от двери к окну и обратно, и её вид при всей ироничности и смешках: «Какой чудак был твой отец!» – говорил о глубоком страхе, что её подслушивают или за ней подсматривают. «В тридцать седьмом году в школу, где работали мы с отцом, пришли трое в штатском из НКВД и потребовали личные дела всех учителей. Отец прибежал домой, сел за письменный стол, написал вот это письмо и тут же зашил его в старый валенок, – шептала мне мать. – Мы тогда очень боялись, что нас с ним арестуют, ведь я поповская дочка, а он уже тогда в открытую ругал Лысенко и говорил о генетике! На следующий день из школы пропали два самых лучших учителя; ни отца, ни меня не тронули, а письмо так и оставалось в валенке. После смерти отца я про письмо забыла, а когда вспомнила, оказалось, что валенок уже изгрызла моль и даже кое-где задела бумагу. Сначала письмо я хотела сжечь, потому что, если бы кто-нибудь его прочитал, нас бы всех пересажали, а может, и расстреляли бы, кто их разберёт! Только я знала, что твой отец был ужасный фантазёр, а там иди доказывай! Но потом жечь передумала, пересыпала письмо нафталином и зашила в своё старое пальто. Боже мой, как я боялась, что ты его когда-нибудь найдёшь! Но теперь ты поумнел, перестал болтать лишнее, а я... Кто знает, сколько я проживу! Да и времена теперь другие... Ой, нет, нет! – спохватилась моя мамочка и горестно закачала головой. – Времена те же, и я так боюсь, так боюсь... Но ты только дай мне слово, что обо всём этом никто никогда ничего не узнает – ни твои друзья, ни твои дети, ни твоя сестра – это будет только НАШ с ТОБОЙ СЕКРЕТ!!!»

Я поклялся всеми моими детьми (мама знала половину из них) и получил из рук в руки мятую полутряпочку, исписанную торопливым, мелким, но очень красивым почерком моего отца. Вот это письмо, слово в слово, кроме тех мест, которые безвозвратно пожрали моль и время.

«В 1925 году, когда я уже начал учительствовать в Великом Устюге, я получил страшное письмо от моего вят... (Здесь была первая дыра, текст прерывался, но я знал, что в Вятке у него был друг по имени Лёвка – сын отцовской благотельницы, а все родственники отца были безграмотны.) Он писал, что завтра их увозят куда-то на север, а куда – ещё неизвестно, скорее всего, на Соловки. По всем признакам дела у них были очень плохи. Также он сообщил мне, что Амн... (Или Ант... – строчка снова наткнулась на дырку, и мама предположила, что здесь было написано имя той самой благотельницы – Анны Георгиевны.) – под правой балкой на чердаке Шаляпина (то есть моего дядьки, который страстно любил петь при полном отсутствии слуха и голоса, и только мы с Лёвкой звали его Шаляпиным) спрятана... (тут я обрадовался, что оказался прав насчёт Лёвки) собрался тут же в дорогу и по приезде в свою деревню на дядькином чердаке нашёл в коробочке её письмо и маленький свёрток, в котором оказался золотой крест на золотой цепочке, украшенный золотыми листиками тонкой работы и алмазными сколками. Она приказывала мне прочитать письмо, выучить его наизусть и затем немедленно сжечь и никогда никому о нём не заикаться, по крайней мере в России. Я убежал в лес и целый день заучивал письмо. Возможно, я помню его не совсем точно, но за фактическую сторону... (Тут текст прерывался уже не из-за трухлявой молевой дырки, а из-за обыкновенного стёртого сгиба, который поглотил две строчки.)...эту должен хранить как зеницу

ока: помни, что если ты при большевиках кому-нибудь проболтаешься, то тебя расстреляют, как расстреляли всех твоих знаменитых родственников. (Это уже шёл текст самого письма, как нетрудно было догадаться.)...Итак, знай, мой дорогой мальчик, что я твоя родная мать, да, да, твоя мать, и я сейчас плачу горькими слезами, потому что не смогла тебе этого сказать, когда ты был рядом, а мы уже никогда не встретимся. Как ты оказался в твоей семье – слишком длинная история и чудесное совпадение – то, что Агриппина Георгиевна родила мёртвого ребёнка, а я скрывала свою беременность тобой от мужа, который, слава Богу, тогда почти всё время жил и работал в Швейцарии. Но это не всё. Семь лет назад в городе Ташкенте скончался твой родной отец – Его Императорское Высочество Великий Князь Николай Константинович. Вот это и есть наша с тобой заповедная, но почётная тайна. Ты, наверное, помнишь, как много я рассказывала вам с Лёвушкой о Ташкенте, о моём увлечении молод... (Снова дырка.)... садах, виноградниках, да, я всегда хотела.....цветущий сад, и когда мы поссорились с мужем, и его... В Швейцарию, куда он забрал Лёвушку, я кинулась в Туркестан, в самую жаркую пустыню, совсем ещё мо.....вая (Это всё одна и та же дырка, но почти все слова легко восстановить: увлечение молодости, превратить пустыню в цветущий сад, направили или отправили, совсем ещё молодая и красивая.)... И какое счастье, что я там встретила Его! Его считали не совсем нормальным, но это ложь! Ложь! Никогда не верь никаким грязным сплетням, кто бы тебе их ни сообщил! Да, у него была одна “история”, но я всегда благословляла за неё Всевышнего: кто знает, может быть, и была она допущена Господом только затем, чтобы мы с ним встретились и полюбили друг друга. Он был уже в возрасте – ему тогда было пятьдесят три года – чуть лысоват, выше среднего роста, хотя и сутулился, но что это был за человек! Умный, яркий, поистине царственно-благородный, добрый необыкновенно! Женщины были от него без ума (у него даже были две *законные* жены!). Не влюбиться в него было просто невозможно! Да ещё он мне всё время говорил, что я – копия его американской возлюбленной. Так уж получилось, что я какое-то время была у него секретаршей, можно сказать – правой рукой: мы прокладывали каналы, рыли арыки, сажали хлопок, гранаты, виноград и персики. Мы полюбили друг друга, но открыто встречаться не могли – он был женат, царской крови, и каждый его шаг был как на ладони. К моему несчастью, мне срочно пришлось выехать в Вятку, куда приехал из Швейцарии муж. Я надеялась ещё вернуться в Ташкент, который я любила так же горячо, как твоего отца, но, увы, судьба распорядилась иначе. А что касается скандальной истории, Его Высочество Великий Князь Николай Константинович был убеждён, что эта хитрая провокация была задумана только для того, чтобы его...»

Здесь кончались различные слова и буквы, а мама сказала, что было ещё два-три стёртых листочка с непонятными словами, но она их выбросила. Вот так появилась наша фамилия – Ташкентские – отец взял её сразу же, как только получил письмо от моей, будем говорить, настоящей бабушки.

Эта история с письмом меня, конечно, ошарашила, и я даже какое-то время думал, что мама меня разыгрывает. Но потом, видя, как бледнеет её лицо, стоит мне лишь заикнуться о письме, я понял, что вся эта история – истинная правда. Я пытался начать собственное расследование, но, увы, в то время я был чудовищно невежествен, как и полагается быть провинциальным лабухам. Я, правда, сходил пару раз в нашу центральную библиотеку, но ничего толком не нашёл, кроме простого упоминания его имени в ряду его венценосных родственников. И тогда-то я вспомнил о существовании одного моего странного знакомого по фамилии Каргопольский, с которым мы как-то вместе напились в Ленинграде после нашего концерта в Ленинградской филармонии. Человек этот необыкновенный. Он знает всё. От глистов до ангелов. От вирусов до мегагалактик. Он знает, от какой болезни умер каждый «малый голландец», историю России и Европы чуть не по дням и – что меня просто убивало – имена и фамилии всех советских министров и их заместителей! Короче, я написал ему письмо и просил ответить мне

как можно скорей – всё, что он помнит или найдёт о Великом Князе Ник. Константиновиче. И буквально через неделю получил ответ. Вот он.

«Дорогой Иван! Письмецо твоё прочёл и изучил с *цюзством оhrоmново удовлетворения* (для незнающих – это мой товарищ копирует убогую речь Брежнева). Значит, так. Несчастный, который в этот миг переворачивается в своём невесть где находящемся гробу, носил имя: Его Импер. Выс-во Вел. Князь Николай Константинович (род. 2 февр. 1850 г., тезоименитство 6 дек.). Это старший сын Вел. Князя Константина Николаевича, а тот, в свою очередь, был вторым из четырёх сыновей ими. Николая I. (Не знаю, по каким причинам Николай давал сыновьям имена те же и в том же порядке, что и отец его Павел, – Ал-др, Конст., Николай, Михаил). Сам понимаешь, об этом опальном Высочестве никогда не писали много. В старых энциклопедиях (Гранат, Новый энциклоп. словарь) ты не найдёшь ничего, кроме того, что я сообщил выше. В Советск, истор. энциклопедии он упомянут в родословной таблице к статье “Романовы”. Там дана и дата смерти – 1918 г. Об обстоятельствах, естественно, не сказано ничего. Вот дословная выписка из книги, оказавшейся под рукой – С.Ю. Витте. Воспоминания, т. I, стр. 224: “В Туркестане же, а именно в Ташкенте, я в первый раз видел великого князя Ник. Конст., старшего сына в. кн. Конст. Ник. Я видел тогда его сравнительно мельком, он приходил к министру финансов, и меня очень удивляло, что он, с одной стороны, по-видимому, был человек умный, деловой, т. к. там, в Средней Азии, он делал большие оросительные работы, разводил хлопок, а с другой стороны, было установлено, что вел. кн. Ник. Конст. находится в ненормальном состоянии...”

Когда этот вел. кн. Ник. Конст. (старший сын вел. кн. Конст. Ник-ча и Александры Иосифовны, кот. жива до настоящего времени, хотя уже слепа) жил в Петербурге и был ещё молодым офицером, то случилось такого рода событие: он, прямо говоря, украл очень драгоценные бриллиантовые вещи у своей матери. Вот тогда и было установлено, что он находится в ненормальном состоянии, а поэтому он, сравнительно с различными мерами, и был сослан сначала в Оренбургскую губернию, где женился на дочери какого-то полицмейстера (в Ташкенте он жил уже вместе со своей женой). Затем, когда умер ими. Ал-др III и вступил на престол ныне благополучно царствующий император, ему одно время разрешили жить в Крыму, но теперь его опять перевели в Ташкент. Несомненно, это человек ненормальный, причём ненормальность его проявляется в различных удивительных действиях, как например: вел. князь вдруг крадёт бриллиантовые вещи своей матери... В крае его признавали человеком умным, толковым и сравнительно простым. Вероятно, он был лишён всех чинов, т. к. постоянно ходил в штатском костюме. Наружность он имел не выдающуюся, был лысым, но во внешности его не было ничего отталкивающего”.

Витте писал по слухам. Сколько я помню, есть и другие сведения. Так, местом его женитьбы называют Казань. Притом он не был “сослан сначала в Оренб. губ.”, а сразу в Ташкент. Женился он по дороге, ибо ехал к месту ссылки, по понятным причинам без охоты, с частыми и длительными остановками. Где-то я читал ещё, что кражи происходили в Зимнем дворце. Стало быть, пострадала не только Ал-дра Иосифовна (она с семейством проживала в Мраморном дворце).

Кое-какие разрозненные сведения о вышеупомянутых “различных удивительных действиях” можно найти в изданных дневниках воен. м-ра Д.А. Милютина, м-ра вн. дел П.А. Валугева и фрейлины А.Ф. Тютчевой (дочери поэта). Выходных данных я не помню. Дневник Тютчевой издан давно, не то в 30-е, не то даже в 20-е годы. Милютин и Валугев издавали уже после войны. Занимающий тебя скандал разыгрался прямо на глазах у этих трёх персон. Там ты найдёшь и точные даты. Позже, уже по слухам, об этой истории писал в своём дневнике и А.А. Половцев, статс-секретарь. Не помню точно, что у него написано, но знаю, что автор, злой сплетник и интриган, люто ненавидел вел. кн. Конст. Ник., а с ним и всё семейство.

Наконец, о жизни великого князя в Ташкенте очень живо (и, по-моему, с симпатией) писал А. Свирский (автор best-seller'a "Рыжик") в книге "История моей жизни" (было послевоенное издание). Кажется, вся история со всякими украшениями разболтана в каком-то старом журнале – "Голос минувшего"?.. Не знаю, не читал. Кто-то рассказывал мне, будто следствие вёл нарочно приглашённый из Америки сыщик Нат Пинкертон. Тоже не читал. В названных выше дневниках-первоисточниках говорится лишь о шефе жандармов П.А. Шувалове: он-де и разоблачил великого князя.

Упомянутый у Витте Крым точно локализуется как "Ореанда", родовое поместье этой семьи, где Конст. Ник. (отец) долго жил, много строил и делал вино на продажу (у него был собственный винный магазин в Петербурге). Любопытно было бы взглянуть, что там, в Ореанде, сохранилось? Нынешний хозяин Ореанды, кажется, не столь *ho-ste-prэ-imэн*, как великие князья, но тебя, если захочешь, туда сможет провести твой приятель Цеденбал, он часто там бывает... И ещё... Думаю, о полезных деяниях Его Ими. Высочества можно что-нибудь узнать в старых подшивках каких-нибудь туркестанских газет...

На этом заканчивается вся информационная часть письма, а Цеденбал (главный начальник Монголии), которого вспомнил мой ленинградский товарищ, на самом деле после нашего концерта в Улан-Баторе пригласил к себе во дворец только меня и главного дирижёра нашего оркестра – я лишний раз убедился, что моё «искусство» пользуется громадным успехом у детей и самого неискущённого зрителя. А так как с Цеденбалом мне лично говорить было не о чем, то я выкрутился рассказыванием анекдотов, которых я тогда знал сотни. Цеденбал был в полном восторге и даже пригласил нас с дирижёром на охоту – стрелять уникальных маралов, которые сохранились только в Монголии. На моё и маральё счастье, наш дирижёр категорически отказался, сославшись на здоровье.

Письмо моего товарища-энциклопедиста вызвало во мне бурю противоречивых эмоций и поначалу острое желание докопаться в закоулках и извилинах своей предродовой генетической памяти до любых, самых мимолетных, самых неуловимых отголосков «зова высокой крови»! Но вот что меня до сих пор удивляет: ни воспоминаний С.Ю. Витте, или военного министра Д.А. Милютина, или министра внутренних дел П.А. Валуева, ни дневников фрейлины А.Ф. Тютчевой (дочери автора знаменитых стихов «Умом Россию не понять...»), ни «Истории моей жизни» А. Свирского, который «с симпатией писал» о моём возможном предке, *тогда я* не стал разыскивать и очень долго никакого интереса к ним не проявлял, подсознательно боясь, вероятно, разочароваться в своих первоначальных чувствах и представлениях.

* * *

Иногда... Вот я о чём думаю... И чем дальше, тем глубже поглощают меня эти печальные мысли. До чего бывает жалко самого себя, когда пробегаешь памятью всю свою бездарную, никчёмную жизнь с надеждой выискать в ней хоть какой-нибудь более или менее продолжительный кусочек постоянного счастья – торопишься, перескакиваешь через всякие гадости, думаешь: да пораньше, *ещё* пораньше – пятнадцать? – нет, нет, десять? Да нет, тоже нет! И упираешься, как в Берлинскую стену, в своё никудышное военное детство! Как тоскливо и больно, и как сладко ноет сердце, когда, точно во сне, вспоминаешь свои маленькие годы с большими страхами и горестями, с великими и крошечными радостями, с болезнями, одиночеством и – *запахами!* – такими стойкими, яркими, однообразными... Вечно мерещится мне одно и то же – дым костра, прохлада, цветущая вишня, пыль, прибитая ливнем, жаркая, терпкая, горьковатая... И хоть рыдай – так и тянет обратно в этот ужас: тёмная азиатская ночь, небольшой домик, звон цикад, у крыльца пылает костёр, а у костра измученная мать варит похлёбку из лебеды, крапивы и только что проросших свекольных листьев. Осталась, слава богу, потрёпанная фотография – наш маленький домик, ещё недостроенный, в глине и навозе,

а на переднем плане физиономия отца – весь в грязи, лысый, хохочет – ну и рот! А зубы! Это было ещё до войны, и я тогда только родился, но сад уже был посажен, а перед крыльцом, где как раз позже мама и раскладывала костёр, росло громадное (как мне казалось), корявое урючное дерево. Но вот другая фотография – жуткая и нелепая: тот же домик, на стуле сидит мать (бог мой, ей только тридцать два года!), худющая как смерть, вся в морщинах, с седыми висками, и в глазах у неё такая печаль и тоска, что становится страшно. А с двух сторон наши головы – моя и сестры. Сестра тоже худющая, застенчиво улыбается... А я – как ни в чём не бывало! В глазах даже какая-то живая хитринка проглядывает, мол, мы ещё посмотрим, кто кого! Вот он, жестокий эгоизм молодого жадного организма – ничего-то я и не хотел тогда понимать, а знай дёргал каждую секунду маму: хлеба, хлеба! – и она, конечно, отдавала всё, что у неё было, да ещё у сестры брала – ведь той было уже *шесть* лет!

Наш домик стоял сразу же за огромным, полудиким парком, который, как принято у нас, весьма изобретательно назывался Парком культуры и отдыха. Грабили и раздевали там поистине с высокой профессиональной культурой, а *отдыхать* оставались прирезанные насмерть беспечные ночные прохожие – *знающие* жители нашего городка шарахались от этого парка, как от чумы. А самая глухая и дальняя его часть, примыкающая как раз к нашей улочке, была отведена под зоологический сад. Как только наступали сумерки, а они обрушивались мгновенно, точно город накрывали плотным чёрным бархатом, вся наша Малая станица оглашалась дикими воплями, стонами и рыками обезумевших от голода зверей, и страшней всего был рёв самого страшного из них – громадного костлявого льва, грязного, вонючего, безумного, в кровавых ссадинах и колтунах свалявшейся шерсти. И так за все четыре года войны каждый вечер вся наша округа поворачивалась в сторону зоопарка и терпеливо ждала начала заученной наизусть дикой симфонии. Первыми всегда начинали лаять, выть и визжать шакалы, лисы, волки и особенно гнусно, с каким-то дробным повизгиванием – гиены. Дальше вворачивались, как на испорченном патефоне, парнокопытные и крупный рогатый скот – бизоны, зубры, яки, козлы, антилопы (сюда же подключались местные коровы, ишаки и собаки), затем начинали биться в истерику обезьяны, просыпались все птицы – орлы, соколы, филины, попугаи, индюки и цесарки... И вдруг – это продолжалось каждый божий день (каждый вечер я ждал именно этого момента, вот этой страшной, удивительной паузы) – вдруг словно из-за такта раздавался могучий рёв, вопль, рык – Требование, Угроза, Обида, Отчаяние, Ярость, ничем не сдерживаемые, нечто подобное: В-а-А-у-У-у-о-о-О-о-а-а-А-А-Э-э-у-ы-ы-Ы-Ы-и-и-ы-х-Х!!! И затем – опять пауза, тишина, жуть – совсем короткая, на мгновение... Ужас, озноб, мурашки по коже, напряжение всех мышц – рвануться бы куда-нибудь, бежать, вскарабкаться на дерево, зарыться в землю... И – новый взрыв паники и воплей: Хлеба! Сена! МЯСА! ТРУПОВ!!!

И я – жалкий, крохотный, трёх-четырёх-пяти-шестилетний мальчонка – каждый день, каждые сумерки, все четыре года подряд слушал, поёживаясь, эти голодные завывания, эти немыслимые поп-артовские концерты, неотделимой частью которых были беспросветная ночь, собственный голод, запах горевшей полыни, отблески от костра на измученных лицах матери и сестры и ещё – панический страх, основной компонент, главная тема, доходившая до кульминации в конце, – *страх*, что из этой тьмы, из зарослей терновника вдруг выскочат одновременно все эти чудовища или одно громадное *ЧУДИЩЕ* со всеми этими рыками, визгами и завываниями сразу и с одной – выше нашего дома! – мордой со всеми этими клыками, бивнями, зубами, шерстью и налитыми кровью глазами!

И я убежал в дом и садился к столу, на котором стояла маленькая коптилка, сделанная из пузырька от лекарства, садился так, чтобы передо мной и чуть левее от меня был огонёк керосинки, а справа через распахнутую дверь я мог видеть пылающий костёр под урючным деревом и слышать спокойный голос матери. Постепенно звери в зоопарке успокаивались, я благодарил уж не знаю каких богов, что на сей раз решётки и двери клеток выдержали, и начинал клевать носом (если не болели *цыпки* на ногах), но тут мама вносила еду, и я, продолжая

полуспать-полубодрствовать (сон, как ни странно, почти всегда одолевал голод), с отвращением пережёвывал безвкусную бумажно-верёвочную похлёбку.

Но боже мой! Как меня мучили, как терзали меня эти мои вечные цыпки на руках и ногах! Да знает ли сейчас кто-нибудь, что такое *цыпки*? Разве что эфиоп какой или низвергнутый свободой и независимостью на самую последнюю ступень нищеты вьетнамец или кубинец? Начиная с апреля и до самой осени мне приходилось бегать босиком по лужам, арыкам, в грязи, в пыли, в жару, в дождь, по садам и огородам, камням, зарослям малины, ежевики, колючим кустам терновника или барбариса; вечно я ходил ободранный и покусанный соседскими собаками – у меня, как у всех детей войны, была неумная страсть кормиться в чужих садах и огородах, – всегда со сбитыми ногтями, занозами, порезами и нарывами, и всё-таки разве что-нибудь на свете могло сравниться с моими цыпками? Мои руки и ноги походили тогда на ноги и руки гипсовых пионеров, простоявших у подъездов школ на своих дурацких шарах лет тридцать, не менее, – слои извести и краски у таких горнистов и барабанщиков обычно заворачивались от дождей и непогоды квадратными ошмётками, а из-под них выглядывал серый гипс – мясо, а то и ржавые стержни – кости несчастных потомков Павлика Морозова. Мои же цыпки, точно кракелюры на древних иконах, разрывали мою кожу на мелкие квадратики, из которых при каждом движении сочилась кровь и сукровица, которая потом запекалась, лопалась снова, снова сочилась и снова запекалась, и моя нога в конце концов покрывалась толстенной буровато-чёрной бронёй-коростой, которая ныла, зудела, нарывала, стискивала мои ножки стальными испанскими инквизиторскими башмачками и не давала мне ни житья, ни покоя. Ни о каких ботинках, тапочках и туфельках не могло быть и речи; ни о каких кремах, вазелинах и лекарствах невозможно было и мечтать – ничего нельзя было ни достать, ни купить на жалкую мамину зарплату, хотя работала она одновременно в двух школах (в каждой школе она получала 700 рублей в месяц, а буханка чёрного хлеба на барахолке стоила 600, и поэтому самым большим несчастьем в военное время была потеря хлебных карточек). И мама моя набирала с купленного на последние деньги молока сливок-пенек, снимала с простокваши сметану и мазала, обливаясь слезами, этой смесью мои изувеченные ноги. За ночь мне становилось полегче, но на следующий день всё начиналось снова – мог ли кто уследить за пятилетним сорванцом, оставленным практически без присмотра на целый день? Моя несчастная мать носилась из школы в школу, из обеих школ – домой; забегала только на двадцать-тридцать минут покормить, отдать распоряжения сестре, наспех потискать детей, заставить принять лекарство (я вечно чем-то болел) и убегала снова, как загнанная тощая кляча, – сама больная, издёрганная, нервная и до смерти запуганная свистками и гудками фабрик, приказами горono и арестами НКВД.

* * *

Впрочем, стоит ли серьёзно относиться к мрачным воспоминаниям своего детства? Экая ерунда! Разве понимает младенец, рождённый в тюремной камере, что где-то рядом, за стеной есть яркий, солнечный мир; разве не зависит наше душевное состояние, наши радости и горести – большие и маленькие – только от степени нашего невежества! Вот, к примеру, живёт тут у нас по соседству мужичишко – неказистый, сухонький, любит выпить, как все мужики его склада, напившись, ругается с женой, по утрам собирает бутылки по помойкам, летом во дворе каждый вечер играет в домино, словом – нормальный, неприметный, занюханный советский мужичок, каких у нас миллионы; никто про него вообще ничего-то не знал, пока – вдруг – на тебе! – не приходит ему приглашение от самых близких родственников из Канады погостить у них пару месяцев. Ну, думают ТАМ, мужичок безобидный, старый, никому не нужный, да и тихоня, как выяснилось, двух слов связать не может... Короче, выпустили его с богом. А через два месяца вернулся он не просто *другим* – ну, можно было бы подумать, придавленным

канадским изобилием, убитым, несчастным – так нет! Скорее даже счастливым в своих переживаниях, в состоянии лихорадочной, восторженной, счастливой радости-ненависти, слишком перевозбуждённым от своего открытия мира, неожиданного прозрения и – более всего – от неудержимого желания (скорее потребности) открыть этот мир друзьям и соседям. Никто сначала и не узнал его – чистый, шикарно одетый, стриженный, бритый, необычно энергичный и радостный. «Помойка! – кричал он первому встречному. – Это же помойка!! Мы живем в помойке!!! Ты живёшь в помойке, он живёт в помойке! ВСЕ МЫ ЖИВЁМ В ПОМОЙКЕ!» Но больше всего мучил его один неразрешимый вопрос – как же так получилось, что в Канаде полно электричества, а Ильича там и духу не было? «Лампочка Ильича! Лампочка Ильича! – кричал он везде – и в магазинах, и во дворе, и просто на улицах, собирая вокруг себя народишко. – У них там Ильича этого сроду не было, а свету полно и днём и ночью! Помойка, верное слово ПОМОЙКА, уж мне-то вы можете поверить!» – и продолжал дальше свои упражнения в спряжении, которые никакая сила не могла остановить: «Ты живёшь, он живёт... она... Все мы живём в ПОМОЙКЕ!» И никто с ним не мог справиться – ни милиция, ни управдом, ни родственники, ни соседи, ни ЖЭК... Люди из КГБ пытались его припугнуть сумасшедшим домом, но он им показал фигу – нате-кась, выкусите! Его родственники в Монреале оказались тамошними депутатами, и его даже стали приглашать на приёмы в канадское посольство. Так что и КГБ на него плюнул: всем и каждому, стуча себя в грудь, с пеной у рта, доказывая, что он не сумасшедший, повторял он одно и то же, одно своё: «ПО-МОЙ-КА!!! Эх вы, несчастные! Да вы бы только поглядели, как люди-то живут!» А вот не ездил бы никуда (ну-ка, друзья-полковнички, намотайте себе на ус!), не шлялся бы по заграницам, так бы и оставался тихоней – довольствовался бы своим домино, тридцатирублёвой пенсией, бутылочкой на троих, и его родная, дворовая, вонючая помойка никогда бы не подтолкнула его к столь опасным обобщениям.

Я же, слава Тебе, Господи, не знал ни электричества, ни Канады, ни конфет, ни мармелада, ни халвы, ни паровозов, ни свободы печати, ни конституции, ни расстрелов, ни репрессий. Знал только, что в нашем районе самым «страшным» и уважаемым человеком был участковый милиционер, а во всём МИРЕ – Сталин, и на вопрос «Кем ты хочешь стать?», к несказанному ужасу мамы, всегда отвечал, спокойно и твёрдо: «Сталиным». Но, подумав несколько секунд, *реально* оценив *Möglichkeit*, снисходительно добавлял: «Или милиционером». А что касается моей голодной и, на сторонний взгляд, безрадостной жизни, то я считал, что так оно и должно быть, и только, затаив дыхание, слушал волшебные сказки о том золотом времени, когда недоеденные булки выбрасывались, а чай пили с конфетами и вареньем. Крапива, лебеда, кукурузные лепёшки, картофель в мундире (весьма, между прочим, здоровая и не без витаминов пища) и, наконец, ЖМЫХ – самое сладкое из того, что было в ту пору (кто сейчас, кроме скота и моего поколения, знает, что это такое!). А по праздникам варёная красная свёкла – это-то и называлось у нас мармеладом! И на всех – кружка молока! Я ждал чуда, когда кипятили молоко и оно начинало подниматься, и всегда кричал: «Не снимай! Сейчас его будет больше!» И всё это, как и вечные мои поносы, дизентерии, скарлатины, свинки, воспаления лёгких, коклюши и ангины, – всё это казалось мне НОРМОЙ, тем, что просто необходимо время от времени каждому, без чего ну никак нельзя обойтись! Часами, сутками, неделями просиживал или пролёживал я дома во время моих бесчисленных болезней в полном одиночестве – (ах, дети мои, если бы вы знали, как... как... вот видите, я уже плачу...) – да, да, в полном одиночестве, ожидая смиренно, когда придёт из детского сада сестра или из школы мама, часами разглядывая открытки с картинками из Лувра или из Третьяковской галереи (вот откуда моё пристрастие к ортодоксальному Реализму!) или барабаня ложкой по звонким баночкам и бутылочкам с микстурой и – самое любимое и самое громкое – по моему эмалированному горшку! Вот откуда мой талант и страсть к ударным! Вот каким образом я стал ксилофонистом-виртуозом! Или листая сказки Гауфа и братьев Grimm с дореволюционными

(ах, дедушка Николай, дедушка Николай!) иллюстрациями, привычно болея, тихо постанывая самому себе, потолку, стенам и на них – клопам и мухам. Как-то в один из таких мрачных дней я сполз кое-как с кровати и, усевшись на мой любимый горшок, несколько перенапрягся (увы, запоры меня мучили с пелёнок) – и каков же был мой ужас, когда в горшке вместо моего обычного поносного говна я увидел нечто яркое, розовато-красное, длинное и тяжёлое, похожее на неведомое животное, оказавшееся моей собственной прямой кишкой (прошу прощения у дам), выпавшей полностью от чрезмерной слабости, с одной стороны, и излишнего напряжения, с другой! И как тут не пожалеть самого себя! Как тут не запаниковать! Чего я только не делал! Я и запикивал её назад, но от моих стараний она только разбухла и, казалось, так и лезла наружу, точно каша из волшебного горшочка. Я рыдал и звал на помощь, но куда там! Всё было бесполезно, и, главное, я это знал! Вот вам, мои дорогие дети, и моя *первая* встреча с ОТЧАЯНИЕМ – да минует вас сия чаша – подобный ночной горшок! Так я и просидел на нём со своей кишкой до самого вечера, пока не пришла мать и, перевернув за ноги головой вниз, встряхивая меня, как мешок, не затолкала мою несчастную кишку на место, и я помню, как мать причитала и плакала навзрыд, проклиная судьбу, которая взвалила на её хилые плечи столько бед и несправедливостей.

* * *

Всё. Баста. Генук. Инаф. Финита. ДО-ВО-ЛЬ-НО! Надоело копаться в своём детстве – канючить, пыхтеть, сопеть, плакаться – достойно ли это *Прямого* потомка Romanoff's – моей пусть незаконнорождённой, но всё же Highnes! Так, пожалуй, я не доберусь и до самого важного, того, что меня и толкнуло на это неблагодарное (пока, пока, я надеюсь) занятие – писание оправдательного документа моей непутёвой жизни; впереди ещё столько всего – событий, людей, вещей, женщин, перемещений, радостей и путешествий! Ещё так много надо сказать, отмочить, загнуть, ляпнуть, так много вспомнить, додумать, доискаться, что голова идёт кругом – когда же? Где мне найти время? Силы? Как перебороть свою мерзкую, тяжёлую на подъём Лень (ей бы только спать да валяться на диване). Как подхлестнуть костлявую облезлую клячу – *Усталость*? – эту лошадёнку на трясущихся ногах, готовую свалиться где угодно, лишь бы не тащить мою Телегу – Повозку – Карету?! Господи! Призываю Тебя в свидетели – разве я не облегчил как мог этот громоздкий шарабан? Разве я не выкинул из него самое тяжёлое, несносное и невыносимое?! Ну, подумаешь, – два-три ругательства, три-четыре взрыва откровенности, пять-шесть непристойностей... Конечно, друзья мои, это не придворный этикет, не самый хороший тон, не самый изысканный вкус, но... Вот вам, дети, ещё одно оправдание – меня не воспитывали великие Жуковские, Феты, Достоевские и всякие Победоносцевы (не дай бог!). Ко всему, что у меня имеется сейчас (а как вам известно, кроме болезней, теории долголетия и ещё одной идеи фикс – о ней вы узнаете чуть позже), я не имею *ни-че-го* – ни дома, ни семьи, ни денег, ни какого-нибудь захудалого автомобиля, не говоря уже о достойном образовании, приличном воспитании и изящных манерах. Итак, ко всему, что я имею сейчас, а также к отсутствию всего, чего у меня нет и никогда уже не будет, я *пришёл сам*, своим маленьким, но настырным умишком. Но как долго я до всего доходил! С каким терпением! С какими муками! И как всё могло сократиться, ужаться, какая могучая энергия могла быть сохранена, будь у меня всего-то ничего, какой-нибудь заваливающий наставник!

Словом, надежда только на одно: на поучительный опыт, вернее, стиль жизни старых мастеров, которые вставали в пять-шесть утра, работали не спеша до полудня, а потом отправлялись гулять, пить, убивать друг друга на дуэлях, веселиться, любить – счастливики! У них после насыщенной работы впереди оставался громадный день, – и всё-то они успевали! Э-э-э, но позвольте! Ведь это всё было в Италии! Или на худой конец в Испании! Или Франции! Где вовсе нет зимы! Где изобилие солнца, света, тепла, фруктов! Полуобнажённых соблазни-

тельных женщин! Живописи! Архитектуры! Где дворцы, роскошные замки и простые неказистые двухэтажные особняки строили, строго учитывая направление ветра, отсутствие каких-либо зловонных испарений или даже просто застойного воздуха! Мой дорогой Альберти! Мои великие, наивные, славные старики – Леонардо, Микеланджело! Мои обожаемые Мантенья и Перуджино! И вы ещё на что-то жаловались?! Что-то вам было не по себе! Поистине, всё познаётся в сравнении: я – старый мудак (да, да, это самое что ни на есть наказание Божие – Бога предали, Бога ирода-ли, царя убили – так нам и надо!), так вот, я – старый мудак, в чьих жилах, возможно, течёт струя благороднейшей крови (да простит мне Господь моё столь понятное тщеславие!), до сих пор – а мне уже за тридцать! – до сих пор *НИКОГДА* не имел своего угла! Чего же вы хотите от меня, дети мои, если приходится мне даже оправдываться наскоками, урывками, набегам, чиркать чем попало на чём попало – на жалких клочках бумаги. Сейчас, к примеру, сижу я скрюченный в три погибели в маленьком, неуютном номере-комнатушке, отстучав два часа назад своими палками Паганини и Сарасате на грязной сцене бездарного, богом забытого городка, куда забросила меня моя постыдная и постылая работа. Что вы от меня хотите, если вещи мои разбросаны там и сям, мои любимые книжки давно не читаются (я всё никак не могу собрать их вместе), мои драгоценные картинки не висят на стенках у меня перед глазами, а сплю я где попало, на чём попало и на ком попало уже лет десять, никак не меньше?! Правда, иногда я начинал перебирать в мыслях все свои поездки, а среди бумаг фотографии некоторых моих детишек, но, к моему несчастью и острым угрызениям моей совести, через какое-то время моя забота о них куда-то улетучивалась. Я никогда в жизни не писал стихов, но однажды в состоянии подобного «угрызения» меня вдруг что-то пронзило и я даже проследил! Я тогда почти пять лет с перерывами снимал в Измайлово на 7-й Парковой улице глубокий подвал, и под моим окном, которое находилось на полметра выше моей головы, в какой-то щели все эти годы вила гнездо очень славная птичка – трясогузка. Вот вам, дети мои, это моё самое первое стихотворение, доказывающее (показывающее?) всю мою *НЕзаботу* о вас:

Птичка под моим окном!
Трясогузочка, кокетка,
день за днём ты об одном:
как бы сыты были детки!

И за пять последних лет
их уже должна быть стая!
Только птенчиков всё нет —
арифметика простая.

А возможно, ты и есть
новый птенчик год от года
и несёшь благую весть
трясогузкиного рода?

Только всё ж сдаётся мне —
ты одна все эти лета
помнишь о моём окне,
детки же порхают где-то.

Вот и я своих детей
разбросал по весям, градам...
Ни звонков и ни вестей.

Так мне, видимо, и надо.

Ну как тут не прыгать и в моём повествовании то туда, то сюда, то вперёд, то назад, да и вообще я подумываю вот о чём: не пропустить ли мне под шумок моё скучное и занудное отрочество – что в нём интересного! Разве что...

* * *

«А не выпить ли тебе водочки?» – спросил меня как-то вечером мой приятель-скрипач (всё в той же захудалой гостинице), но так как тогда я чувствовал себя неважно – моя простата ни с того ни с сего (честное, благородное слово!) что-то совсем разнылась, раздулась, как-то даже раскисла и стала отдавать с тошнотворно знакомым чувством эдакого свербения в некоторых местах, – я, чуть подумав, выпить всё же отказался, а чтобы мой приятель больше не настаивал, добавил: «От этой маленькой рюмки мой коварный простатит (что уже не раз бывало) может перейти в небольшое воспаление, воспаление – в уретрит; уретрит, чего доброго, – в триппер, а триппер...» – «Да как же это?» – вытаращил глаза мой приятель (он был моложе меня лет на десять и верил каждому моему слову). «О-о-о! Чего только не бывает на свете!» – а сам подумал горестно и обречённо, как думаю всегда, стоит только чему-нибудь разболеться: Господи! А ведь мне ещё жить до ста двадцати – ста тридцати лет! Стоило ли мне добровольно взваливать на себя эту тяжкую ношу? Не поторопился ли я с изобретением моей Идеи, которая в одно мгновение переворачивает все теории геронтологов и вообще зачёркивает необходимость во всех их пустых и никчёмных исследованиях? Короче говоря, мои друзья, дети, добрые и злые, глупые и умные матери моих детей; мои милейшие, давно и недавно забытые, брошенные и бросившие меня любовницы, а также мои будущие очаровательные избранницы, которым сейчас может быть всего-то годиков пять-шесть (не пугайтесь, бабушки и папы, за своих внушек и дочек – не успеете оглянуться, как промелькнёт лет пятнадцать, вы умрёте, состаритесь, а ваши внучки и дочки... О-о-о! А мне-то ещё и полтинника не будет!).

Итак, если вы хотите жить столько же лет, сколько и я (и так же весело, насыщенно, беспечно и почти безбедно), – а кстати, заметили ли вы, что я говорю о своём стотридцатилетии как о вещи само собой разумеющейся, как о чём-то *уже* свершившемся, уже исполнившемся? И если заметили, то постарайтесь попридержать это в памяти, – словом (последний раз, вот вам крест!), если вы хотите... и т. д. и т. п., то вам прежде всего, не отходя от этой странички, необходимо собраться с духом и правдиво (вам это будет легко, если вы читаете её наедине, без свидетелей) ответить на мои два вопроса, то есть сказать чистую правду, ничего не утаивая и не приукрашивая. Вопрос первый: каков ваш возраст? Вопрос второй: кажется ли вам ваша прожитая жизнь при мгновенном и, как любят выражаться критики, ретроспективном на неё взгляде необыкновенно короткой – таким бессмысленным пшиком, плевком, чихом, отрыжкой, тихим или трескучим Futz'em (язык не поворачивается сказать это по-русски – благо немцы всегда относились к физиологическим отправлениям намного проще, чем мы, и придумали слово поприличнее; да к тому же у нас в министерстве культуры совсем недавно царствовала мадам Фурцева – бедные честные немецкие коммунисты! Как им приходилось выкручиваться, когда она приезжала с визитом в ГДР! И как, вероятно, злорадствовали свободные немцы, когда она оказывалась в ФРГ). Ну до чего подходящая фамилия для министра *нашей* культуры! Или – или... Или – я возвращаюсь к началу моего длинного второго вопроса – или же ваша жизнь кажется вам настолько значительной, долгой, вполне осмысленной и, главное, в такой степени достойной, что вы можете беспечно почивать на лаврах и ожидать от Судьбы новых наград – щедрых и соответствующих вашим доблестным деяниям. Вот вам, как говорится, и все дела. Если вы соврётё и не ответите правильно на первый вопрос (есть, между прочим, на свете дамы, завравшиеся до такой степени, что даже в глубине души, сами себе,

никогда и ни за что не признаются, что им давно уже за сорок... пять) или же на вопрос второй мгновенно, с негодованием отвергнете первое – такое оскорбительное! – предположение и станете доказывать, что вы прожили вашу жизнь с достоинством, в беззаветном служении Партии и Народу, высоким Идеалам, Любви, Культуре, наконец, как наш упомянутый выше благоухающий министр; что вы так много выстрадали, борясь за светлое будущее трудящихся... И так далее, и так далее... Если всё будет именно так, то вам, мои драгоценные, не прожить и того, что вам отпущено судьбой, – непременно что-нибудь случится, и вы скончаетесь раньше времени, а уж если дотянете до своего предела, то в таком неприглядном виде, что не приведи Господь. Но... если же вы сразу – вскочив, если вы лежали на диване, подпрыгнув, если стояли столбом, вскрикнете: мне уже сорок два! Пятьдесят! Семьдесят! И на второй вопрос, словно только сейчас вам открылась истина, так же недоуменно-радостно воскликнете:

«Да-да, точно, – просто плевок какой-то, пшик!» Тогда вы спасены – вам теперь надо вникнуть в мой самый главный вопрос: «Сударь (или сударыня), неужели вам трудно ещё раза три точно так же “пшикнуть”?» И посчитайте-ка: сорок, да сорок, да ещё сорок – вот вам и сто двадцать; семьдесят и семьдесят – вот и все сто сорок, ну и т. д.!

* * *

Так вот, дорогие мои детишки, жить сто тридцать лет очень печально – ведь если вы не воспримете мою Идею Долгожительства до конца и откажетесь от ваших ста пятидесяти лет, то мне, несчастному старцу, придётся хоронить не только вас и ваших детей, а, не дай бог, и ваших внуков – вот тут-то меня и постигнет самое безнадёжное одиночество! Буду я торчать, словно прогнивший пень среди молодой поросли, на который не то что присесть – опереться страшно – того и гляди рассыплется в пыль и прах. О, мудрая старость! О, убелённое сединами спокойствие, пронизательность, неторопливость и степенность в движении, чувствах, словах, освобождённых от бремени страстей! О, божественная ясность и всепрощение! Да существуете ли вы?! Есть ли какое-то спасение даже в самой ранней старости от маразма, склероза, жалкой глупости, суетливой похотливости, от инфантильного («что старый, что малый») садизма, тупого упрямства, эгоистических капризов, беспочвенных подозрений, бессмысленной жадности, недержания речи, гнева, слёз, мочи... И можно ли сойти в гроб спокойно, смиренно, с благодарностью помолившись Господу, даже радостно и торжественно, сознавая не только неотвратимость этого уникального момента, но и неведомую необходимость перехода, скачка, взрыва, распыления, растворения, воскрешения или, наконец, достижения Абсолюта, совершеннейшего НИЧТО??!!

«Можно, непременно можно!» – толкает меня в бок моя теория, правда, не совсем уверенно, но с некоторой надеждой. «Да куда там!» – уныло и обречённо отвечает моё уставшее тело, по которому, словно по громоздкому довоенному ламповому приёмнику, медленно, заходя во все потаённые уголки, тут же начинает протекать ток противной боли, смешанной с настырной сутью моей идеи, – где-то задерживается, где-то муторно потрескивает, где-то перекаливает за счёт перегоревшей лампы другую, рассчитанную на меньшее напряжение... Но нет! Как только лампы нагрелись и налились током, приёмник зашипел, запыхтел, загудел... «Держись!» – радостно вопит моя теория и подхлёстывает Дух. – Мы ещё починимся! Сменим устаревшие лампы на транзисторы! Заменяем каркас, перемонтируем и утрамбуем кишочки, подберём новую шкалу, закажем в Японии новенькие динамики и...» – «Да, да!» – кричит в ответ, радостно всхлипывая, точно ребёнок после горькой истерики, помолодевшее тело и на самом деле начинает полегоньку перестраиваться, крепнуть, подсыхать, худеть, вытягиваться в струнку и наливаясь соками прямо на глазах, как тропическое растение после ливня! И мир снова становится добрым и прекрасным, а жизнь – радостной и полной надежд!

Только, друзья мои, как же быть со стариком Альберти? С итальянскими мастерами? С могучими дубами Возрождения? Со зловонными испарениями и концертами в ядовитых городах – Магнитогорске, Челябинске, Мончегорске, Караганде, Семипалатинске?.. Как быть с южной стороной, свежим ветерком, круглым летом, вечным солнцем, просторной мастерской, креслом-качалкой, загорелыми женщинами, моим шарабаном, который еле тащится, и, главное, как быть со сладчайшей... Но... Нет! НЕТ!!! Ещё не время раскрывать мою главную Тайну, мою самую сладкую Мечту, без осуществления которой я вряд ли дотяну и до семидесяти, несмотря на то что моя замечательная идея долголетия не зависит ни от каких побочных явлений – просто моё Свободное Воображение пристегнуло намертво к моей Идее мою главную Тайну, и они вот уже лет пятнадцать, как гоголевская тройка, скачут вместе чёрт знает в какую пропасть, в неведомое Тартарары.

И всё-таки... И всё-таки так и подмывает меня ещё разика два окунуться в чистый азиатский арык моего детства, с обеих сторон которого когда-то прохладно шелестели серебристые тополи – увы, тополи уже давно не шелестят, а потрескивают да постукивают голыми, сухими ветками, похожими на обглоданные ветром рёбра дохлого верблюда в пустыне. А воды зато прибавилось, но и тут, дети мои, всё не то и не так – вода стала совсем грязной и вонючей... Нет, нет! Что вы! Я совсем не брюзжу, как старик: «Вот в наше время...» Вовсе нет. **НО Я БЫЛ ТАМ СОВСЕМ НЕДАВНО.** Подошёл – и как на представлении факира – **НЕТУ! НИЧЕГО НЕТ!** «Засрали двор, настроили сараев...» – как сказал поэт. Всё снесли, всё моё детство срыли бульдозером, сровняли лопатами, залили асфальтом. Но я-то всё вижу – вот здесь, перед глазами – каждую травинку, каждый булыжник, даже болты на старых воротах могу пересчитать по пальцам! Господи! Ну вот же он, весь мой двор, вот он, мой квартал, как на ладони, с каждым втоптанном в землю кирпичом, о которые не раз я сбивал пальцы в кровь, с каждой ямкой, холмиком, со всеми помойками и мусорными ящиками, деревьями, кустами, зарослями крапивы и лопуха, разбитыми сарайчиками и безобразными дощатыми туалетами, на крышах которых скворечниками торчали квадратные деревянные вентиляционные трубы... Боже, где всё это? Где? Ах, Настя, Настя! Вот так и ты торчишь у меня перед глазами уже пятнадцать лет, молоденькой парикмахершей, снишься мне иногда той, что была давным-давно, – прелестной истеричкой, порочной садисткой, сладкой гадиной, паникёршей, интриганкой, – ты-то куда подевалась?! Какие бульдозеры трудились над тобой, что превратилась ты в *чудовище* – жирную, большеголовую, с оплывшим лицом-лопатой, – в наглую и страшную бабу? И – о, человеческая глупость и тщеславие! – ты продолжаешь думать, что все твои старые уловки действуют на меня так же безотказно, как пятнадцать лет назад! Дражайшая Анастасия Петровна! При нашей последней встрече я с удовольствием подыгрывал тебе и – да простит меня Господь – обманывал тебя безо всякого злого умысла, а ты и не видела этого вовсе – только ещё больше раздавалась вширь от самодовольства, напирала на меня всей своей тушей и не хохотала заливисто-заразительно, как это было в наши далёкие времена, а ржала, как бегемот, показывая мне всю свою пасть с чёрными пломбами и золотыми фиксами. Но кто может сказать, что это всё такое?! Тоска? Ностальгия? Но по кому? По чему? По призраку? По мгновению? Но ведь я до сих пор иногда просыпаюсь ночами в восторженном неверии, что я только сию секунду держал в объятиях её – мою любовь пятнадцатилетней давности, хотя Настю-Бегемота я видел всего-то полтора года назад. Но тогда – кого держал? Чьи волосы гладил? По кому проливал горючие слёзы – я – тридцатидвухлетний? Что за напасть такая! Что за чертовщина?! Ах, мой дворик, мой дворик! Моё урючное дерево! Мои заросли малины! Ах ты, моя Настенька! Нет! Не может быть, чтобы всё это уже не существовало! Весь асфальт и железобетон новых кварталов; вся дебелисть, бесформенность, глупость, уродство, хамство моей постаревшей Настеньки – всё это *Подмена! Подделка! Обман! Чистое Надувательство! НАГЛЫЕ ПРОДЕЛКИ ДЬЯВОЛА!!!* Я верю, да, я свято верю, что либо я когда-нибудь так и останусь в своём сне – в моём стареньком дворике с моей молодой богиней Настенькой (то

есть усну и уже никогда не проснусь) – либо овеществлю свою зыбкую мечту ещё в этом мире, переведу её из своего воображения и сна в мою собственную реальность – сделаю мой дворик с моей Настенькой зримыми по меньшей мере для одного себя, то есть, мягко говоря, просто-напросто сойду с ума.

* * *

Через полгода после визита моей подурневшей Настеньки в мой подвал случилась совсем уж для меня неприятная история – меня обокрала моя подвальная хозяйка, вынесла всё, что там было, но главное, мой портфель с бумагами, фотографиями и письмом отца! И я остался в тапочках, старых джинсах и майке – в таком виде я пошёл искать такси, чтобы переехать в «нормальную» комнату, которую я снял на Плющихе. И вот тогда меня второй раз в жизни хоть как-то поддержала Поэзия – в полном отчаянии я написал свой второй (и, надеюсь, последний) стих. Я назвал его «Сонетом»:

Вот ты увидишь – вдруг настанет миг,
когда ты потеряешь след и нить,
и память первых жён и лучших книг
придётся вмиг тебе похоронить.

И станешь, горемыка мой, считать
по пальцам на руке своей живых,
всех любящих тебя. И только мать
останется мизинцем среди них.

Ты кинешься смотреть забытый фильм
из фотографий, писем и бумаг,
но твой сосед уже стащил в утиль
тугой портфель, чтоб выручить пятак.

Все сны похорони в одно мгновение
и понеси свой крест – *ОСВОБОЖДЕНИЕ*.

Вот так я остался не только *без всего*, но и без последнего, пусть эфемерного, но *реального документа* моей ВОЗМОЖНОЙ РОДОСЛОВНОЙ. Честно признаюсь – до сего дня я скорблю об этой невозполнимой потере.

* * *

Но вернёмся к нашему «креслу эпохи XVIII века» – насколько мне не изменяет память, следует признаться, что с самых первых шагов в моей личной (точнее – *приватной*) жизни, когда оно ещё было новёхоньким и сияло, словно надраенный кирпичом самовар, в моём характере уже проявились все те разрушительные качества, которые и привели меня к столь плачевному состоянию в настоящем, как то: неутолимая страсть к путешествиям и всяческим переменам, ещё более неутолимый интерес к сексу и болезненно-обострённое чувство правды и справедливости. Бог мой! Да разве можно жить в России с такими порочными, с такими – как бы сказали в двадцатых годах – перверсными наклонностями? Уже в пять лет я был ярко выраженным сексуальным маньяком – когда я не был заперт дома из-за бесчисленных болезней, я буквально дня не мог прожить без своего детского сада, чтобы досыта, всласть, до

головокружения не насмотреться на опьяняющий розоватый, пухлый пирожочек, заманчиво и выпукло прилепившийся под нежным животиком моей детсадовской подружки Люси: каждое утро я караулил момент, когда она надевала форменные трусики (какое счастье, что нас считали совсем глупыми и позволяли переодеваться всем вместе!) – я с дрожью ждал эти минуты, как бы случайно оказываясь рядом, полегоньку оттеснял глупую Люсеньку в полутёмный угол беседки и там заставлял её показывать мне все её драгоценные прелести в мельчайших подробностях. Я рвался в детский сад, я нёсся туда на крыльях удивления и восторга только ради этих утренних минут в беседке да коротких суетливых столкновений и встреч в коридорах, в саду, в кустах или в спальне. О да, я был влюблён страстно, упоительно, но... не в мою милую и покорную Люсеньку, нет! – я грезил, бредил, видел во сне и наяву только нежно-розовые, сочные и мягкие лепестки её продолговатого, набухшего бутона, только её тёплый волшебный кошёлёк со всякими неведомыми тайнами, эту живую алозамшевую копилку... Вот так с тех самых пор всё мироздание, начиная с Люсеньки и заканчивая всеми возможными и невозможными катаклизмами, сконцентрировалось у меня, как солнечные лучи при помощи линзы, в этой таинственной и загадочной орхидее, в этой ласковой, манящей, как бездонная пропасть, хищной, жадной и ненасытной актинии!.. Ах, дети мои! Вот вам, по крайней мере, главная из совокупности тех причин, по которым вы появились на свет, и скорее вы должны винить ту яркую люльку, в которой вас нашёл аист, а не самого аиста.

Первое самостоятельное путешествие я совершил в два с половиной года. Мама уехала на курорт, а двоюродная сестра, которую оставили со мной, сказала мне, что мама ушла к тётке Рите, которую мы с мамой часто навещали. Это было летом, за две недели до начала войны, я был босиком, без трусиков и в рубашонке до колен. Я прошёл весь путь по самым диким местам нашей Малой станицы, протопал мимо ужасного зверинца, пересёк весь громадный ПАРК КУЛЬТУРЫ и, только выйдя к остановке трамвая, увидев толпу людей и громыхающие вагоны, разревелся и был препровождён в ближайшее отделение милиции. Через год после моего первого путешествия – в самый голодный год войны – я увязался за группой «почти взрослых» шести-семилетних ребятишек и вместе с ними «пошёл в горы за дровами, боярышником, барбарисом и диким чесноком», пропадал с ними целый день и почти ночью с гордостью вернулся домой, волоча за собой сухую палку, будучи уверен, что за все мои страдания – сбитые ноги, пройденные километры и, главное, добытые «дрова» – удостоюсь материнской благодарности, но был ею безжалостно высечен на глазах у всей улицы, уже собравшейся идти на наши поиски. С тех самых пор моя жизнь – сплошное бегство, нескончаемые мытарства, грязная и пёстрая цыганщина. С тех пор неустанно мотаюсь я по дозволенной мне нашими «великими человеколюбцами» территории в одну шестую часть света под трескучий аккомпанемент великих Паганини, Моцарта, Сарасате, Листа и проч., молясь каждый день, каждую ночь вот уже больше десяти лет о том мгновении, когда наконец-то я окажусь в любой точке земного шара «по ту сторону баррикад добра и зла», где по меньшей мере я обрету душевный покой. О, Господи! Да поверит ли кто, что человек, дурак дураком проживший тридцать два года, нищий, бездомный, всю жизнь обираемый тупым и безжалостным Гангстером-Государством, – поверит ли кто, что больной, стареющий, лысеющий, обременённый детьми и, как водится, долгами человек, не наживший ни кола, ни двора, ни денег, ни положения (чего стоит гастрольная гонка по городам и весям соведпии российского крепостного артиста-фигляра с неизменной ставкой 8 р. за выступление?!), каждый час, каждую минуту думает только об одном – Бежать! Бежать!! Бежать!!! Но куда? Зачем? Для чего? К кому?! (Ах, дети мои, спросите лучше – от чего? от кого?) Нет чтобы остепениться, успокоиться, в третий (или в пятый?) раз жениться, завести нормальную семью, занять какое-то положение в обществе, словом, стать наконец *человеком*! Куда там! Как в два года потопал невесть куда без штанов, так без порток околеешь где-нибудь на грязной обочине, переезжая в расхлябанном автобусе из одного богом забытом городишки в другой, или «подохнешь в своём вонючем подвале!» – браво, Настенька,

как это ты метко, однако, заметила в порыве гнева во время нашей последней встречи! Вот блестящий и весьма возможный конец всех твоих глупых походов.

Но, мои дорогие детишки, пора наконец сказать и о Величайшей Привилегии, которую мне дало весёленькое и прекошмарнейшее детство: с самых пелёнок, из самого первого ряда партера, почти совсем как небезызвестный внучек мифического каширского дедушки, я всласть насмотрелся на самое низкое и откровенное людское зверство! Как я помню свирепые драки, кровавые избиения, грязную ругань, убийства и неудержимую, патологическую злобу! Как ясно и чётко я вижу сейчас чудовищную сцену, свидетелем которой я оказался от начала и до конца: разъярённая толпа на моих глазах догнала толстую рыхлую воровку с маленькой девочкой на руках – я бодро шагал из детского сада по пыльной дороге, ярко светило вечернее солнце, и вдруг – крики, визг, вой, плач ребёнка, потоки крови... Клубок мерзких тел злобно, поспешно, с трусливой отвагой и плотоядным вождением торопящегося к оргазму насильника – ногтями, зубами, камнями, палками, вилками, у кого что было, злорадно крякая и матерясь, разрывал на части громадную окровавленную, уже голую тушу воровки и её детеныша. Через пять минут всё было кончено – все разбежались, отряхивая с рук кровь и выдернанные волосы, а передо мной – я стоял столбом с выпученными глазами – с последним вздохом забитого камнями мамонта скончалась разодранная в клочья женщина – смутное подобие человека, всё ещё прижимая к себе такой же растерзанный, искореженный трупик ребенка. Так я впервые встретился с дружным *коллективом* и должен признаться, что на всю жизнь получил мощный заряд гадливого отвращения к любому скопищу человеческих особей, объединённых какой-либо общей идеей.

Ещё очень ярко запомнилась мне другая удивительная история, произошедшая в доме моей тётушки как раз в то время, когда мы с мамой и сестрой вернулись из неудачной поездки в Северный Казахстан (о чём см. ниже), – она мне казалась ещё более волнующей оттого, что вместе с Кровью в ней была густо замешана Похоть. Во втором подъезде тётушкиного дома со стороны сада жили две семьи, состоявшие из одних женщин – мать с дочкой и мать с двумя дочками. Первая – бухарская еврейка – толстая, мрачная, разукрашенная дама с дочкой Сарой тринадцати лет от обрусевшего татарина, который их давно бросил. Всё это выяснилось потом и запечатлелось в моей памяти навечно. Вторая – очень красивая, рослая, сравнительно молодая блондинка с двумя девочками примерно моих лет, овдовевшая в последний год войны и ещё не успевшая выйти замуж вторично. Самым замечательным лицом в этой истории оказалась Сара. Я довольно часто играл с ней в нашем запущенном саду – плотная, узкоглазая, молчаливая, жестоко-улыбчивая девочка, скромная и незаметная; всегда как-то снисходительно начинала играть с нами – восьми-девятилетними – в волейбол, но потом разгоралась, распаривалась, входила в раж, и была она вся какой-то терпкой, потной, коварно повизгивающей и к концу игры страшноватой, точно сбесившаяся живая бомбочка, готовая взорваться в любое мгновение. И вот однажды у матери Сары появился любовник – нищий, жилистый, молодой художник – обычный альфонс, каких немало встречается среди особей этого племени. Жили мама с дочкой Сарой, как мы уже знаем, в одной тесной комнате, и любовные игры жеребца-художника с пышной белотелой мамашей происходили на глазах у впечатлительной, давно «поспевшей» Сары, изнемогавшей от страсти и вождения. Не прошло и месяца, как Сара стала любовницей живописца. После нескольких неистовых баталий между матерью, Сарой и художником в семье восстановился более или менее прочный мир, и они зажили припеваючи вместе – художник оказался на высоте и удовлетворял обеих. Но в провинциальном городке мало настоящих мужчин, как и настоящих женщин, – встреча красивой вдовы и неужённого жеребца, знающего толк в перспективе, была неизбежной, и они, встретившись на общем крыльце, полюбили друг друга с первого взгляда. Составился нетрадиционный четырёхугольник, и развязка наступила, как только Сара с матерью почувствовали неладное. Однажды в отсутствие художника вдова была приглашена на пельмени, дружеская беседа затянулась далеко за полночь, было

выпито изрядное количество вина, и заботливая Сара вызвалась проводить красивую соседку до туалета, стоявшего в глухом углу сада. Но высокая блондинка только успела спуститься на две ступеньки гнилого крыльца и сравняться ростом с низкорослой Сарой. Приготовленным заранее топором Сара надвое раскроила вдове череп и в ярости ещё нанесла ей около двадцати ударов. Мать Сары торжествовала недолго – как потом выяснилось, на убийство вдовы натолкнула дочку она – одним ударом она избавлялась от двух соперниц. Но Сара недаром унаследовала вместе с еврейской хитростью татарскую злобу и коварство: она вернулась в дом и рубанула прямо по рукам и лицу оравшую от ужаса мать, но её не убила, а только изуродовала, и на скамье подсудимых та сидела вся обмотанная бинтами.

Дальше было проще: обычные драки и необычные – с поножовщиной и проломленными камнями черепами (камней в Азии что песка в Сахаре), убийства, самоубийства, утопленники и висельники – ординарные жертвы злобного насилия военных лет. Было и другое – местного, так сказать, разлива – целые войны из-за воды для поливки огородов. Тут сходились кварталы на кварталы, бились громадными текменями-тяпками – тяжёлыми, стальными, острыми... Мне случилось однажды увидеть совсем близко, как такая тяпка с размаху врезалась в загорелую спину оступившегося мужика, с хрустом перерубив ему позвоночник и левую лопатку. Несчастного бросили тут же в ярком чёрно-красном месиве грязи, крови и мяса, и победившая сторона побежала отворачивать воду на свои огороды.

Вот так, дети, – крепитесь, мужайтесь, терпите все на свете напасти и утешайтесь только тем, что ваш отец прожил детство в такой нищете и таком кошмаре, какие вам и не снились. Да и на самом деле – что я могу? Что я могу? Остаётся только одно: продолжать оправдываться.

* * *

Нет, вы только подумайте – какая коварная насмешка судьбы! Самым большим преступлением в нашей семье была *ложь*! Это ли не издевательство! В то время, когда молодая совдепия рьяно трудилась над выведением новой породы людишек, удобных и удобоваримых для желудка обезумевшей Империи Палачей и Жертв (эдакая гигантская рыхлая плотоядная татарско-еврейская Сара с крысиными глазками и громадным топором), когда «большинство населения» с немыслимой доселе рьяностью, паническим и лихим бесстыдством безбожно и нагло ввали, продавали и предавали, когда любой намёк на правду, даже бледная тень её каралась смертью или погребением заживо, – в нашей крохотной общине за малейшее искажение истины, за любой самый невинный обман провинившийся подвергался беспощадному бойкоту, что было намного страшнее всякой ременно-верёвочной экзекуции, – наша мать была изощрённейшим иезуитом, когда дело касалось наказания за этот, по её мнению, наиболее гнусный человеческий порок. Несчастная женщина! Всю жизнь прожить честно среди несметного количества воров, убийц, спекулянтов, трусов, негодяев и предателей! Она готова была умереть сама, уморить детей, но только не пойти ни на какую сделку со своей совестью! Да разве это мыслимо, разве это под силу одинокой женщине, обременённой детьми, голодом, болезнями, нищетой и адской круглосуточной работой? В её бедной головке перемешалось всё – и идеалы русских классиков, которыми она страстно пичкала своих учеников, и христианство, тайно хранимое по наследству от отца, деда и прадеда – священников с XVIII века, и вера в «правильный» социализм с неизбежным торжеством Истины, Добра и Справедливости, и даже слепая убеждённость в том, что все мерзости и ужасы тогдашней жизни были просто необходимы для полной победы над фашистами.

Как-то утром мы увидели нашу красивую маму совсем седой. Ночью в наш маленький дом через подвал влезли воры, и мать, застывшая от ужаса, пролежала с закрытыми глазами больше часа, моля Бога только о том, чтобы никто из нас не проснулся. Бандиты знали, что она не спит, и приняли её игру – один из них, мерзко пошучивая, стоял над нами с топо-

ром в руках, пока второй шарил по комодам и вытаскивал на крыльцо жалкие пожитки: отцов костюм, хлебные карточки, старые пустые шкатулки, сломанные часы и ещё какую-то дребедень. Стоило мне или сестре открыть глаза и заорать от страха, вас бы, мои милые детишки, не было бы на свете, а моя невинная душа вернулась бы назад в ангельский сонм, и уже не было бы необходимости перед кем-либо оправдываться по крайней мере до следующего воплощения. Но – удивительно! Через два месяца нас снова начисто ограбили – стало быть, кому-то в то время было не слаще, чем нам, если наш оставшийся хлам явился предметом налёта – бедняги вынесли даже обычные советские стулья и шкаф с клопами. Это произошло почти днём, ближе к вечеру, я как раз возвратился из детского сада, и снова у дверей был оставлен топор. Войди я не вовремя, нас с вами ждала бы всё та же неведомая участь – небытие.

Но самое жестокое воровство, повергшее всю нашу семью в полное отчаяние, произошло осенью перед предпоследней, самой суровой зимой войны. В доме было праздничное настроение – мы с нетерпением ждали следующего утра: после тяжёлого лета (все эти споры-драки за воду, изнурительный ночной труд, прополка под палящим солнцем и снова поливка, поливка...) надо было выкапывать картошку, уродившуюся на славу, – сколько надежд на неё возлагалось! Встали мы все очень рано – мне четыре с половиной года, сестре – семь лет, маме – тридцать три с половиной – и с нетерпением выскочили из дома на крыльцо. Сначала ничего не поняли, потом остоленели – мама побежала в огород, заметалась, застонала и, упав на землю, забилась в рыданиях: за ночь вся картошка до единой была кем-то выкопана. Бог мой! Нас ожидала беспросветная голодная зима.

* * *

Но несчастья продолжали сыпаться на мою бедную мать как из рога изобилия, а она всё никак не могла уразуметь, за какие грехи ей приходится расплачиваться, и только по вечерам, обхватив голову руками, раскачивалась перед коптилкой и горестно и монотонно выставляла: «Господи, за что же это?! За что, Господи?!»

Вскоре после всех ограблений (в доме остались голые стены, железная кровать с никуда не годным тряпьем да громадный дубовый стол в столовой, купленный отцом перед самой войной специально для того, чтобы мы все забирались под него, как только начинались ураганы и землетрясения, почему-то участвовавшие в то время в нашем предгорном городишке) местные власти уговорили маму сдать маленькую комнатку семье эвакуированных евреев из какого-то южного местечкового городка – то ли Бердичева, то ли Крыжополя. Сначала их было трое – муж, жена и дочка лет семи по имени Ёлка. Я всё ждал Нового года и того момента, когда наконец произойдёт эта неминуемая и загадочная метаморфоза и на неё начнут вешать игрушки. В первый же день они набили всю комнату колбасой, сырами, консервами, сухарями и баранками; колбаса и окорока висели у них по стенам, и в комнате стоял дурманящий, головокружительный запах мяса и пряностей. Вот тут-то и начались наши страдания и их развлечения. «Хочешь поесть колбаски, мальчик?» – елеинно спрашивала мама Хая, как только я – голодный щенок – оказывался у них в дверях. «Хочу!» – пищал я, дрожа и глотая слюни. «А хочешь погызть баганку (то есть погрызть баранку)?» – спрашивал меня папа Яша. «ХОЧУ!» – выдыхал я, не веря ни глазам своим, ни ушам, и жадно протягивал руку. «Мы тоже хотим!» – отвечали они хором и смеялись до слёз. Тут папа Яша таращил глаза и грозил пальцем: «Это оч-чень до-гого! Иди, поггоси у мамы денег, тогда дадим». Я был слишком мал – обида, гордость, достоинство, уязвлённое самолюбие – всё это было тогда мне неведомо, – я хотел только одного – есть! Я бежал к матери, плакал, выклянчивал деньги, которых у неё не было даже на одну баранку, а мать, в свою очередь, кидалась к ним, стыдила их как могла, умоляла их меня не дразнить и сама рыдала от беспомощности. Они же смеялись ей в лицо, откровенно и нагло презирая её за нищету, глупость и упрямство – извечные пороки неделовых людей.

Месяца через три наша маленькая еврейская община провела блестящую и блиц-длящуюся операцию по захвату наших территорий – в наше отсутствие коварные квартиранты заняли весь наш дом, вытеснив нас со всеми тряпками, железной кроватью и дубовым столом в тёмную кухню-прихожую, а пока мы с мамой и сестрой лениво плелись из детского сада, успели, словно наши будущие подвальные кролики, расплодиться втрое – появились, как из-под земли, престарелые бабы Розы, дяди Гарики с жирными жёнами, дедушка Ицром, две-три новые Ёлки и какой-то представитель власти – явно родственник или земляк. Они встретили нас на крыльце, первыми заголосили, завыли – кто бил себя в грудь, кто рвал на себе волосы, а одна из жирных жён театрально упала в обморок прямо на подставленную мужем табуретку. И тут вся орава накинута на мою остолбеневшую мать, обвиняя её во всех смертных грехах, напирая в основном на воровство колбас и окороков; «представитель власти» размахивал бумагами, где чёрным по белому было сказано, что мы здесь «вообще никто». Я помню всю эту сцену в деталях, и – Боже! – как часто я наблюдал потом нечто похожее совсем рядом! И сколько раз доносилось до меня эхо подобных баталий, увеличенных до масштабов государств и континентов, из самых отдалённых уголков земли или со страниц истории глупого и жадного человечества! Господи! Имеет ли пределы Человеческая Наглость – циничная, беспардонная, безнаказанная, сокрушительная и мерзкая, как татарская конница на Руси, тупая и неумолимая, как Берлинская стена, и безжалостная, как наши танки в Чехословакии, как... как... Но я задыхаюсь от бессилия и отчаяния... Безнадёжно! Всё безнадёжно! – вопит моя душа, как только я слышу или произношу это страшное слово – НАГЛОСТЬ. Но куда же от неё деться? Куда бежать? Как спастись?!

* * *

Всё. Уже не спастись. Некуда бежать. И скрыться некуда. Поздно. И не есть ли мы сами уродливое детище Наглости? Всё вышло из её зловонного чрева: один урод породил другого. Наглый, самодовольный, невежественный лакей, убивший своего господина, надругавшийся над Богом, казнивший Царя, засравший алтари, испоганивший церкви, разграбивший дворцы и имения, разодравший на подтирки драгоценнейшие фолианты из господской библиотеки... Мёртвой хваткой вцепился этот мстительный и подлый холоп в кресло своего бывшего хозяина и, упиваясь свалившейся на него властью, надрывным криком уверяет себя и других, будто исполнилась наконец мечта всех холопов – «кто был ничем, тот станет всем», наконец-то он Сам стал Хозяином! Нет, братец, дудки, врёшь – как был ты «хамовым племенем» – рабом, подлизой, вором и негодяем, – так им и остался и расползаешься сейчас, как гадюшный выводок, по всей России – грабить её дальше, так и норовя просочиться во все уголки старого и нового света, чтобы с лицемерным ядовитым шипением распространять Наглую, Безмерно Наглую Ложь, будто начал ты своими убийствами и воровством Новую Эру на нашей глупой и доверчивой Земле.

Моя бедная мать! Она кинулась в дом – её оттолкнули – мы заревели, закричали, а она бросилась бежать за правдой, справедливостью и защитой, не зная, где искать эти зыбкие, тощие призраки, не ведая, кого призывать в свидетели, кому кидаться в ноги. Она неслась по затверженному маршруту в свою школу к таким же, как она, учителяшкам – глупым, слабым, запуганным и никому не нужным. Но... Всемогущий Господь смилостивился наконец над моей матерью! У входа в школу она наткнулась на одного из бывших учеников моего отца, тот с трудом узнал её, охнул, услышав новость, и побежал звать своих дружков. Через двадцать минут наши захватчики вместе с «представителем власти» без привычных воплей, страшно напуганные, вылетели из дома, а наша роскошная мебель была водворена на место. Часть колбасы, баранок и окороков, «экспропрированную» у квартирантов, наши спасители насильно всучили моей не в меру щепетильной матери, и с тех пор мы зажили по-царски, осенённые

лучами отцовской славы, – местные хулиганы (самые отчаянные из них оказались учениками моего отца) взяли над нами шефство: зимой привозились дрова, весной копались грядки, летом вода на нашем огороде лилась рекой безо всяких очередей и ограничений, а как-то однажды застенчивый бандит запустил в наш подвал пару здоровенных кроликов, которые до самого конца войны усердно и быстро размножались, бесперебойно поставляя нам своё нежное мясо и шкурки на пальтишки и шапки.

* * *

Но жизнь, как известно, многообразна, непредсказуема и порой до ужаса невероятна. Можно не поверить в то, что случилось месяца через два после изгнания евреев из нашего убогого «Египта», но то, что произошло, – чистая правда. Маму вызвали в гороно и настойчиво попросили принять в нашу маленькую комнатку новую семью эвакуированных – мать с дочкой. Мама, естественно, согласилась, но когда услышала, что её новую квартирантку – ассистентку режиссёра киностудии «Мосфильм» – зовут Циля Израилевна, а дочку – Ирит! – мама побелела и чудом не потеряла сознание. В гороно уже знали о попытке захвата дома и очень долго и сердечно объясняли моей несчастной матери, какая интеллигентная и благородная женщина Циля Израилевна. И на самом деле, Циля Израилевна оказалась удивительной, весёлой, добрейшей женщиной (ей тогда не было и тридцати!), а Ирит мы тут же стали звать Ритой-маленькой (моя сестра Рита старше меня на два года, а я был старше Ирит на год). Сейчас никто не поверит, что во время войны детям разрешали ходить в детский сад самими, без родителей. Конечно, зимой – а все военные зимы даже в Средней Азии были необычайно суровы – мама сажала нас с сестрой на санки и тащила в детский сад к семи часам утра, иначе она никак не успевала вовремя попасть в свою *первую* школу, и мы с сестрой больше часа отогревались в душевной комнатёнке сторожа. Зато весной и летом – полная благодать! В детский сад я ходил либо с сестрой (пока она не пошла в школу), либо с моим соседом Шуриком, либо один. А когда к нам подселась Циля Израилевна, я стал, как старший, водить туда Риту-маленькую. Окраина нашего города, где мы жили, была похожа на деревню – у всех были куры, козы, а у некоторых, самых богатых – коровы, они паслись тут же, на дороге. Однажды такая корова попёрла довольно агрессивно на маленькую Риту, и я – пятилетний тореадор – бросился её защищать. Корова боднула меня (слава богу, я оказался у неё между рогов) и перекинула моё тельце через себя – удивительно, что я до сих пор помню каждую секунду этого происшествия! – я, как заправский акробат, приземлился без всяких потерь, и хозяева коровы нас задалили всякими вкусностями, чтобы избежать скандала. Так в пять с половиной лет я впервые стал Героем в масштабах нашей Малой станицы. После войны Циля Израилевна всё время переписывалась с мамой, мама её очень любила, а когда я (лет через двадцать) первый раз попал в Москву, наша бывшая квартирантка со своим мужем приютили меня как самого дорогого гостя на целые две недели! «Маленькая Рита» к тому времени вышла замуж и уехала в Ригу, но мой «подвиг» остался навсегда в анналах истории этой замечательной еврейской семьи.

В моей детсадовской жизни произошла ещё одна удивительная история, возможно открывающая одну из главных загадок истории всего человечества. Два мерзких сопливых существа – братья Сокольские (я никогда не забуду этих шестилетних уродов) – терроризировали весь наш детский сад. То ли их родители занимали какие-то посты, то ли считалось, что дети сами должны разбираться в своих проблемах, но их откровенный садизм всегда оказывался безнаказанным. Однажды, подходя к детскому саду, я предложил моему другу и соседу Шурику объявить всем в детском саду, что к нам приехал Брат-Великан! И что в любой момент мы можем его позвать, и он прилетит и накажет любого нашего обидчика! Ростом он выше тополя, а одной только ладошкой он может прихлопнуть два домика нашего детского сада! Это заявление я произнёс уверенно и угрожающе – в сторону двух придурков Сокольских. С

этого момента хозяевами детского сада стали мы с Шуриком, благодаря Безграничной Власти нашего Непобедимого Брата-Великана, который, как дух святой, был с этого дня всегда с нами. Не так ли, примерно, когда человечество только-только вышло из яслей и проходило детсадовскую стадию, Авраам и Моисей с Аароном придумали своего Всемогушего Брата-Великана и посрамили всех тогдашних сопливых и доверчивых «филистимлян – Сокольских»? Увы, никто никогда не узнает этой величайшей Тайны!

* * *

Через год после окончания войны мне приснился яркий сон, я помню его до сих пор: под дробь барабанов, пронзительный веер тромбонов и труб и под глухие и мощные удары моих любимых литавр я – размалёванная циркачка в кокетливой детской юбчонке – вскакиваю на плотную лошадку с круглым задом офицерской жены и под выстрелы бича и любимый вальс дрессировщика вылетаю на грязную арену, уже загаженную плотными, как теннисные мячи, шарами конского навоза. Но что это? Циркачка взвизгивает – всплёскивает руками – подпрыгивает до потолка – издаёт вопль восторга! И я – семилетний оборвыш – лечу на кучу ещё тёплых, рассыпчатых, как вываленная из чугунка картошка, этих самых лошадиных катыхов.

Тут необходимо небольшое объяснение.

Истрадавшийся народ ждал, жаждал, вымаливал, требовал наступления немедленного и безоговорочного Рая – кончилась война, а его всё не было. Радость победы потихоньку забывалась, измождённые лица вытягивались в унылом и горестном недоумении: как же так? Война кончилась, а где же?.. И когда же?.. Да и будет ли?.. А на перекрёстках уже голосили в истерике калеки, ставшие от полной никому не нужности горькими алкоголиками, – рвали на себе рубашки, волосы – «Да я ж, бля, кровь проливал!.. Да я ж!..» И мама всегда спешила обойти несчастного, закрывая нас от него подолом. Вернулся и отец, и, конечно же, его приезд перевернул всю нашу жизнь. Теперь я каждую ночь с нетерпением и мистическим недоверием ждал наступления утра, чтобы убедиться в натуральности и плотскости этого божества, призрака, фантома, этого гигантского монумента, поскольку привычное и несбыточное «вот когда вернётся папа...», «вот кончится война и папа вернётся...» давно уже превратилось в бессмысленную мантру, похожую на тогдашние радиолозунги, сулившие райскую жизнь в ближайшем будущем.

И самым первым подвигом моего весёлого, крепкого, лысого, заскорузлого и слегка контуженного Геракла-отца стал капитальный ремонт нашего недостроенного, но уже обветшавшего домика. Но где взять в тяжкий год послевоенной разрухи драгоценные материалы – цемент, доски, инструменты, арматуру, гвозди, проволоку, дранку, драгоценный толь (о шифере мы ещё ничего знать не знали), известь, любую краску?.. Мой гениальный отец, прошедший всю войну в чине младшего лейтенанта, отличался, несмотря на возможное тёмное пятно в наследственности, какой-то высочайшей, гипертрофированной честностью – не было офицера, который бы вернулся с фронта без приличного груза трофеев: везли составами, вагонами, контейнерами, сундуками – в зависимости от чина, положения и особых способностей; везли всё: автомобили, буфеты, рояли, дворцовую мебель, картины, фикусы, фарфор, патефоны, мотоциклы, игральные карты, порнографию и дамские чулки. Вся Россия с затаённым дыханием, с дрожью и надеждой на заслуженное вознаграждение ждала возвращения согбенного под тяжестью трофеев Победителя. Ждала приезда мужа и моя настрадавшаяся мать. И вот наконец наступил день, когда к нищему, жалкому и пустому домишку подъехал на старом дамском велосипеде небритый мужичок налегке – с небольшим чемоданом на багажнике и рюкзаком за плечами. И каково же было её горе, когда, после нескольких дней блаженного счастья, до её сознания дошёл наконец тот факт, что никаких грузовиков с заграничными товарами не будет! Дамский велосипед, английская двустволка 12-го калибра для себя, малень-

кое немецкое ружьецо для меня, отрез китайского шёлка на платье для жены (он год воевал в Маньчжурии) и кое-что для дочки – вот всё, что он смог приобрести в последний победоносный год на собственные деньги, как он мрачно подчёркивал. Мать поплакала потихоньку – и не столько о порушенной мечте разом разбогатеть, сколько из-за ложного стыда за своего неудачника-мужа: в те дни количеством награбленного определялись и доблесть, и честь, и заслуги солдата перед Отечеством. Слава богу, она довольно быстро утешилась, поскольку её собственная щепетильность вошла в нашей семье в поговорку Её лицо принимало надменный вид, стоило только кому-нибудь начать хвастать добычей – своей или мужниной (тем самым вольно или невольно насмехаясь над моим отцом), и она сухо, несмотря на то что в душе у неё скребли кошки, с достоинством отвечала, подчёркивая слова совсем как мой отец: «Мой муж – честный человек, и всё, что он привёз, – он купил на собственные деньги».

Отец почти всегда брал меня на барахолку, где он покупал ржавые гвозди, старые инструменты, какие-то нужные ему дощечки, куски фанеры и стёкла. На барахолке торговали всем – хлебом, крупой, керосином, старыми костюмами и галошами, книгами, разрисованными «коврами» на клеёнке – с полуобнажёнными дамами у пруда с лебедями и голубками и с бесконечными вариантами шишкинских медведей, саврасовских грачей и васнецовских Алёнушек. В одном закутке барахолки всю торговали орденами и медалями, причём вместе с документами, и там я впервые увидел моего отца в состоянии почти бесконтрольного гнева – он весь побелел и, к моему ужасу, грязно выругался. Я видел, что он был готов убить и торговцев орденами, и покупателей орденов, но все они как-то быстро сгруппировались, и стало понятно, что эта небольшая толпа «фалеристов» не что иное, как обычная банда. Сколько потом появилось Героев войны – орденосцев! И сколько их сейчас, как «детей лейтенанта Шмидта», разбрелось по всей многострадальной России паразитировать на чужих смертях и подвигах!

За неимением перечисленных выше материалов отец решил обойтись проверенными советской нищетой подручными средствами – где ещё на свете, кроме России, теплится наивная надежда, что из говна можно сделать конфетку?! За ремонт он взялся рьяно: первым делом созвал со всей нашей Малой станицы армию шалопаев моего возраста и выше (дети липли к нему, как мухи), раздал всем мешки и, велел им собирать по дорогам лошадиный и коровий навоз, пообещал каждого свозить на велосипеде на вокзал и показать настоящий паровоз – событие для ребёнка по тем временам исключительное! Вся округа загудела, закопошилась, – поползли от нашего дома в разные стороны шустрые навозные жуки с обтрёпанными вонючими мешками; десятка два грязных, сопливых беспризорников обрели вдруг Первую Ясную Цель в жизни: *навоз!* Навоз! Какое вкусное, тёплое слово! Навозные кучи стали в нашем районе чем-то вроде новой валюты – лошадиные приравнивались к твёрдой, то, что называется конвертируемой: ну, те же доллары, фунты или западные марки, а полужидкие коровьи лепёшки соответствовали родным рублям и всяким левам, леям и тугрикам. Какой это был восторг, пройдя за полудохлой клячей бог знает сколько кварталов, дожидаться наконец обильного извержения этого доселе дремлющего ходячего вулкана! Какими победоносными криками сопровождалось подобное чудо! И только недоуменная морда лошади с кровавыми от натуги глазами да недоверчивый или гневный взгляд возницы останавливал детские крики. Каждая навозная куча сияла необыкновенным светом – золотистой аурой, – и её яркий, волшебный нимб любому из нас был виден за километр. Мы кидались к ней наперегонки и, дрожа от радости, голыми руками запихивали её, ещё тёплую, пахучую, в бездонный мешок, а вечером в большой яме перед самым домом всей оравой месили голыми ногами наши трофеи с глиной и рублевой соломой. А на следующее утро отец сажал очередного «стахановца» на багажник велосипеда и через весь город вёз его на пыльный, знойный вокзал показывать *настоящие, живые ПАРОВОЗЫ!!!* Ну не насмешка ли всё это, дети мои! С тех самых пор, с тех самых блаженных и невинных дней всё моё последующее существование озарялось постоянным, мистически-неумолимым отблеском этого навозного сияния! Все годы и десятилетия на хвосте моей

жизни, словно на последнем вагоне длинного расхлябанного товарняка, бренчал и позванивал этот тусклый, заляпанный навозом волшебный фонарь моей первой встречи со счастьем!

* * *

Говоря о своих тяжких недугах, я как-то уж слишком беспечно, едва-едва, как чего-то совсем незначительного, коснулся некоторых своих расстройств сугубо умственного порядка, хотя именно тут-то и необходимо уточнение: основной умственный недостаток в те далёкие времена выражался у меня (увы) в пугающей взрослых явной умственной избыточности! Надеюсь, многим ясно, к чему здесь это самое «увы» – (да, да, именно так: *сейчас я* вполне нормален) – в моей маленькой башке крутились какие-то мистические серо-чёрные, тяжёлые, вневременные, нудные (я никогда не мог сказать, *когда* это со мной происходило – во сне ли, наяву, в этой жизни или в другой), ленивые, гигантские, *пред*-сознательные шары, круги, что хотите, оставляя после себя странное воспоминание ужаса и восторга одновременно. И ещё неуловимое колдовское чувство уверенности, будто ты можешь просочиться не только в сознание любого окружающего тебя человека и быстренько разнюхать все его тайны, но и «слиться» с любой вещью и стать, например, бутылкой, стулом, телеграфным столбом или стрелой, пущенной из лука. Все окружающие меня взрослые казались мне – семилетнему – слепоглухонемыми идиотами – они не понимали самых простых вещей! Мама столбенела от ужаса, когда я вдруг говорил ни с того ни с сего, что тётю Нину, которую мы в тот вечер ждали в гости, увезли в больницу, и она уже к нам не приедет. Мать сломя голову неслась в другой конец города и узнавала, что у тёти Нины жесточайший приступ и ей собираются удалять камни. Я же сам никак не мог объяснить, каким образом вырывалась у меня та или иная пророческая фраза – возьму да и ляпну, а там уж как выйдет. И как правило, всё получалось как я ляпнул. Уже лет в пять я высказал ясную и бесспорную для себя мысль, что я никогда не умру. Раз уж я чувствую, что Я – это Я, то когда моё тело умрёт, то кто же, как не кто-нибудь другой, станет этим самым Я? Вспоминая мои потусторонние шары, я твёрдо знал, что временной пустоты для моего я просто быть не может, и – будьте любезны! – жизнь мне тут же предоставила доказательства. Как-то я плёлся из детского сада и, переходя через шлюз по двум узким рельсам, свалился головой вниз прямо на бетонное дно, после чего полтора дня не приходил в сознание. Но очнулся-то я мгновенно после падения! Я прекрасно помнил бетонное в трещинках дно, летевшее на меня, и – сразу после удара – мамины руки, снимавшие с моих глаз компресс. Я был в ладу со своими шарами и в долгие часы кромешного одиночества всё пытался ухватить рудиментарные отростки этой загадочной и таинственной субстанции, интуитивно чувствуя, что в этой пустоте, в этой бездонной тьме *перед* и *за* глазами, в этом *НИЧТО*, в этом ленивом, великом, едва ворочающемся Хаосе и заключается Единство, Начало, БОГ! И я был тогда счастлив, свободен, мудр и поражал всех своей удивительной естественностью, покоем и энергией. Ах, дети мои! Больше двух десятков лет понадобилось мне для того, чтобы хоть как-то приблизиться к моей детской ясности, потому что стоило мне прикоснуться к совдеповской суете, жалкой посюсторонней мелочности и паучьим дрызгам нашего Великого Общества, как моя мудрость покинула меня, я ослеп, оглох и все эти годы тыкался из стороны в сторону в поисках духовных сосков великой Матери-Истины.

* * *

Но вернёмся к моему отцу. Ремонтируя и перестраивая дом, он параллельно строил грандиозные планы на будущее – ему не сиделось в Азии, тянуло на родину, он мечтал о своём хозяйстве, русской природе, девственной чистоте тайги, научной работе, настоящем творчестве (главное зло – и в настоящем, и в будущем – он видел в этой своей азиатской оседлости

и, как выяснилось позже, оказался прав), но стоило ему только заикнуться в горно о желании переехать в Россию, в переезде ему наотрез отказали: в те суровые времена увольнение по собственному желанию (то есть самовольное оставление места работы) грозило тюремным сроком. Во все советские времена в характеристиках и «делах» строителей коммунизма очень часто мелькала фраза «склонный к побегу» ещё задолго до того, как этот «строитель» был отправлен в ГУЛАГ. И тут с моим отцом происходит странный и совершенно неожиданный поворот: моего отца, прошедшего две войны, вернувшегося в школу, где он считался лучшим педагогом, срочно «командируют» со всей семьёй бог знает куда и бог знает на какой срок – в Павлодарскую область, в голую пустыню в ста километрах от границы с Китаем – директором «школы-интерната»! Тогда это преподносилось как Подвиг, как Служение, а на самом деле походило на бессрочную ссылку без суда и следствия. Отец-биолог никогда не скрывал презрения к бездарным вымыслам академика Лысенко, но как раз после войны имя Лысенко стало появляться в газетах чуть ли не наравне с кремлёвскими бандитами. Правда, «дела» пока никакого не шили, даже расписали, как надо, природу, людей, величавый Иртыш, неподалёку – бескрайний сосновый бор, кишачие дичью озёра и луга, натуральное питание – что может быть лучше? Но тут же прибавили – это надолго, дел там много, надо ехать с семьёй, и – никаких выкрутасов! Отец почуял неладное, но матери ничего не сказал, хотя она, как мне потом говорила, уже всё понимала и была готова ехать куда угодно, лишь бы подальше от начальства.

Короче, обновлённый дом был спешно продан, убогий багаж отправлен малой скоростью, билеты на поезд куплены... И тут нашу семью постигает новый оглушительный удар: в день отъезда была объявлена денежная реформа 1947 года, и у матери на руках вместо пятидесяти тысяч рублей осталось только пять. В ужасе и унынии мы долго добирались до места: поездом до Семипалатинска и на переполненном парходике по Иртышу до Павлодара. Погода дрянная – дули ветры, шли осенние дожди со снегом, мы путешествуем «четвёртым» классом на палубе, и за весь наш путь мы не видели ни сосеночки – одна полумёртвая пустыня. В Павлодаре нас устроили на несколько дней в грязном доме, набитом вшами, клопами и шоферами: последние пили водку, остальные – нашу кровь, мама проклинала всё на свете, и на неё было жалко смотреть, мы с сестрой ревели, и всё это заставило отца поторопиться и устроить скандал людям, которые якобы отвечали за нашу «доставку» на место. Это был настоящий послевоенный хаос, и, если бы у нас были деньги, мы, я думаю, могли бы куда-нибудь уехать и там спрятаться, как это сделали все старшие мамы сёстры в 1923 году. И вот наконец, проехав в кузове старенькой полуторки около пятисот вёрст, мы прибыли на место – в злополучное село Ленинское! Тут даже у отца подкосились ноги. Одна пыльная улица, по которой с бешеной скоростью неслись, прыгая, нескончаемые, в мой рост, шары перекасти-поля, голые дома, скирды навозных лепёшек и полыни (единственное топливо в этих краях), крохотная банька, в которой два раза в месяц мылись вместе мужики, бабы и дети; грязный, протухший колодец в центре села, и по ночам – истошный вой волков, подходивших нагло и бесстрашно к самым окнам (отец несколько раз стрелял из форточки в ночь «на звук»), – вот вам, дети, село, названное именем Нью-Спасителя! Жили в Ленинском в основном ссыльные немцы из Поволжья, успевшие обрусеть настолько, что не обращали никакого внимания на грязь, жару, холод, голод, вшей, мышей, клопов и волков; пили наравне с русскими, а матерились ещё пуще. А вверенная отцу «школа-интернат» оказалась *детским домом для детей врагов народа*. Детей было около ста – золотушных, завшивевших, затравленных, запуганных, недоразвитых, несчастных детишек всяких национальностей, потерянных и милостиво подобранных строителями коммунизма на тёмных путях «Великого Переселения Народов». Господи! Кого здесь только не было – ингуши, чеченцы, кабардинцы и дагестанцы с Кавказа, корейцы и китайцы с Дальнего Востока, татары из Крыма, калмыки из Прикаспия, греки бог знает откуда и всё те же немцы – всего детей было два с половиной класса с одной учительницей – женой единственного фельдшера – жирного, тупого, невежественного, лечившего больных только йодом. Очень скоро отец

выяснил, что около половины детей больны туберкулёзом, что прежний директор в открытую сёк детдомовцев сыромятными ремнями, а то и кнутом, обирал их, как мог, и заставлял их всех работать на себя. И каждый из этих больных, заброшенных детей ночами, давясь под вонючим одеялом рыданиями, погружался в своё нераздельное горе и, бормоча на родном языке проклятия, лелеял огненную ненависть и месть «этим русским». Где, между какими станциями замёрзла на открытой платформе (в конце ноября!) вся семья маленького, гордого и трогательного ингуша Адама, моего единственного кратковременного тогдашнего друга? Вся жизнь этого «детдома» была настолько страшна и дика, что те немногочисленные жалобы, каким-то чудом доходившие до начальства, скорее всего, преспокойно летели в корзину: какая, мол, чушь! Чушь и клевета! Поэтому детдомовцы встретили меня неласково. Единственная учительница, напрочь стёршаяся у меня из памяти, с первого дня из угодливости и страха принялась ставить мне только отличные отметки – через неделю директорскому сынку устроили «тёмную» И выбили зуб. Я смутно помню, как отец рьяно взялся за чистку авгиевых конюшен – прежде всего заставил фельдшера всех ребят (девочек в этом детдоме не было, это я помню точно) постричь наголо машинкой и керосином смазать их лысые головы. В чанах во дворе школы «варились» их убогие одежды и постельные принадлежности; все женщины посёлка, включая мою мать, утюжили по очереди одеяла и простыни, а вольные немцы всё тем же керосином обрабатывали железные кровати в детских спальнях. Мама, сестра и я не прожили там и полугода: моя сестра заразилась туберкулёзом, и отец в панике отправил нас с матерью всё в том же грузовичке до самого Павлодара (и снова нас кутали в три тулупа, снова по пустыне, в песке, ветре, снеге...), а оттуда на самолёте в родной город к родственникам. Отца же не отпускали и в открытую пригрозили «приравнять его к детям врагов народа». И вот тут моя мама, припёртая жизнью и судьбой, как загнанная в угол кошка или крыса, стала биться насмерть за отца и свою семью. Она диктовала моей сестре *письма СТАЛИНУ, ВОРОШИЛОВУ, КАЛИНИНУ, БЕРИИ* и кому попадётся, расписывая свою (нашу) жизнь во время войны и подвиги нашего отца на фронтах Запада и Востока, и сестра от своего имени писала все эти письма.

Через год его отпустили с богом, и он поехал в Россию на свою родину и там застрял на полгода в поисках нового райского уголка с заливными лугами, чистой тайгой и рекой, богатыми дичью и рыбой. Вернулся потерянный, расстроенный, убитый: Россия разочаровала его ещё больше – везде он видел только голод, воровство и людскую злобу, а последним штрихом нашей «пустынной» эпопеи явилось прибытие багажа, отправленного в село Ленинское малой скоростью год назад. В прибывшем сундуке вместо нашего родного, уцелевшего после ограблений имущества оказалось грязное тряпье да поленья для весу (что говорило о том, что грабаныли нас где-то в дороге, а не в ненавистном и без того Ленинском, где каждое заезжее полено было на вес золота). Отец крикнул, сурово и нежно потрепал по плечу онемевшую мать и пошёл в гороно требовать работу.

* * *

Друзья мои! Самое противное в любом графоманском шедевре – тупое и занудное описание автором *значительнейших страниц* своей жизни в том самом порядке, в каком их пона-тыкала Судьба; или дотошное описание погоды, или перечисление предметов, находящихся в комнате героини, или предметов на самой героине, если она не молода, не грудаста и не жопа-ста, как ренуаровские модели, если не страстная брюнетка с матовой кожей, осиной талией и фантастическими бёдрами, как, скажем, моя болгарская турчанка Нэси, если на ней не слишком много перечисляемых предметов (куда как интереснее, если их нет совсем) и если она не растянулась в постели после ванны в ожидании... (Ах, как я стосковался по... Или по... Ну, на худой конец... Где-то они сейчас, мои очаровательные чудовища?) – словом, ничего нет скучнее и бездарнее перечисления – сначала мы поехали туда, потом завернули сюда, затем встре-

тили... и т. д. и т. и., но вот кабы можно было проткнуть Время, как барашка шампуром, и, обсасывая его со всех сторон, соединить вдруг концы гастрономической шпаги, а затем, связав их узлом, затянуть покрепче, чтобы все кости и жилы, оставшиеся от обглоданного Времени, перекрутились в ОДИН ПЛОТНЫЙ КОМОК! Какое облегчение! Только заикнулся: сначала мы пое... как тут же натыкаешься не только на «приехали», но и на встретили, пригласили, угостили, обняли, раздели, раздвинули, вставили, вскричали, зачали, родили (или убили, не родив) – и всё это ОДНОМГНОВЕННО! (И всё-таки не обошлось без перечисления!)

* * *

По возвращении в родной город (ещё до приезда отца) мы разделяли свою нищету с нищетой наших родственников – у моей тётушки в двух маленьких комнатках проживали, кроме нас троих, ещё шесть человек: тётя с мужем, три их дочери и муж старшей из них – старший лейтенант НКВД. Я честно отработывал наше «нахлебничество» – отвечал за все очереди в магазины, в основном за хлебом и мукой. По два-три раза в неделю я вставал на «переключки» часа в три ночи и приходил сонный к магазину. Когда выкликали мой номер, к примеру 8-578 (что означало 8 тысяч 578), я кричал: «Здесь!», меня отмечали, и я шёл домой досыпать. Мой номер, как у заключённого в Освенциме, был крупно написан на руке чернильным карандашом, очень похожий на татуировку. Муж моей милой тётушки (бухгалтер) всегда приходил поздно ночью, а уходил раньше всех, и каждый раз, когда ложился в кровать, бормотал: «Хоть поживу немножко...» У тётушки было две кровати. На второй спал старший лейтенант со старшей дочерью, а все остальные спали на полу, устлая его тряпками, «польтами», всем, чем могли, и когда я отправлялся на ночные переключки, я буквально шёл по телам. И уж какой тут мог быть разговор о всяких излишествах. Развлечениях. Дорогостоящих играх. Мать тряслась над нашим здоровьем и была помешана на чистоте – ни одна душа не должна была догадываться о нашем бедственном положении. Благодаря чистеньким костюмчикам и белым застиранным рубашкам нас в нашем нищем районе причисляли к зажиточным интеллигентам, и мама сэкономила, сэкономила всегда, постоянно, на всём, а я – я никогда ничего не имел вовремя! – вот вам формула моего детства, как, впрочем, детства почти всего моего поколения. Наступала зима, валил снег, начинались наши континентальные трескучие морозы, и меня охватывал горячечный бред: мне днём и ночью снились лыжи и коньки – *любые лыжи и любые коньки* – и стоило мне хотя бы на один час вымолить у кого-нибудь плохонькую пару, как я на зависть всему свету разражался невиданными головокружительными трюками, и только слышно было отовсюду – Талант! Талант! Но, увы, никому не приходило в голову сделать мне царский подарок. Наступало лето, и в мою башку влетал ароматный, новенький баскетбольный мяч или в мерцающем луче потустороннего сияния вкатывался, шурша шинами, божественный Х.В.З. (Харьковский Велосипедный...), и так до самого конца моего нищего детства, и так по сей день... Послевоенный активист – какой-нибудь юный Ленинец или Сталинец – может обвинить меня в *искажении истины* – Никогда?! Ничего?! – завопит он гневно. – А Дворцы пионеров?! А самодеятельность?! Всякие там кружки, спортивные секции?! Да, да, конечно, совался туда и я – с той жгучей и нудной тоской голодного одиночки, подглядывающего в замочную скважину за пирующей компанией. Но как только я попадал в убогий мир провинциальной советской самодеятельности и отхлёбывал их тошнотворного компанейского брашна, моя хоть и незаконная, но вполне голубая кровь бурно вскипала в моих жилах, и я, только лишь успев показать, на что способен, бежал сломя голову из очередного коллектива с его скучным, серым *неравенством*, подлым и лицемерным *небратством* и *свободным* выражением только принудительно осознанной необходимости.

Вот, дети мои, истоки тех пороков, которые и по сей день гложут мою душу, – не приведи Господь и вам получить их по наследству! Вот и причина, по которой я так счастливо и почти

безболезненно прошмыгнул стороной мимо всей этой махрово-красной дребедени: пионерии, комсомолии, сборов, слётов, спевок, ночных тревог в поисках японо-американских шпионов, мимо всех мифических и мистифицированных Карацуп, Павликов Морозовых, Лиз Чайкиных, мимо всех обманутых, несчастных, возведённых нашим лицемерием в ранг святых и бессмертных. Помогал мне во всём этом мой редкий талант, проявившийся ещё в болезненном детстве, – талант виртуоза-барабанщика. На всех слётах и парадах, на поднятии утреннего флага в лагерях и прочих подобных событиях я был на положении «приглашённой звезды» – все уже знали, что я почти никогда не повторяюсь и «откалываю», как правило, что-нибудь новенькое. Свой барабан я настраивал, как драгоценнейшую скрипку, в концах палочек высверливал пустоты, куда вливал несколько капель расплавленного свинца, утяжеляя их до нужной мне кондиции. В институтском джазе я тоже был звездой «на ударных», «на меня» приходили, и я очень рано утвердился в своей «исключительности».

По возвращении моего отца из павлодарской ссылки его устроили преподавателем ботаники, зоологии и химии в ту же самую школу, где я учился уже больше года. И снова Судьба предоставила мне заманчивое положение – нам «на время» дали крохотную комнатку на втором этаже, бывшую до той поры складом вёдер, швабр и других инструментов школьных уборщиц. Единственным плюсом нашей комнаты было огромное школьное окно высотой около четырёх метров. Я спал, как собака, на полу перед самой дверью, сестра – на сундуке рядом со мной, а отец с мамой на узкой кровати, которая упиралась в стол, где мы с сестрой делали уроки, а мама проверяла тетради своих учениц (она работала в соседней женской школе). Но – от нашей двери до моего класса, в котором я проучился целых восемь лет, было ровно двенадцать шагов! Пять шагов – лестничный проём, три шага – дверь в учительский туалет и ещё четыре шага до двери моего класса! На все перемены я уходил в нашу комнату, и не было урока, на который бы я не опаздывал, вызывая смех всего класса и гневные слова учителей: «Ташкентский! Ты что, дальше всех живёшь?!» Не отличаясь в школьные годы никакими талантами, кроме барабанных, ни изощрённой хитростью, я тем не менее интуитивно, по подсказке свыше, старался держаться в тени, неосознанно презирая и врагов, и друзей и глядя на всех исподлобья, как кроваво-чёрными глазами глядит иногда молодой жеребец, не имеющий пока ни малейшего понятия о дремлющих в нём силах. Я приглядывался к таким же, как я, тёмным лошадам и, снедаемый немыслимым честолюбием, месяцами вынашивал, как сказали бы в «Правде», «свои гнусные, авантюрные планы». Меня отправили в мой любимый лагерь сразу на два сезона! И – святая простота! – по своему крайнему невежеству я не придумал ничего более оригинального, чем сколотить в «своём» лагере Тайное Правительство, в котором, как в винегрете, «правили» и уже давно умершие, и ещё здравствовавшие в то послевоенное время наши славные дряхлеющие вожди. Мне было тогда десять лет. В этом «общедоступном» лагере отдыхали по своим советским законам почти одни и те же дети, и среди них – ребята с наших трёх соседних дворов, где я был уже признанным лидером. Мой сосед и друг с детсадовских времён Шурик был нашим Молотовым. Себя я *сам* назначил Сталиным, а вот...

* * *

Ну, наконец-то! Наконец-то я обращаю ваше внимание на моего небольшого лысенького дружочка – ей-богу, он вызывает у меня такое же умиление и ту же брезгливую настороженность, какие, возможно, вызывают у вас пушистый хорёк, готовый миглом вцепиться вам в палец, или тот лилипут, которого вы, приняв за малыша, погладили по головке и спросили преувеличенно заботливо: «Что, мальчик, мамку потерял?» – и который, повернув к вам злобное сморщенное личико, шипит в ответ грубую непристойность. Нехорошо, ах, как плохо поддаваться низменному чувству мести! Но что взять с незаконнорождённого отпрыска столь знаменитой, но выродившейся и без екатеринбургских кровавых подвалов фамилии, да ещё

отпрыска не самой здоровой ветви этого гнилого трёхсотлетнего дерева! Сладкая желчь кипит во мне, жаркой волной разливается в груди весёлое злорадство: в нашем Подпольном Правительстве Ильичом был невероятно похожий на оригинал маленький, пузатенький, лысенький, острый, хваткий и подлый Лёнька-нижний, прозванный так оттого, что жил в подвале дома моей тётушки, где мы дожидались «освобождения» нашего отца то ли из ссылки, то ли из командировки. Лёнька-нижний, не стеснясь и не прячась, по нескольку раз в день онанировал на глазах у всей нашей компании, при этом хрипло хихикал или заливался бесстыжим смехом, широко открывая беззубую пасть; а так как все наши сборища в заброшенных яблоневых садах походили на легендарные маёвки, сходство Лёньки-нижнего с Ильичом-Лукичом, особенно в моменты публичных выступлений и того и другого, у меня тогдашнего (бессознательно, конечно) и, естественно, теперешнего (совершенно сознательно!) не вызывало и не вызывает никаких сомнений. Говорят, что ростом Ильич был невысок: (1 м 56 см). Враки! Никто не убедит меня в том, что он был выше Лёньки-нижнего! Никто! Хотя и старается наша неугомонная власть снабдить каждый областной город топорным пятиметровым гигантом с бронзовой кепкой в бронзовом кулаке – всё напрасно! Истина вопиет райцентрами и воинскими частями! Сколько их – каменных, гипсовых, цементных, бетонных, да и просто глиняных коротышек – щедро понаставлено по всей совдепии!

Диву даёшься – каких только Лукичей нет по тысячам глухих Мухосрансков, Сарансков и Засызрансков! самого уникального я видел однажды в военном городке Пружаны в центре громадной пустой городской площади – крохотного Лукича на полуметровом постаменте, вылепленного с завидным для модернистов искажением пропорций: малюсенькая, со среднее яблочко, головка, огромные ботинки, единственная поперечная складка на корявых глиняных штанинах и вытянутая вперёд тяжёлым краном ручища, на которой (видел собственными глазами, сам считал и даже заставил пересчитать генералов и хозяев города, показывавших мне местные достопримечательности после концерта) красовались *шесть* толстых коротких пальцев! Шестипалый Ильич – *ужас*! Какой неожиданный сатанинский антоним шестикрылого серафима!

Сейчас, когда я сравниваю нашу подпольную команду с послереволюционной ленинской, я с нескрываемым удовольствием, с одной стороны, и горькой досадой, с другой, нахожу, что мы от них совсем не отличались по РОСТУ, а как потом выяснилось, со многими и по УМУ! Ну как тут не досадовать на Случай (или Божий Перст? Или Масонский Заговор? Колдовство Сионских Чернокнижников?) и необъяснимую бездарность Керенского с его правительством, равно как и на разобщённость Корниловых, Деникиных, Врангелей и Колчаков?! «Страшно далеки были они от народа!» Увы, увы! Но найдётся ли в нашей истории человек более далёкий от Народа и России, чем ты – слепой, глухой и самозабвенный палач-графоман-инквизитор?!

Был, правда, ещё один человек – мой венценосный родственник, если верить письму «иранской бабушки», – который вообще не видел *РЕАЛЬНОСТИ*: Царское Село, парады, дворцы да ещё глупая жена и их общий «святой» наставник Григорий Распутин – вот весь его мирок. Плюс святая вера, что и Господь Бог, и вся Россия, и «всяк сущий в ней язык» живут только *им одним*. Боже, сколько идиотов в истории человечества заглатывали эту дьявольскую приманку – *ВЛАСТЬ*, – из которой, как щупальца осьминога, вылезали лесть, ложь, алчность, жестокость, тщеславие и много ещё чего, что просто сразу не лезет в голову... И самым страшным наркотиком всегда была *самая грубая и откровенная лесть*, на иглу которой мгновенно садился любой «властитель» – от швейцара и сержанта до короля и первого секретаря. И всего лишь *отсутствие лести* всегда воспринималось как нечто враждебное и опасное, очень похожее *НА ИЗМЕНУ*.

В своём лагере мы развернули бешеную деятельность: прежде всего мы построили в глухом углу яблоневого сада свой Кремль – полуподвал, прикрытый сверху очень плотно сплетённой конусообразной крышей (чтоб как в Кремле!) – и во время самых сильных ливней она

не протекала. Я, настоявшись в очередях за мукой и хлебом, прекрасно понимал, что «экономика» в любом государстве – самое главное. И в нашем Кремле (как и в Московском, как я уже тогда понимал) было полное изобилие и сластей, и хлеба, и яблок, и слив – в общем, всего, чем можно было поживиться в предгорных садах и огородах и на кухне нашего довольно убогого лагеря. На моё будущее счастье, нас накрыла старшая пионервожатая, и мы кое-как объяснили ей нашу главную ИДЕЮ – у разрушенной послевоенной страны должна быть мощная «продовольственная база»! Вот этот самый продовольственный склад только и спас в тот год наше малолетнее правительство от взрослых неприятностей. Но об этом позже.

* * *

Итак, в то блаженное время, когда я не знал оков нашего убогого мира и грезил туманными воспоминаниями своих прежних жизней, меня влекли к себе только цари, герои и великие злодеи; я знал, что они сделаны из того же теста, из тех же бездонных ворочающихся шаров; мои герои являлись во мне в настоящем и будущем, а я являюсь и буду являться в них в прошедшем (таким образом я пытался перемешать Время, которое не существовало для моего НЕОБЪЯСНИМОГО с его безначальной ПУСТОТОЙ), и я с упоением играл в Геркулеса и Одиссея, Наполеона и Кутузова, Сталина и Гитлера, Петра Первого и Ивана Грозного. Бесспорно, тут во мне ещё говорил Его Высочество мой вороватый дедушка, но – что удивительно – с самых малых лет я как-то несерьёзно, скорее издевательски относился к «Новоявленному Спасителю», «Величайшему создателю» и т. д. Конечно же, всё это было отражением той незримой эфирно-химической мести дедушкиных хромосом или эхом всё тех же взрывов вневременной Гордости, Ярости и Муки всего Романовского древа, пробуждённых воплями и стонами несчастных жертв екатеринбургско-алапаевской бойни. Ах, мои бедные, бедные родственники!

И я безотчётно, не ведая причин, поддаваясь лишь жгучему огню злорадства и тайного удовлетворения, подрисовывал в роскошных академических изданиях чистенькому пятилетнему божку кошачьи усы, протыкал карандашом зрачки глаз, рисовал на голове архарьи рога или маленькие бесовские рожки и всегда от души смеялся – мало что меня так забавляло в те чистые безмятежные годы! И всю мою жизнь до сегодняшнего дня чувствовал я желудочно-кишечную связь с этим предапокалиптическим карликом.

* * *

Но вернёмся к моему отцу. Жить ему осталось совсем немного, а Спаситель Человечества никуда от нас не девается – он всегда с нами, как кричат плакаты на каждом заборе.

Директором нашей славной, мужской *ПЕРВОЙ* школы был одутловатый грузный идиот с узким лбом и фамилией Завзятый. Ему когда-то сказали, будто он походит на Сталина, и с тех пор он усердно и во всём копировал вождя: носил френч, курил трубку, выдерживал такие же паузы, какие выдерживал артист Геловани в фильмах Чиаурели, и говорил с грузинским акцентом, как бездарный артист самодеятельности. Я с трудом понимал, каким образом отцу удалось выкрутиться в тридцать седьмом. В пятидесятом его спас от «ошибок культа» только весьма странный трагический случай – увы, его собственная гибель в горах. Он люто ненавидел Сталина, но, в отличие от меня, как бы вовсе и не зная тайны своего происхождения, к Лукичу относился безразлично – здесь, пожалуй, сказала та сторона дедушки, которая заставила его выйти в восемнадцатом году на улицы Ташкента с красным бантом в петлице. И ещё, конечно, во все времена его считали помешанным как раз в той не опасной для власти степени, какая снисходительно позволялась комиссарами. Он это понимал и подыгрывал им как мог: к примеру, лихо скакал с большим белым сачком по цветочным клумбам в самом центре города,

пытаясь поймать какую-нибудь уникальную бабочку. Деловые совдепы хохотали и показывали на него пальцами. К тому же он был настолько аккуратен и точен в работе, а также внимателен и уступчив в обиходе, что, казалось, никому и в голову не приходило подозревать его в чём-либо предосудительном.

И только одно вызывало у всех полное недоумение, одно только раздражало его завистливых коллег: ну *почему* так фанатически, так истово, беспредельно и необъяснимо любят его ученики? Все! От самых маленьких и никудышных до прошедших огонь и воду великовозрастных детей послевоенного времени. С ними он был царствен и серьёзен, непреклонен и мудр, весел и добр необычайно. В первый же месяц работы отец сколотил кружок любителей природы из самых безнадёжных и трудных подростков нашей школы и занял их изнурительными воскресными скитаниями по горам и пустыням в поисках птиц, букашек, ящериц, змей, а то и горных козлов! В пять часов утра в кромешной тьме (это была его последняя весна) он устраивал смотр на углу школы, и – горе опоздавшему или нарушившему законы, установленные отцом и одобренные общим собранием. Несчастный лишался возможности проташиться с тяжёлым рюкзаком тридцать, а то и все сорок километров по горам или пустыне, сбить в кровь ноги, натереть плечи, попасть под ливень или снежную бурю где-нибудь на леднике, быть покусанным скорпионом или оводами в жаркой пустыне. Какое горе для ребёнка! Однажды к директору явилась мать одного ученика с нижайшей просьбой смягчить сердце жестокого учителя, исключившего из кружка её сына, потому что мальчик вот уже неделю ничего не ест, не пьёт, а по ночам плачет, мечется и в бреду просит прощения у бессердечного учителя за пустячный проступок – подумаешь, забыл напоить птиц в большой вольере, и они все (штука тридцать!) передохли.

Вспомнив великодушные Вождя, Завзятый так ярко представил себе сцену из нового фильма Чиаурели, где он, Вождь, наказывает одним мановением руки *ЗЛО*, а другим мудро и щедро восстанавливает *СПРАВЕДЛИВОСТЬ*, что, забыв начисто существо вопроса и продержав минуты три в полном недоумении вызванного в кабинет отца, пока не была исчерпана устрашающая сталинская пауза, он, поведя трубкой по диагонали сверху вниз, как должен был это сделать *САМ* в исполнении артиста Геловани, наконец изрёк: «*Пачиму, ви нэ лубите битей?*» Отец был заворожён сходством и, понимая, что Завзятый теперь не до него, молчал. Женщина, почуяв неладное, вступилась было за учителя, но *Вождь* властным жестом её остановил: «*И пачиму ви дэжсите птиц в клетках?*» Тут наш Вождь затянулся, прошёлся по мягким коврам кремлёвского кабинета, рассеянно взглянул из окна на Красную площадь, ГУМ, мавзолей Ленина и отрезал: «*Птиц выпустить. Кружок ликвидировать*».

«Слушаюсь, *ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!*» – почтительно и серьёзно ответил отец, и в это мгновение Завзятый вспыхнул изнутри жарким пламенем, слившись душой с Величайшим из Величайших; его насквозь пронзил ток сладостной вибрации, вызванной лихой и хулиганской каббалистикой моего отца и, возможно, отозвавшейся эхом за три тысячи вёрст где-нибудь в печёнке у самого что ни на есть настоящего рябого, сухорукого и такого же узколобого Джугашвили! Никогда ещё эта невинная и в общем простительная по тем временам слабость директора Завзятых не доходила до подобного космического триумфа! Завзятый застыл в позе самого большого памятника в городе и, как командор, кивнул своей окаменевшей головой, позволяя удалиться смерду Отец, пропустив мать своего ученика, почтительно закрыл дверь, *кремлёвская* вибрация прошла, а плешивый маньяк, оглядев убогую обстановку грязного школьного кабинета, грузно опустился в своё кресло, поник и сморщился, как спущенный гондон.

Ваш славный дедушка, дети мои, играл с огнём – в подлости и злой памяти Завзятый не уступал своему кремлёвскому двойнику. Не прошло и недели, как он состряпал на отца донос, обвинив его в вейсманизме-морганизме, троцкизме, космополитизме и возможном шпионаже в пользу тибетских колдунов. И быть бы ему ещё одной щепкой в период Кровавых лесоразра-

боток, если бы вдруг в нашем городе не произошло из ряда вон выходящее событие, открывшее подлый замысел Завзятого и, к несчастью, только частично изменившее судьбу моего гениального отца.

* * *

В нашем небольшом предгорном городке со скрипом, на приличной государственной дотации функционировал «Национальный театр» (это противное, но точное слово как нельзя лучше подходит ко всем нашим театрам, исправно исполняющим свои идеологически-агитационно-пропагандистские *функции*), в котором спектакли шли только на местном языке. Было в театре, как водится, и несколько знаменитостей – особенно выделялись два народных артиста, к которым волей-неволей было приковано внимание наших театралов, включая и русское население. Одного звали Каматай Каматаев (в нашем подновлённом городе сейчас сияет широким асфальтом и типовыми коробками проспект его имени). Второго – Дундубек Дундубеков, или что-то вроде этого, поскольку ни проспекта, ни переулка его имени в городе не осталось. Дундубек, сухой, юркий, маленький и злой комик, был, по общему мнению, намного талантливей первого – жирного, самодовольного трагика. Однако даже русские театралы довольно часто приходили смотреть на них в ролях шекспировских или молюеровских пьес с кривоногими Мальволио и узкоглазыми Сганарелями. И надо ли говорить о том, *как* эти два премьера ненавидели друг друга. В год, предшествующий нашим событиям, вся Советская страна с упоением и энтузиазмом ломала головы над проблемой: как угодить Величайшему из Величайших, что подарить Несравненному Гению на его семидесятилетний Юбилей?! Ошалевшие подданные лезли из кожи, – из всех уголков необозримого Сталинского рейха ползли эшелоны с невиданными чудесами – доказательствами восторженного поклонения и любви к Вождю! Это был год смекалки, находчивости, муравьиного усердия и неслыханной гигантомании, и ещё бог знает чего, что просто невозможно ни умом понять, ни пером описать! Надо отдать должное и Вождю – он не скупился и сыпал в ответ свои милости направо и налево, как из рога изобилия.

Наш театр то ли по убогости воображения, то ли из почтения к советским штампам не смог придумать ничего более подходящего, чем подарить юбиляру, а с ним и нашему городу, свой новый спектакль, где, правда, отличился режиссёр – во время всего представления Каматай Виссарионовича подсвечивали снизу мощным лучом так, что его тень зловещим бомбардировщиком нависала над сценой и залом, и на его фоне Дундубек Ильич выглядел пигмеем.

Ур-р-р-а-а-а!!! – кричу я сейчас за всех зрителей. Да здравствует Случай! Это был единственный в нашей стране и истории пример, КОГДА ЛУКИЧ БЫЛ ПОСТАВЛЕН НА МЕСТО – ничего не было ни отнято и ни прибавлено, и вместе с тем, несмотря на явную режиссёрскую и юбилейную дискриминацию, а также на косые, узенькие глазки, жуткий грим, кривые ноги и местный язык, состоявший, как мне казалось, из одних твёрдых согласных, роль Дундубеку, как писали наши газеты, «необыкновенно удалась». «Вылитый Ленин!» – говорили даже русские театралы с почтительным удивлением.

По странному в нашей многонациональной стране стечению обстоятельств директором нашего «Национального театра» был некто Самуил Цейтлин, называвший себя *Одесситом из Одессы*, он-то и предложил «гениальную» идею эдак невинно послать товарищу Сталину приглашение на премьеру, чтобы он принял этот оригинальный подарок, что называется, на корню, из рук в руки. Разумеется, все понимали, что товарищ Сталин не будет трястись в вагоне пять суток или болтаться в самолёте больше двадцати часов, чтобы посмотреть на своё alter ego с блиноподобным лицом Каматаева! Но зато он их всех непременно пригласит в Москву! В Кремль! Осыпет почестями! Званиями! Дарами! Деньгами, наконец! Театр загудел, словно растревоженный улей, а ненависть премьеров вспыхнула с новой силой. Сославшись на свою занятость, гений ответил на печатном бланке вежливым отказом, а о приглашении даже и не

заикнулся. Каматай с Дундубеком через полгода получили по Сталинской премии семнадцатой степени, Самуил Цейтлин – «Знак Почёта», а артисты по квартальной премии. Наш город тщеславно похвалялся в собственных газетах вниманием Величайшего. Каматай же с Дундубеком окончательно распоясались и стали сводить друг с другом счёты.

* * *

Ах, дорогие мои детишки! Ведь и я когда-то надеялся стать настоящим АРТИСТОМ, а не каким-то жалким лабухом – и я, бывало, на первых спектаклях выходил на ватных дрожащих ногах с колотящимся сердцем, потными руками и вытаращенными глазами на самую середину сцены, надеясь, что, пока я разложу свои звонкие деревяшки на столе в нужном порядке, моё волнение утихнет или пройдёт вовсе. Но – мои четыре-пять *пиэс*, которые я успел сыграть несколько сотен раз, очень быстро выбили из меня всю эту глупость, заменив её бодрой, фантастически пошлой, эстрадной советской «артистичностью», которая, кстати, безумно нравилась нашим благодарным, неизбалованным зрителям. Из подготовки своего номера я делал целый спектакль – я вроде бы *так внимательно раскладывал* свои побрякушки, постукивая по ним молоточком и прислушиваясь к их звучанию (а в это время исподлобья разглядывал зал и выбирал какую-нибудь красотку), что, когда неожиданно для зрителей я выпрямлялся и церемонно кланялся выбранной мною девице, весь зал смеялся и оборачивался на неё. А если учесть, что на каждом спектакле я проделывал всё это раза три, а то и четыре, то виртуозно *простуканные* мной «Рондо Каприччиозо» Паганини или «Цыганские напевы» моего любимого Сарасате принимались с таким успехом, как будто концерт проходил у туарегов или папуасов. (Должен признаться, почти после каждого концерта девушки, которым я кланялся со сцены, ждали меня у выхода из театра.) В конце концов мои бесконечные поездки по территориям наших собственных аборигенов (Ямал, Кольский полуостров, Туркмения и Памир, Камчатка, Сахалин, Черновцы и Ужгород) привели к тому, что я только чудом не спился, не сдох от потери жизненных сил и не забыл родной язык – говорили мы только *по-лабужски*: басы, хилы, верзуха, чувиха, хуна, башли, лабать, кирять, барать, верзать, друшлять, кочумать, берлять, сурлять и так далее и тому подобное – всё в основном неприличное и непечатное. Я, правда, придумал себе развлечение – на некоторых спектаклях я вставлял в какую-нибудь из *пиэс* часть мелодии из «Боже, Царя храни!» или из «Ивана Сусанина» или в «Венгерской рапсодии» Листа переходил вдруг на классические марши Российской империи, «Марш Лейб-гвардии Преображенского полка» или «Егерский марш», которые, к моему удивлению, воспринимались публикой на ура как чисто советские. Так что однажды руководство Филармонии отметило меня небольшой денежной премией, назвав «настоящим советским патриотом». Зато несколько лет назад на концерте в каком-то эстонском городишке я совсем забылся и в конце «Марша тореадора» – ну, знаете: та-та, тарадарадата – тарадарада, тарада, та-радара... – вставил «Боже, Царя храни!», но сыграл чуть дольше, чем обычно, – это случилось совсем недавно, в 1972 году, – и вдруг кто-то из зала спел целый куплет, а я, главное, понимая, что происходит нечто катастрофическое, никак не мог остановиться, пока не закончил «музыкальную фразу». В зале раздался гром аплодисментов. Меня сначала хотели отдать под суд, потом решили уволить из Филармонии, но, наконец, остановились на строгом выговоре и запрете «на творческую деятельность и концертные выступления в течение года».

И тут я, пожалуй впервые в жизни, увлёкся чтением Российской Истории, начав, естественно, с «моего родословного древа». Первым делом я рванул в свой любимый третий зал «Ленинки», где в первые годы моей жизни в Москве одновременно отсыпался после ночных загулов и зачитывался полузапрещённой литературой. Меня, конечно, больше всего интересовал мой гипотетический дедушка и наш общий венценосный родственник, и я, набрав кучу мемуаров и несколько подшивков туркестанских газет конца прошлого и начала нынеш-

него века, с головой окунулся в невероятно глупый и бездарный мир Романовых. Начал, естественно, с Его Величества Императора Николая II и его дневников. И главным моим ощущением был ШОК! Неожиданный и непередаваемый.

Первым делом я хотел узнать, как Его Величество переживал самые судьбоносные моменты своего правления – 9 января и революцию 1905 года, войну с Японией, и даже начал с самого первого дня, с Ходынки. Вот что пишет В.А. Гиляровский, который провёл ночь на Ходынском поле, куда ещё накануне вечером, чтобы не лишиться царских подарков и бесплатной водки, собралось более полумиллиона человек: «Над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман... Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться; лишённые чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Стоявший возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохнулся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мною кого-то рвало...» Слух, что буфетчики раздают подарки «своим», окончательно вывел ситуацию из-под контроля. Люди рванулись к баракам. Кто-то погиб в давке, другие провалились в ямы под рухнувшими настилами, третьи пострадали в драках за подарки... По официальной статистике, в «этом прискорбном происшествии» пострадало 2690 человек, из которых 1389 погибло! «Потоптано около тысячи трёхсот человек! – пишет в дневнике Николай. – Я узнал об этом в десять с половиной часов... Отвратительное впечатление осталось от этого известия...» Однако «отвратительное впечатление» не заставило Николая отменить праздник, на который со всего света съехались гости. Сделали вид, что ничего особенного не случилось. Тела прибрали... Праздник над трупами, по выражению Гиляровского, шёл своим чередом... На обеде для московского дворянства Николай произнёс высокие слова о благе народа. Вечером император и императрица отправились на заранее запланированный бал у французского посла – в этот же день! Многие отговаривали его ехать, но Николай не согласился, сказав, что «катастрофа и есть величайшее несчастье, но оно не должно омрачать праздник».

Ещё я отлично помню рассказ всезнающего Каргопольского о невероятном событии в Токио, куда Александр III отправил Наследника «погулять» по экзотическому Востоку в надежде прервать его начинавшийся было роман с балериной Кшесинской. Николай путешествовал со своим английским братцем Георгом, и их везде встречали с триумфом. Но в Токио на будущего российского императора из толпы набросился какой-то сумасшедший японец с мечом и этим самым мечом рубанул его по голове. К счастью для Николая (и к несчастью для России), удар прошёл вскользь и только вызвал большую потерю крови. Каргопольский считает, что это коварное нападение имело какое-то влияние на Русско-японскую войну, поскольку будущий император был обидчив и, естественно, злопамятен, но это его личное мнение. Когда я стал интересоваться этой войной, я увидел, с одной стороны, невероятный патриотический подъём народа, а с другой, как всегда, полную неразбериху, вечное техническое отставание и казнокрадство, а также раздол-байство в высшем командовании, включая императора. Война была с треском проиграна, был потерян практически весь российский флот, не говоря о территориях и тысячах лучших матросов и офицеров. И тут начинаются первые и серьёзные волнения рабочих Петербурга. Вот что пишет в дневнике 1905 года Николай II:

«8 января. Суббота. Ясный, морозный день. Было много дел и докладов. Завтракал Фредерикс. Долго гулял. Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120 000 ч. Во главе рабочего союза какой-то священник-социалист Гайон...»

«9 января 1905 г. Тяжёлый день! В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего Дворца. Войска должны были стрелять? В разных

местах города было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей...»

«19 января, среда. Утомительный день. После доклада был большой приём. Завтракали: Георгий и Миша. Принял трёх раненых ниж. чин., которым дал знаки отличия, воен. ордена. Затем принял депутацию рабочих от больших фабрик и заводов Петербурга, которым сказал несколько слов по поводу последних беспорядков. Принял Булыгина, кот. назначается мин. внутр, дел... Недолго погулял. До чая принял Сахарова, Витте и Гербея. Пришлось долго читать. От всего этого окончательно ослаб головою».

«28 мая, суббота. Ясный и свежий день. Завтракал Фредерикс. В 2½ поехали на освящение только что выстроенного здания школы нянь. Присутствовало довольно много дам... Ездил на велосипеде и убил двух ворон. Вечером занимался».

«29 мая. Воскресенье. Рождение Татьяны, ей минуло 8 лет. Поехали к обедне и завтракали со всеми. Гуляли, ездил в байдарке. Погода была тёплая. Много читал. Убил ворону. Обедали в 8½».

А вот – первая встреча с Распутиным:

«1905 г. 1 ноября, вторник. Холодный ветреный день. Был очень занят всё утро. Завтракали: кн. Орлов и Ресин (деж). Погулял. В 4 часа поехали в Сергиевку. Познакомились с Человеком Божиим – Григорием из Тобольской губ. Вечером укладывался, много занимался и провёл вечер с Аликс».

«1906 г. 27 января. Четверг. После доклада Будберга принял Муравьёва, назнач. послом в Италию. Погулял до завтрака. В 2½ принял гр. Льва Толстого (сына). Гулял и убил ворону...»

«17 марта. Четверг. Утро было довольно свободное, только два доклада. Завтракали одни с детьми. *Гулял, убил двух ворон. Погода была серая и сырая*».

Ну вот, пока отдохнём. Думаю, и комментировать ни к чему – и так всё ясно.

* * *

Вся, или почти вся информация, которую сообщил мне в письме Каргопольский о Его Императорском Высочестве Николае Константиновиче Романове, оказалась документально правдоподобной, за исключением реальности кражи бриллиантов именно Николой, как его звали Романовы. Мой драгоценный Каргопольский, ничего не зная о «письме бабушки», с каким-то упоительным энтузиазмом включился в «мою историю» и стал меня «просвещать», – к примеру, в нескольких местах ему попадалась одна и та же мысль – система передачи власти по наследству точным и чётким **ЗАКОНОМ** нигде прописана не была. Каргопольский, знавший довольно хорошо мой основной недуг – Лень, стал время от времени снабжать меня ценнейшими материалами из жизни моего «дедушки», некоторыми из них я с удовольствием воспользовался. Да и сам я в конце концов с головой погрузился в эти так близкие моему сердцу расследования.

Вел. Кн. Николай Константинович (2 (14) февраля 1850 г., СПб. – 14 (27) января 1918 г., Ташкент) – первый ребёнок Вел. Кн. Константина Николаевича, младшего брата Российского Императора Александра II. В двадцать один год (1871) командир эскадрона Лейб-гвардии Конного полка влюбляется в Фанни Лир – американскую танцовщицу и авантюристку. Весной 1874 года мать Ник. Константиновича – Александра Иосифовна – обнаружила в Мраморном дворце пропажу трёх дорогих бриллиантов из оклада иконы, которой в своё время Император Николай I благословил своего сына на брак с немецкой принцессой, в замужестве Александрой Иосифовной. Великий Князь Константин Николаевич тут же вызвал полицию, и вскоре бриллианты были найдены. Провели дознание. Допросили адъютанта Вел. Кн. Е.П. Варнаховского (многие считают до сих пор, что виноват он), но на допросе он категорически отрицал причастность к краже и говорил, что лишь отнёс в ломбард камни, переданные ему Николаем

Константиновичем. Никола поклялся на Библии, что невиновен, чем, как говорили, усугубил свой грех. Отцу же он сказал, что готов взять на себя вину, выручая адъютанта, которого считал своим другом. Александр II взял дело под личный контроль и подключил к расследованию шефа корпуса жандармов графа Шувалова. Шувалов три часа допрашивал арестованного Николая Константиновича в присутствии отца, который в своём дневнике писал: «Никакого раскаяния! Заклинали всем, что у него осталось светлым, облегчить предстоящую ему участь чистосердечным раскаянием и сознанием! Ничего не помогло!»

В конечном итоге пришли к выводу, что бриллианты были похищены Ник. Конст., а вырученные деньги должны были пойти на подарки любовнице князя – американской танцовщице Фанни Лир. Но Константиновичи были самыми богатыми из всех Романовых, кроме, естественно, самого главного – Николая II. Сумма оценки бриллиантов в ломбарде была намного меньше той суммы, которая была найдена в ящике стола у Николы при обыске. На семейном совете после долгих споров (отдать в солдаты, предать публичному суду, сослать на каторгу) было принято решение, приносившее минимальный вред престижу царской семьи: признать Великого Князя душевнобольным, а затем по указу Императора навсегда выслать из столицы Империи. Фанни Лир была выдворена из России с запретом когда-либо сюда возвращаться. С Великим Князем она больше никогда не встречалась.

Николаю Константиновичу было объявлено фактически два приговора. Первый – для публики – состоял в признании его безумным, из чего следовало, что отныне и навсегда он будет находиться под стражей на принудительном лечении в полной изоляции. Смысл семейного приговора состоял в том, что в бумагах, касающихся Императорского Дома, запрещалось упоминать его имя, а принадлежащее ему наследство передавалось младшим братьям. Он также лишался всех званий и наград и вычёркивался из списков полка. Он высылался из Петербурга *НАВЕЧНО* и был обязан жить под арестом в том месте, где ему будет указано.

В двадцать четыре года слово *НАВЕЧНО* осмыслить трудно, поэтому Никола не застрелился. Фанни в своих мемуарах (напечатанных в русском переводе в журнале «Аргус» в 1917 году) писала, что до увоза из столицы Великого Князя держали в смиренной рубашке, накачивали его лекарствами и даже били. (Сам же Никола, судя по оставленной им записи, сожалел, что не попал на каторгу.) Там же Фанни писала, что в виновность Николы она не верила ни минуту. Трудно также не согласиться с её мнением, касающимся странного поведения его родителей. Судя по всему, их сын не заблуждался, чувствуя себя совершенно им ненужным. «Случись такая пропажа в семье обыкновенных людей, – писала Фанни, – её бы скрыли; здесь же, напротив, подняли на ноги полицию». Для одних виновность Ник. Конст. не подлежит сомнению, другие выдвигают версию сплетённой против него адской интриги, замешанной на вопросах престолонаследия. Эта версия, на мой взгляд, и есть истина, поскольку в Царственном Доме считалось просто невозможным выносить сор из избы, а Великий Князь Константин Николаевич (отец Николы) тут же вызвал полицию, и через какие-то несколько дней весь Петербург знал об этом скандале.

Дело в том, что с раннего детства Никола был отдан на воспитание немецкому гувернёру по фамилии Мирбах – жестокому, подлому и неумному. Юный Князь люто его ненавидел. Характер у Николы, по мнению *ВСЕЙ СЕМЬИ*, был строптив и непредсказуем. Вот что пишет Никола в дневнике, когда ему исполнилось двадцать лет: «Любил ли я? Другие говорят, что любил, а я не уверен. Причинял ли кому-нибудь боль? Быть может. Быть может, для того я и создан. А всё же были у меня добрые чувства, но Мирбах погубил их во мне. *Придётся возвращать их заново...*» Восемнадцати лет, выйдя наконец из-под опеки ненавистного немца, Никола разложил на каменном полу дворца костёр и торжественно сжёг всё, что хоть как-то могло напомнить ему об этом человеке. И какое странное, удивительное совпадение, произошедшее в *моей* жизни, когда я бросил свой азиатский институт и приехал «завоевывать» Москву! Мне было тогда девятнадцать лет. В первый же день, когда я снял какой-то убогий

подвал в районе Таганки, я разложил на кирпичном полу все свои комсомольские документы (учётную карточку, комсомольский билет, какую-то грамоту, справку о членских взносах и что-то ещё), зажёг всё это и, как дикарь, с гиканьем и воплями стал плясать *танец освобождения* от ненавистной и дурацкой обузы, которую без моего согласия навалили на меня в институте! (Тогда, перед отправкой на целину, в комсомол записывали всех скопом.)

Но вернёмся к Его Высочеству. *СЕМЬЯ*, испугавшись его связи с американкой, посылает его в далёкую Азию *завоёвывать ХИВУ!* В тяжелейший поход, где он показывает чудеса храбрости. (Причём оба варианта – его гибель или достаточно долгое его отсутствие – *СЕМЬЮ* полностью устраивали.) Поход был успешный, но и тут его демонстративно обошли – вместо «Геоorgia» он получает орден Св. Владимира с мечами. После войны с Хивой Н. К. вернулся в невероятном восторге от Туркестана, был избран почётным членом Географического общества и назначен начальником готовящейся Амударьинской экспедиции. Он не унывает: «Каков край! – пишет он. – Забрать бы мою Фанни, да сюда, в неизведанное!» Никола вернулся из похода очарованный Азией и решил посвятить свою жизнь ориенталистике. Но его тут же выслали из Петербурга (1874), и только через семь лет он оказался в Ташкенте. В Оренбурге 28 мая 1877 года Ник. Конст. пишет: «Я чужой, обвинённый во всех смертных грехах, удалён от императорского двора, не имею права носить заслуженный гвардейский мундир и ордена! При этом издевающийся надо мной дядя-император регулярно присылает ко мне подкупленные медицинские консилиумы, и угодливые эскулапы охотно в очередной раз объявляют меня повредившимся в уме. А как иначе объяснить людям ту вздорную историю с кражей каких-то бриллиантовых стекляшек, которая послужила основанием для моего ареста, будто это я проделал для Фанни... О, Фанни, Фанни! Где ты сейчас?!» В Оренбурге Н. К. влюбился в дочь полицмейстера Надежду Александровну Дрейер и обвенчался с ней. Романовы были против этого брака, и Синод его расторгнул. Но Александр III защитил Ник. Конст. И узаконил этот неравный брак при одном условии – чтобы они навсегда поселились в Ташкенте.

В Туркестане Великий Князь стал называть себя Искандером (то есть Александром Македонским). Эту фамилию носят его потомки – Князья Искандеры. В 1895 году Николай Константинович женился ещё на Дарье Часовитиновой – пятнадцатилетней дочери ташкентского казака, и бывали случаи, когда он появлялся в обществе со своими двумя жёнами. В 1966 году я был на гастролях в Ташкенте сразу после землетрясения и посетил княжеский дворец, который на удивление мало от этого землетрясения пострадал, и даже успел поговорить с довольно интересным молодым человеком, который занимался из личной симпатии историей Великого Князя! И как я помню его хитрый взгляд (или, возможно, это мне показалось?), когда он сообщил мне, что «хотя у Ник. Конст. в Ташкенте были фактически две семьи, тем не менее у него бывали разного рода романы... И не без последствий!» (У меня тогда язык не повернулся спросить его про «мою вятскую бабушку Анастасию Георгиевну».) Зато я увидел в музее очень красивую мраморную скульптуру, которую Великий Князь заказал в Италии у скульптора Томазо Солари – копию со знаменитого Кановы «Полина Боргезе в образе Венеры с яблоком», где вместо головы Полины (младшей сестры Наполеона) была голова возлюбленной Великого Князя Фанни Лир. И – надо же! – в её лице я разглядел довольно явственно черты моего отца – нос и губы! («Бабушка» была права?)

В 1970 году наш эстрадный концерт был на гастролях в Софии, и там я оказался в гостях у их знаменитого историка-академика, знатока жизни и законов древних славян. Он мне сказал тогда удивительную вещь, о которой я вспоминаю чуть ли не каждый день, живя в одной из самых славянских стран. Если в роду у древних славян рождался яркий, умный, талантливый ребёнок, его убивали! Он мог нарушить установившуюся стабильность власть предержащих – группы бездарных паразитов и циников!

Но вернёмся к персоне, которая никаким образом (как им казалось) не угрожала благополучию и стабильному существованию *СЕМЬИ*, – Его Императорскому Величеству Николаю

Ц, пропустив десяток лет однообразных завтраков, гуляний, описаний погоды, убийств ворон, игры в кости и домино. Самое ненавистное для «Батюшки Царя» – длинные доклады и туманы. Самое любимое – прогулки, стрельба по воронам и кошкам, уборка снега на дорожках, строительство снежных башен и игра в кости и домино. Только к 1916 году он наконец открывает «круг своего чтения», состоявший, к примеру, из таких книжек:

«*A MILLIONAIRE GIRL*» («Девочка-миллионер») (читал вслух), «*LE MYSTERE DE LA CHAMBREJAUNE*» («Загадка жёлтой комнаты»), «*THE WOMAN IN A MOTOR CAR*» («Женщина в автомобиле»), «*IN WHITE RAIMENT*» («В белом одеянии»), «*LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR*» («Духи дамы в чёрном»). И т. п.

Должен напомнить дорогим читателям, что в это время идёт кровопролитная мировая война, о которой в царских дневниках *почти* или вовсе не упоминается. И пишет всё это – **ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ РОССИЙСКОЙ АРМИЕЙ – ИМПЕРАТОР ВСЕЯ РУСИ!!!**

«<1916 г.> 2 марта. Среда... в 12 час. Тронулся в поездку по Николаевской ж. д. Гулял на двух станциях. Много читал. Голова устала от последних дней. После обеда поиграл в кости».

«5 марта. Суббота (Могилев. Ставка.). Та же сырая туманная погода. Доклад длился до времени завтрака. Днём занимался, гулял в садике и писал Аликс. В 6 часов пошёл ко всенощной. После обеда занимался и поиграл в домино».

«8 марта. Вторник. За вчерашний день в некоторых местах наши войска должны были задержаться, а на других участках успели продвинуться вперёд. В 3 часа отправился погулять за Днепром. Таяло сильно, но солнца всё ещё не видно. В 5½ поехали в театр – был очень хороший кинематограф. После обеда принял Трепова. Вечером поиграл в кости».

«11 марта. Пятница. Погода стояла скверная с ветром и снегом. После завтрака принял ген. Ротта. В 3 часа вышел в сад посмотреть *ВЗРЫВЫ ЛЬДА НА ДНЕПРЕ (!)* Видел два и затем вернулся домой читать. В это время последовал *ТРЕТИЙ, ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ВЗРЫВ*, кот. потряс весь дом...»

(Это единственное место в дневниках Императора, которое хоть немного напоминает ВОИНУ!)

«23 марта. Среда. Чудный, весенний день! 9° в тени! Погулял полчаса. От 2½ до 5 час. пробыл на воздухе. Кололи и спускали лёд под мост, устраивая нарочно запруды. После обеда занимался до 10¼. *НАЧАЛ ЧИТАТЬ ВСЛУХ ПНЕ MAN WHO WAS DEAD* (“ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ МЁРТВ”!)».

Это что? Совпадение? Предчувствие?

«8 декабря. Четверг. Хорошее солнечное утро. Хотелось погулять, а *ПРИШЛОСЬ ИДТИ НА ДОКЛАД...*»

И вот одна удивительная, пророческая запись – ведь осталось так мало времени:

«12 декабря. Вторник. Утром случай с доской от качель в саду, на которой была неприличная надпись, сделанная кем-то из стрелков 2-го полка. После дневной прогулки имел урок с Алексеем. *Вечером кончили “НАКАНУНЕ” Тургенева*».

«<1917> 27 февраля. Понедельник. В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. К прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия! Днём сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла отличная. После обеда решил ехать в Ц. С. поскорее и в час ночи перебрался в поезд».

И наконец...

«1 марта. Среда. Ночью повернули с М. Вишеры назад, т. к. Любань и Тосно оказались занятыми восставшими. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановился на ночь... Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. *СТЫД и ПОЗОР!* Доехать до Ц. С. не удалось, а мысли и чувства всё время там! Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события! Помогите нам, Господь!»

И последний штрих в портрете Его Величества Императора Всея Руси... У Витте есть запись об истории дневников Николая Сипягина (убитого министра внутренних дел), которые загадочно исчезли после его смерти и, как многие считали, не без указания Царя: «Я мемуаров Сипягина не читал, но жена его мне говорила, что Сипягин честнейший и благороднейший человек, а в последние полгода своего министерства он откровенно и с большой горечью мне говорил, что на государя полагаться нельзя, и, главное, государь не правдив и коварен. Это же он в отчаянии говорил и своей жене».

* * *

До Ташкента Его Императорское Высочество Николай Константинович Романов добирался семь лет, и все эти годы его мысли были заняты его новой страстью – Российской Азией. В Оренбурге в 1887 году 27-летний Ник. Конст. опубликовал свою работу «Водный путь в Среднюю Азию, указанный Петром Великим», которая вышла анонимно. Николай Константинович до такой степени влюбился в Среднюю Азию и её пустыни, что совершил несколько путешествий в поисках возможностей повернуть Амударью в древнее русло и оросить громадные пустынные земли. За короткий срок Н. К. сумел прорыть стокилометровый канал, названный в честь деда «Император Николай I», а другими каналами ему удалось оросить 40 тысяч десятин пригодных земель. Его Императорское Высочество приглашал казаков-переселенцев, которым выдавались ссуды. На орошённых землях было основано 12 больших русских посёлков, *и всё это он осуществлял на собственные деньги!* Николай Константинович писал: «Моё желание оживить пустыни Средней Азии и облегчить правительству возможность их заселения русскими людьми всех сословий».

Николай Константинович был человеком широким и добрым: получив от императора 300 тысяч рублей на постройку дворца, он построил на эти деньги в Ташкенте театр. **ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ** занимался предпринимательством: завёл мыловаренный завод, был владельцем фабрик по переработке хлопка и риса, фотографических мастерских, бильярдных заведений... На деньги, вырученные от всей этой деятельности, построил первый в Ташкенте кинотеатр (приносил ему довольно большие деньги), назвав его «Хива» В память о своём первом боевом походе. Позже он построил ещё и летний кинотеатр. Неплохой доход давал ему и публичный дом – кто знает, возможно, именно ТАМ он познакомился с моей «вятской бабушкой», – жизнь, как известно, многообразна и совершенно непредсказуема! Доходы от предпринимательства приносили ему более 1,5 миллиона рублей в год, да ещё из Петербурга на годовое содержание он получал 200 тысяч рублей. Николай Константинович одним из первых обратился к наиболее доходной тогда отрасли промышленности в Туркестане – строительству и эксплуатации хлопкоочистительных заводов, на которых было безотходное производство – семена хлопчатника шли на маслобойни, а жмых – на удобрения и корм скоту. У местного и русского населения снискал большую популярность оросительными работами: прорыл канал, названный им «Искадер-арыком». После его сооружения заложил на этих землях «великокняжеское» поселение Искандер и разбил великолепный сад. А ещё он занимался археологическими раскопками древних курганов. К 1913 году в этом районе выросло уже 119 русских селений.

Оставался ещё упомянутый выше Алексей Свирский, который, со слов Каргопольского, писал о жизни Великого Князя в Ташкенте «очень живо... и с симпатией». Я его тоже отыскал:

«Слушаю Петра Даниловича с большим вниманием и осыпаю его вопросами... Тогда Харченко становится окончательно откровенным и рисует своего повелителя такими красками, что моментами мне делается даже жутко. “Когда сильно пьёт, то в пьяном виде превращается в дикого зверя. Свою красавицу жену Надежду Александровну, забавы ради, заставляет в одной сорочке при свете луны бегать по аллеям парка, подгоняя её казацкой нагайкой... А вот недавно, – рассказывает Пётр Данилович, – он такую штуку выкинул, что мы с Надеждой

Александровной и посейчас находимся в большой тревоге. Открывается у нас в Ташкенте по приказанию министра финансов Вишнеградского сельскохозяйственная выставка... А генерал-губернатор уже не Кауфман, а Розенбах. И вдруг приходит князь в голову посетить эту выставку. Надежда Александровна всячески его отговаривает, напоминая ему, что он находится под домашним арестом, а он своё: “Мне наплевать, во мне самом кипит в жилах собачья кровь Романовых! Никому не подчиняюсь!..” Вот тут он и выкинул штуку... На главной аллее встречает самого генерал-губернатора со свитой. “Ваше Императорское Высочество, вы, так сказать, под домашним арестом, а, извините, гуляете и прочее такое...” И что же, ты думаешь, делает князь? Не говоря худого слова, размахивается и... ХЛОП его превосходительство по морде! Ну и получается скандал... Вот каков наш Великий Князь!”»

Отречение императора 2 марта 1917 года и Февральскую революцию Николай Константинович Романов принял с восторгом: поднял красный флаг над своим дворцом и тут же отправил приветственную телеграмму Керенскому, с которым был лично знаком.

Вскоре после установления советской власти, 27 января 1918 года (14-го по старому стилю), Николай Константинович Романов скончался у себя на даче от воспаления лёгких и похоронен в Ташкенте у ограды собора прямо напротив его дворца. В туркменской газете «Новый путь» от 18 января 1918 года дан некролог следующего содержания: «О смерти Вел. Кн. Николая Константиновича Романова (1850 г. р.). Умер в ночь с 13 на 14 января 1918 года от воспаления лёгких на даче под Ташкентом и похоронен 16 янв. 1918 года в Ташкенте в сквере рядом с Военным Георгиевским собором». Я, правда, уверен, что он был расстрелян, но из-за его популярности в крае ему устроили фиктивные похороны. Что-то, а лапшу на уши большевики вешать научились, можно сказать, «с пелёнок».

* * *

Но я очень сильно и очень далеко отвлёкся! А что же было дальше в нашем азиатском городке и «нашем» театре? Дундубек-Ленин, как потом рассказывали, на каждом спектакле неизменно и изошрённо портил воздух перед самым носом Каматаева-Сталина, чем приводил последнего в ярость. (Через несколько лет именно эта история натолкнёт славного Каргопольского на сочинение краткого, но выразительного палиндрома: «Вонял Ульянов».) А Каматай в своей мести Дундубеку уже не мог выйти за пределы круга, очерченного самим Дундубеком: на последнем злополучном спектакле он прямо на сцене вывалил в кепку вождя кусок свежего говна. Дундубек перед выходом за кулисы эффектно нацепил её на лысый череп и...

Известно, что артист на сцене сливается с образом, Дундубек был настоящий артист – выходка Каматая взорвала их *обоих*: Дундубека и столь униженного вождя. Оба в лице одного Дундубека испустили дикий вопль (Дундубек, несмотря ни на что, из образа Ильича-Лукича так и не вышел – говорят, даже изрыгая полуазиатскую матерщину, он продолжал картавить по-ленински!), Каматай стоял спиной к зрителям и похлопывал сталинской трубкой себе по члену. Дундубек подскочил в воздухе на манер японского каратиста и через всю сцену мелкими шажками ринулся на жирного Сталина. Что тут началось, Господи! Дундубек Ильич Ленин повалил на пыльный ковер Каматая Виссарионовича Сталина и, визжа и царапаясь, стал срыывать с него усы и парик, желая набить истинную морду ненавистного Каматая. Оба вождя, к ужасу и восторгу онемевшего зрителя, дрались не меньше трёх минут; занавес почему-то долго не опускался, да это и понятно – когда ещё увидишь такое! Говорят, что их ещё не могли растащить и после того, как занавес наконец упал: Дундубек искусал Каматая, а Каматай разбил в кровь лицо Дундубека сталинской трубкой.

Рассказывали, что Берия с удовольствием доложил об этой истории Сталину, и тот, посмеявшись, сначала артистов простил. Потом задумался, притих и вдруг серьёзно спросил: «Кто пёрвый начал?» – «Ленин», – ответил Берия. Сталин вспомнил, вероятно, свои собствен-

ные баталии с этим чудовищем и коротко буркнул: «А кто пабэдил?» – «Сталин, конечно», – ответил Берия, и можно только себе представить, как это развеселило и порадовало вождя, как он усмехнулся, окинув взглядом те победоносные годы, что отделяли его от морозного январского многообещающего траурного дня. «Все они одинаковы!» – подумал, возможно, старикашка Джо, вспоминая больного фанатика в мятой кепке, и задал свой последний вопрос, решивший судьбу Дундубека: «Он что, сумасшедший, *ЭТОТ ИХ* Ленин?»

* * *

На следующей неделе Дундубека увезли в пустыню (из нашего города куда ни поедешь, всюду пустыня), вдогонку отправили близких родственников, и у нас с тех пор его так никто и не видел. Но эта история неожиданным образом повлияла на моего отца, уже приговорённого расплачиваться за свою ребячью выходку, – через какое-то время после исчезновения Дундубека исчезает вдруг... сам Завзятый!

Тут необходимо сказать несколько слов о Советско-Российском Рвении, проявляющемся, как правило, совсем не там и не тогда, где и когда оно необходимо или хотя бы уместно. Увы! Где нужны спокойствие, осторожность, терпеливое ожидание, предусмотрительность, такт, тонкая ручная работа; словом – где нужно крохотный клочок земли разрыхлить тоненькой вилочкой, чтобы помочь окрепнуть только пробившемуся росточку заморского растения, здесь *НАШИ* обязательно объявят Всесоюзную Кампанию Защиты (или Борьбы) и, вызвав соседнюю воинскую часть, пройдутся по опытной грядочке всей танковой бригадой. *ИХ* рвение не знает пределов, касается ли оно спасения всего Человечества или простого утопающего, а также борьбы с врагами народа или вредными насекомыми. А впрочем, и у нас могли быть случаи, хотя бы частично оправдывающие глобальный размах, – борясь, к примеру, в тайге с каким-нибудь древесным жучком – вдруг могли отравить (до прихода пограничников) случайно забредшего в обрабатываемую зону американского агента, или, наоборот, арестовывая с десятков-другой миллионов *врагов народа*, усердные чекисты наверняка за все 60 лет ненароком перетоптали своими сапогами полчища клопов и тараканов. И всегда любая подобная Кампания, начатая властями и разжигаемая российским рвением, растёт, как снежная лавина, и уж как понесётся, то ничем её не остановишь, как бы ни хотел этого сам россиянин. И только окинув глазом произведённый погром, он почешет в затылке и задумается: «Кажется, я... того... перебрал».

Наши начальнички тоже отличились – за Дундубеком сняли директора театра (Каматая, правда, не тронули, а, наоборот, отправили в санаторий Совмина), у себя в аппарате в один день раскрыли заговор космополитов и националистов; за какой-то месяц были «выявлены» сотни шпионов, саботажников, диверсантов, врачей-отравителей, сионистов и басмачей! Кто-то усмотрел в страсти Завязатого «представлять» *Величайшего* с преувеличенным грузинским акцентом наглое издевательство над Вождём – что, товарищ Сталин ТАК ПЛОХО ЗНАЕТ РУССКИЙ ЯЗЫК? Да тут ещё Каматай вышел сухим из воды – ну, артисты! Словом, Завзятый был обречён – каким-то образом он настолько вытеснил в головах начальства прощённого Каматая, что пошёл по одному делу с Дундубеком. Их обвинили в шпионаже, контрреволюции и в подготовке покушения на Жизнь Вождя!

К счастью или несчастью (это уже вопрос к Судьбе), отец мой со своими голодранцами был высоко в горах в абсолютно безлюдном ущелье. Скорее всего, он тоже был обречён. И тут, как мне кажется, какой-то интеллектuala из НКВД предложил блистательный вариант: одновременно избавиться от *настоящего врага народа* – генетика, вейсманиста-морганиста – и – явить народу Истинного Советского Героя! НКВДист-интеллектuala, спасая моего отца от *позорного процесса*, подставляет ему ножку на горной скале, и мой сорокалетний отец, будучи в превосходной форме, прошедший две войны, способный прошагать по горам добрую сотню километ-

ров в день, разбивается насмерть за пять дней до возвращения из экспедиции домой! И только лишь одно обстоятельство смущает меня до сих пор – никто не *видел*, *КАК* это произошло, – ни следов, ни свидетелей, ни свидетельств, и только живёт в мозгу страшное подозрение: *а ВДРУГ КТО-ТО ЗНАЕТ? ИЛИ ЗНАЛ?* Все страсти в нашем городе мгновенно обратились к загадочной и трагической смерти отца – какое счастье! Какая подходящая и *своевременная* возможность показать людям Настоящего Человека – так много что-то оказалось в последнее время ВРАГОВ, столько воплей и слёз, раздирающих даже суровые мозолистые души чекистов, что случайное (или – скорее всего – подготовленное временем) «падение со скалы» моего отца явилось чем-то вроде солнечного зайчика в затхлом могильном склепе! Вздогнули и обыватели, удивлённо прислушались, огляделись по сторонам и облегчённо вздохнули – Боже милостивый! Значит, есть ещё *чистые* страдалцы, есть ещё незапятнанные мученики! И вся накопленная тоска, вся жалость и всё сочувствие, которые люди старательно прятали, когда дело касалось жуткого и мистического понятия «ВРАГ НАРОДА», теперь вырвались на волю и потекли вместе с толпами к нашей школе, где в центре спортивного зала, заваленный траурными венками, стоял гроб моего отца.

Как Россия любит чествовать мёртвых! Как легко и возвышенно пишутся некрологи и декламируются речи на могилах! С каким спокойствием подмахивает свою подпись советский цензор под решением издать собрание сочинений только что с почестями похороненного писателя! Он уже молчит! Он уже ничего не выкинет! Не отколет! Не подпишет крамольную петицию, не даст «скользкое» интервью иностранному корреспонденту! Так что вперёд! Расхваливайте его как можно восторженнее, пишите ему дифирамбы, ставьте монументы, снимайте о нём кино и называйте его именем пароходы! ОН МЁРТВ.

И всё-таки мне удалось за всю мою тридцатидвухлетнюю жизнь написать ещё один стишок, посвятив его моему отцу. Вот он:

Поле надо пахать,
ровнять, беронить
и ещё удобрять.
А Человека травить,
убивать, хоронить...
А потом прославлять.

В один день о моём отце узнал весь город – прощание с доселе никому не известным учителем вылилось в какое-то паломничество к праху великомученика. Похоронный грузовик утопал в цветах, толпа рыдала и утирала слёзы, глядя на моего отца в гробу и на нас с сестрой у изголовья, и если сузить масштабы Российской империи до размеров нашего города, то можно без преувеличения, слегка пощекотав неутолённое тщеславие отошедшей души моего отца, сказать, или, как это было в моём случае, – глядя с открытой платформы на море цветов, реки слёз и волны любопытных голов, – просто рассеянно отметить, что похороны были поистине ЦАРСКИМИ.

* * *

Но кто бы мог подумать, что гроза, разбушевавшаяся над нашим городом, случайной своей молнией заденет и меня, невинного одиннадцатилетнего пацанёнка! Моё Тайное Правительство, ещё не приступившее к своим прямым обязанностям, а именно – установлению моей неограниченной самодержавной власти сначала в классе, потом в школе, во всём квартале, районе, городе и т. д., было, увы, низвержено всё теми же неусыпными стражами из НКВД. Враг народа, агент империалистических разведок, Особо Опасный Террорист Завязтый, ранее

скрывавшийся под личиной директора школы, приковал внимание вышеупомянутых *органов* ко вверенной ему организации, и во время одной из инспекций в нашу славную мужскую школу № 1 на только что перекрашенной стенке коридора был обнаружен прилепленный клочок газеты «Правда» с портретом Сталина, прямо усами которого кто-то подтёр себе задницу. Потрясённые инспекторы вызвали подкрепление – школа была оцеплена, у каждого входа и выхода было поставлено по паре молодчиков в гражданском, в общем, все были начеку. После продолжительного совещания в кабинете нового директора – скончавшегося, между прочим, довольно скоро от инфаркта, хотя ему было чуть за сорок, – «инспекторы» решили, что это могло быть и простым совпадением – ведь в то время ни одной газеты не выходило без портрета вождя. На этом и разошлись. Но и на другой день загаженный портрет Иосифа Виссарионовича красовался на стенке прямо против учительской, и ещё целый месяц подряд «медальное» лицо мудрого учителя и вождя из очередной «Правды» или «Известий», всё вымазанное в говне и смятое по знакомой, не вызывающей никакого сомнения форме, появлялось то на подоконнике, то на дверях директора, а однажды каким-то образом оказалось на Доске почёта рядом с лучшими учителями и работниками школы!

Я думаю, что если бы величайший Рабле жил в наше время, то, перечисляя наилучшие способы подтирания задниц, он рядом с дамскими полумасками, шейными платками, шляпами пажей, подушками, пеньюарами и молодыми гусьями непременно бы поставил и газетные портреты вождей – в этом есть нечто «идеалистическое», а следовательно, нематериальное, то есть, можно сказать, *метафизическое!* (хотя в данном случае несколько мешает гадкая форма), – какая-никакая, пусть обратная, но в прямом и переносном смысле *духовная* связь! Словом, если бы сюда не подмешивались низменные чувства мести и злорадства, подкреплённые сознанием полной безнаказанности, то можно было бы осмелиться назвать эту процедуру в какой-то степени даже *возвышенной!* – этаким приобщением (правда, «через жопу», как говорят в народе) к сонму великих мира сего! Короче, всем было ясно, что случилось нечто неслыханное и невообразимое – вопиющий *вызов*, БУНТ!!!

И вот тогда образовалась *Чрезвычайная Медицинская Комиссия*; наш медкабинет оккупировали неведомые нам люди, и каждый учитель, каждый ученик, а также все проживающие в школе люди – уборщицы, самая старая учительница, которую из милости оставили доживать в крохотной комнатухе в полуподвале, ну и конечно, наша семья – все должны были пройти унижительную процедуру – сдать пробы кала на обнаружение идеологического диверсанта и циничного святотатца! Сначала было велено ученический кал приносить в спичечных коробках, но в первый же день, к ужасу чекистов, на каждом десятом-двадцатом коробке красовался до боли знакомый портрет вождя! Ну хоть святых выноси – что называется, насрали прямо в душу! Бравые ребята из НКВД тут же поменяли тактику: в присутствии *свидетелей в штатском* из того же НКВД решили брать анализы прямо в кабинете школьного врача! У медкабинета по утрам образовывалась очередь из учеников и учителей, и ВСЕМ было стыдно смотреть друг другу в глаза!

По причине моей самой непосредственной близости к туалету мне досталось больше всего. На второй день подтирочной кампании я уже был подозреваемым № 1, и в нашей комнате обосновался молодой и нагловатый дядя, устроивший самый тщательный обыск в нашей неимоверно тесной комнатухе в поисках газет с вырванными портретами Вождя. Он был у нас два раза и каждый раз требовал после тяжких трудов напоить его чаем с сушками. В полной мере представить себе все последующие события и страсти могут только люди, пережившие сталинские кошмары. Бог свидетель, что даже я, мало что знавший тогда и ещё ничего не испытывший, увидев побелевшую мать, понял, что дело худо. В одно мгновение по городу разошлась молва, что в нашей школе обнаружена тайная организация со складом оружия и связями с японскими и английскими разведками.

И тут вдруг меня вызывают в кабинет директора, и два серьёзных мужика устраивают мне допрос: что за «правительство» я организовал в пионерском отряде?! Оказывается, наш Ильич-Лукич – Лёнька-нижний – настучал на всех нас и на самого себя. Но расследование в нашем лагере, допросы пионервожатых, наша «экономическая программа» и, главное, десятки анализов, взятых у меня разными способами... Да... Знали бы они, у ЧЬЕГО (правда, гипотетического) родственника они каждый день две недели ковырялись в заднице! А усы Вождя со смачными кусками говна всё продолжали появляться в самых неожиданных местах.

И только я знал, чья это работа! На подоконник прямо против наших дверей я поставил крохотный кусочек разбитого зеркала так, чтобы он отражал вход в учительский туалет, и буквально часами в отцовский военный полевой бинокль через чуть приоткрытую дверь нашей комнаты следил за всеми, кто туда заходил, и вёл дневник, куда записывал личность, время и частоту заходов. А потом, когда где-нибудь появлялся вонючий и помятый портрет вождя, я тут же сверял всех посетителей туалета со своими записями. И через неделю я уже ТОЧНО знал, что это был не кто иной, как молодой офицерик, сожравший все наши сушки! Я радостно сообщил эту новость маме, но она чуть не потеряла сознание, бухнулась передо мной на колени и, заглушая рыдания, умоляла меня никогда и никому этого не говорить...

* * *

И всё-таки... Ещё немного о Его Величестве.

И его арест, и ссылка всей семьи в Тобольск, судя по записям в дневнике, почти никак не отразились на его привычном существовании и на твёрдо устоявшемся в ЕГО мозгу представлении об окружающей его реальности. Не хватало только ворон и кошек.

«14 ноября 1917 г. Погода была солнечная, тёплая и с порывистым ветром. За дневным чаем я *перечитывал свои прежние дневники – приятное занятие!*»

«15 ноября 1917 г. День был морозный и солнечный, на дворе стало скользко невероятно. Гуляли долго. Пилил дрова...»

И вот – первое упоминание о катастрофической действительности, на которую Его Величество смотрит как бы из далёкого будущего, и при этом *погода* всё равно остаётся у него на первом месте:

«17 ноября. Пятница. Такая же неприятная погода с пронизывающим ветром. Точно читать описание в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве! Гораздо хуже и позорней событий смутного времени!...»

Вот на этом, собственно, и закончились мои изыскания, после которых у меня никакой особой уверенности в «высоком» родстве не убавилось и не прибавилось, только я ещё раз убедился, что у нас на Руси к высоким дуракам липнет, как мухи, всякая шваль, а достойных людей эта же шваль готова оклеветать, сожрать и послать куда подальше...

* * *

Здесь, к счастью, заканчивается моя рукопись, а возвращаться в мерзкое прошлое и дописывать что-то мне просто лень – да и зачем? Я по своей природе махровый реалист и ещё раз повторю то, что было сказано в самом начале моего рассказа: все, что здесь написано, – ЧИСТЕЙШАЯ ПРАВДА.

Но Боже мой! Какой бы могла быть Россия, если бы её Императором стал в своё время Его Высочество Николай Константинович Романов – мой гипотетический дедушка!

23 апреля 1972 г.

Тёща Рассказ

Опубликовано в журнале «Звезда», номер 4, 2019

Мы с ней возненавидели друг друга мгновенно, с первого взгляда. В первые же секунды нашего знакомства каждый из нас понял, что принять наименьшую частицу бытия другого значило бы отказаться от всей своей собственной жизни. Наше существование вместе зачёркивало каждого из нас – оно было абсолютно противоположно, как день и ночь, и так же классически тождественно по силе ненависти и неприязни. Очень скоро мы нащупали самые болезненные и уязвимые точки друг друга и наши стычки превратились в короткие, жестокие, злорадные и кровавые схватки. Мы били без промаха по этим открытым ранам и наслаждались конвульсиями и судорогами противника. Звали её Глафира – так её отец (еврей-выкрест Гриша Шац) с маху поставил ей в паспорте самую что ни на есть русскую печать. Лицом и фигурой она походила на Бабу-ягу и Брежнева одновременно: в руках у неё всегда была кривая, но богато инкрустированная клюка, а на кофте или пиджаке три ряда орденов, с которыми она почти никогда не расставалась, что особенно подчёркивало её сходство с генсеком. Бурную комсомольскую молодость Глафира начала на Дальнем Востоке и вместе с комсомольской, чекистской, а потом и партийной карьерой постепенно пробиралась к Москве: Хабаровск, Иркутск, Омск, Свердловск, Горький и, наконец, Москва. Комсомольские фотографии её страшноваты – на каждой из них с двадцатых до сороковых и пятидесятых годов выражение лица совершенно одинаковое: маленькие равнодушные глазки и фанатично сжатые узкие губы; из еврейского – только высокий таз и тонкие ноги, и ещё светлые на чёрно-белых фотографиях волосы, явно рыжие; лицо в рывтинах оспы и конопушках, как у Сталина. Она была злая, хитрая и коварная. Но и нагло-откровенная: с гордостью хвасталась, что всегда кого-то расстреливала и «громила» – эсеров, троцкистов, правых, левых и остальную «контру», и каждый наш «спор» в первый месяц моей жизни в квартире жены заканчивался самым её искренним сожалением: «Эх, попался бы ты мне в тридцать седьмом!»

Она умела злить – когда я, дрожа от гнева и недоумевая, как мои слова не доходят до её сознания, называл ей цифры расстрелянных и замученных чекистами, она, зная, как я буду беситься, всегда говорила с ехидной и хищной улыбкой: «Мало, мало ещё! Надо было больше, тогда бы и таких, как ты, не было!» И когда я почти вопил: «Да как же вы можете так говорить?! Ведь вашего любимого мужа чудом не расстреляли и в конце концов сгноили!», она спокойно и равнодушно отвечала: «Лес рубят, щепки летят!» Но «щепочка» в этом случае, между прочим, была с бревно: её муж был очень большим начальником важнейшей военно-стратегической отрасли.

Наши с ней отношения развивались как-то параллельно моей семье: жена моя, всё понимающая женщина, старалась как могла оберегать меня от этих схваток, которые всегда заканчивались моим поражением. Глафира была железной, ортодоксальной коммунисткой совершенно определённого плана: всё её счастье состояло в *принадлежности* к банде, к этой особой касте. Ей было наплевать на лозунги-идеалы – на «светлое будущее», «справедливость», «мир во всём мире», «социализм» и т. д. и т. и. Она приходила в экстаз от *формы* любого партийного ритуала – от собраний коммунистов-пенсионеров ЖЭКа до оплаты членских взносов. Как-то подруга жены, вернувшись из поездки по глухой провинции, с ужасом воскликнула: «Если бы вы знали, Глафира Григорьевна, в какой ужасной нищете живёт советский народ!» И Глафира, затянувшись папиросой, равнодушно и как-то даже весело ответила: «Ну и хрен с ним!»

Она уже давно была безнадежно больна, и врачи откровенно недоумевали, как она до сих пор живёт: вместо сердца, говорили они, у неё какая-то тряпочка! Цвет лица у неё был серо-землисто-зелёный, она днями не могла встать с постели, но стоило ей отлежаться и почувствовать себя хоть чуточку лучше, она вставала, опираясь на свою клюку, и принималась остервенело всё чистить и вытирать. Наведение порядка было для неё чем-то вроде целительной йоги: упорядоченный внешний хаос, возможно, каким-то образом упорядочивал и её неизбежный внутренний. Думаю, где-то в глубине души она осознавала, что натворила за свою жизнь немало кровавых дел.

Её старшая дочь была замужем за венгерским чиновником, когда-то учившимся в Москве, и Глафира была «челноком», соединяющим звеном по купле-продаже шмоток и драгоценностей. Она и спекулировала как-то рьяно, получая тысячные проценты, торгуясь и безбожно обманывая, а когда выезжала по приглашению в Венгрию, всегда провозила с собой десятки тысяч рублей, советские бриллианты, пользующиеся большим спросом, и коробки кубинских сигар, стоившие у нас тогда копейки. И однажды, совершенно не стесняясь, похвалилась своей дочери, как она это делает: «А я сажусь на свёрток,ставляю вперёд палку, а грудь-то у меня вся в орденах! Пограничники входят, а я им говорю: “Здравствуйте, наши защитники!” А они мне хором: “Ну, бабуся, мы вас проверять не будем – вон у вас орденов-то!”»

В то время я часто ездил по работе в ГДР, Венгрию и Польшу, и поначалу она снисходительно и даже с одобрением посматривала на подарки, которые я привозил жене и ребёнку. Но вскоре наши отношения зашли настолько далеко, что мы не могли даже видеть друг друга. Жена металась между мной и ею, заступаясь то за неё, то за меня, и в конце концов наша война закончилась негласным соглашением, по которому ни она, ни я *не говорили друг другу ни слова и жили, как бы друг друга не видя*. И тут мы оба наконец вздохнули! И она и я оказались железными: больше двух лет буквально протискивались, чуть не задевая друг друга в тесной кухоньке и узком коридоре, как будто каждый из нас был неодушевлённым предметом. И всё бы так могло продолжаться годами, если бы у меня не появился шанс поехать на три месяца в Англию. Тут с Глафирой что-то произошло: с одной стороны, она понимала, что для благополучия семьи такая поездка – большое везение и счастье, но с другой – все её нутро «кричало» и возмущалось тем, что такое ничтожество, как я, такая «контра», «враг народа» поедет *представлять нашу страну* к «проклятым капиталистам», к которым она, однако, относилась с тайным и рабским трепетом. Мучилась она недолго, всё-таки её натура (Глафира с сороковых годов до самой персональной пенсии проработала начальником отдела кадров на крупнейшем московском заводе) взяла своё: она написала на меня анонимный донос, но настолько подробный, что не только весь *мой особый отдел*, но даже *лубянские ребята* мгновенно поняли, что он был написан моей тёщей! Скандал в доме был бурный и кончился очередным Глафириным инфарктом. Никакой жалости к этой твари я, естественно, не испытывал, но, несмотря на то что все (и на Лубянке, и в моём особом отделе) разобрались в природе и сущности доноса, меня на всякий случай перестали выпускать даже в Монголию и Северную Корею. Она пролежала в больнице для большевиков два месяца и, вернувшись домой, при мне уже старалась не выходить из своей комнаты. Я слеп от ярости и желания отомстить этому животному которое, как назло, оказалось невероятно живучим. Как-то, уже после истории с доносом и инфарктом, в разговоре с той же самой подругой жены (подруга, как бы невзначай, стала рассуждать о смерти) Глафира злорадно прокрипела: «Ничего, я вас всех переживу!» И вот тогда-то, после этих её слов, я поклялся себе, что я её *убью!* Какие только варианты я не перебирал во время бессонных ночей! Естественно, я искал такой способ, который был бы *абсолютно* недоказуем, совершенно не имел следов и никаким образом не мог бы бросить на меня и малейшей тени! Самым простым способом, думал я, было бы отравление. Но как и где найти яд, не оставляющий следов? Или действующий, например, не сразу? (Можно было бы придумать длитель-

ную командировку и отсиживаться где-нибудь в Самарканде, а ещё лучше в Сочи и ждать там «печальную и трагическую новость»!) Судьба тут же устроила мне встречу с опытным криминалистом за праздничным столом в кафе «Националь», и как бы невзначай я спросил криминалиста, есть ли в природе яд, который не смогла бы определить советская криминалистика. «Что, хочешь тещу отравить?» – пошутил он, и весь стол дружно захохотал. Я тоже как мог засмеялся, тут же навсегда отбросив вариант с отравлением: шутка шуткой, а свидетелей человек десять. Криминалист, правда, назвал мне пару слабо выявляемых в основном пищевых ядов и добавил, что только китайцы знают, как без всяких следов отравить любого человека, и я пожалел тогда, что не знаю ни одного китайца. Явное физическое убийство – топором, лопатой, тупым предметом или, к примеру, цветочным горшком – я также сразу отвергал, насладившись лишь воображаемой картинкой, яркой и цветной. Этого мне было достаточно, и на некоторое время я даже переставал ненавидеть Глафиру.

И вот однажды моя жена уезжает на кратковременное лечение и оставляет меня одного с сыном и своей больной матерью. Года за два до этого, перед самым рождением сына, я привёз ей в подарок из Германии невероятно дорогой мейсеновский подсвечник: ствол дерева в цветах, обвитый плющом, который обнимает то ли ангел, то ли обнажённый юноша, а сверху шесть фарфоровых веток с подсвечниками, тоже украшенные цветами и листочками. Чтобы его купить, мне пришлось в Берлине влезать в долги, и моя жена знала, *как* мне дорог этот подсвечник. Она сама была к нему привязана и перед отъездом на всякий случай поставила его в комнату Глафиры на тяжёлый шкаф – мало ли что может случиться в тесной спальне! И вот тут меня осенило! Надо пожертвовать этим сказочным подсвечником! Спокойно войти в Глафирину комнату, на её глазах встать на табуретку, взять этот подсвечник, грохнуть его об пол и спокойно сказать: «Глафира Григорьевна, как же вы так неосторожно разбили такой дорогой и любимый подсвечник вашей дочки?!» И выйти. Во-первых, это была бы самая лучшая и точная месть за донос – моя жена никогда бы не поверила тещиным словам, *будто я это сделал!* Во-вторых, от невозможности доказать *правду* Глафира захлебнулась бы ненавистью и искреннейшим чувством *такой несправедливости*, очень похожей, кстати, на провокации чекистов и коммунистов, – вот вам, Глафира Григорьевна, и *бумеранг!* И конечно же, у неё наконец случился бы *последний* инфаркт!

Но... жизнь, как известно, штука непредсказуемая. Дня через четыре после отъезда жены, поздним утром, когда я собирался выйти из квартиры, в комнате Глафиры раздались странный глухой стук и звон разбитой посуды. Я понял, что с тещей что-то случилось, и, подойдя к её комнате, попробовал потихонечку открыть дверь. Та не поддавалась. Тогда я приналёг и буквально ввалился к ней в комнату. Глафира лежала на полу в розовой ночной рубашке – страшная, жалкая, неподвижная, с серо-зелёным лицом и вся в собственных испражнениях. Мы встретились глазами, и я увидел, что она приготовилась умирать, – решила, что я её сейчас убью. Она не могла пальцем пошевелить и только что-то мычала. Я бросился к телефону и быстро вызвал скорую. Я не знаю, что со мной произошло. Казалось бы – вот оно, свершилось! Выйди из квартиры, закрой дверь на ключ и гуляй себе до вечера! Но самое удивительное было в том, что я *абсолютно забыл*, что я её ненавижу, что она мне *смертельный враг*, что она разрушила мою жизнь и что я был готов на всё, только бы расчитаться с этой гадиной! Я бросился в ванную, набрал в таз тёплой воды и стал её обмывать – я бегал в ванную за водой и обратно, и, когда я её мыл, она продолжала что-то мычать и пыталась меня оттолкнуть от себя, а я её уговаривал: «Глафира Григорьевна, сейчас приедет скорая, потерпите!» К моменту приезда скорой всё было готово: я её вытер, переодел в свежую рубашку, которую каким-то чудом нашёл в шкафу. Никогда не забуду её голое пухлое тело – дряблое, морщинистое, в рыжих и белых пятнах. Когда санитары грузили этот гигантский студень на носилки, я поднял голову и увидел на шкафу сияющий красотой мейсеновский подсвечник, и мне показалось, что мальчик или ангел, обнимавший дерево, мне улыбался. Её увезли в

больницу «старых большевиков» на шоссе Энтузиастов, и я её больше никогда не видел. На следующий день вернулась в Москву жена, а я через неделю уехал на три месяца в Киргизию работать. Когда вернулся, тещу уже похоронили. А жена рассказала о двух последних героических месяцах её жизни. Глафира лежала одна в большой палате, и за ней ухаживали две медсестры. Целую неделю она была без сознания, а когда пришла в себя, что-то тихо выдохнула. Над ней склонились медсёстры и с трудом разобрали, что она говорила. «Правду...» – шептала она еле слышно. Медсёстры стали её успокаивать: «Ну что вы, Глафира Григорьевна, всё будет хорошо! Вы будете жить!» «Газету “Правда”», – уже твёрже прошептала Глафира. Через месяц она чувствовала себя лучше, но вставать с постели ей не разрешали. Как раз в это время в Кремле открывался какой-то внеочередной съезд нашей «славной и непобедимой...», и Глафира потребовала, чтобы ей принесли наушники, чтобы она была в курсе того, что происходит в Кремле. И когда в день открытия съезда она услышала несвязную речь нашего генсека, она вдруг сорвала с себя наушники, встала с кровати, вышла – страшная, полуголая, растрёпанная, безумная – в коридор и куда-то *пошла!* К ней бросились медсёстры, но она их оттолкнула и прохрипела свои последние слова в этой жизни: «Леонид Ильич мне сказал: “Встань и иди!”»